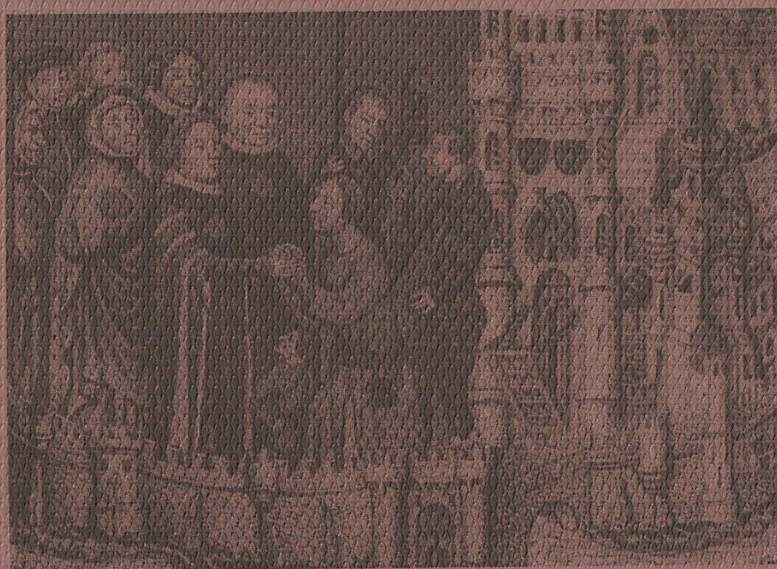


# ФЕОДАЛИЗМ: ПОНЯТИЕ И РЕАЛИИ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН

---

# **ФЕОДАЛИЗМ: ПОНЯТИЕ И РЕАЛИИ**

Под общей редакцией

А.Я. Гуревича, С.И. Лучицкой, П.Ю. Уварова

МОСКВА, 2008

УДК 94(4)04/14  
ББК 63.3(0)4  
Ф 425

*Издание подготовлено при финансовой поддержке  
фонда «Триумф»*

*Составители:  
И.Г. Галкова, С.И. Лучицкая,  
А.В. Толстиков, П.Ю. Уваров*

**Феодализм: понятие и реалии.** Материалы круглого стола. Москва, 25 апреля 2005 г. М., ИВИ РАН, 2008.— 278 с. ISBN 5–94067–219-1

В предлагаемом вниманию читателя сборнике публикуются материалы круглого стола, проведенного в рамках семинара по исторической и культурной антропологии ИВИ РАН и Ассамблеи медиевистов 25 апреля 2005 г. при поддержке Отделения исторических и филологических наук РАН. В сборнике отражен весьма широкий спектр мнений и взглядов на проблемы феодализма, сложившихся в отечественной исторической науке. Внимание читателя, несомненно, привлекут последние работы А.Я. Гуревича (1924–2006 гг.), в которых выдающийся медиевист размышляет о сущности понятий «феодализм» и «средневековье».

ISBN 5–94067–219-1

© Институт всеобщей истории РАН, 2008.  
© Коллектив авторов.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>П.Ю. Уваров</b>	
В поисках феодализма	5
<b>А.Я. Гуревич</b>	
Феодализм перед судом историков, или о средневековой крестьянской цивилизации	11
<b>А.А. Касатов</b>	
Институт Liberatio в англо-нормандском королевстве: к вопросу о социальной политике Вильгельма Завоевателя	52
<b>Н.А. Селунская</b>	
Феодализм? перед судом? историков? («Сеньория и вассалитет простолюдинов»)	78
<b>К.В. Хвостова.</b>	
Некоторые правовые и социальные реалии: Византии в их сравнении с Западом	100
<b>Н.А. Хачатурян</b>	
Система и принцип относительности	109
<b>Л.А. Пименова</b>	
Представления о «феодализме» в дореволюционной Франции XVIII в.	115
<b>Ю.П. Зарецкий</b>	
Феодализм, исторический источник, историческая наука: «модный» взгляд на старые вещи	130
<b>П.В. Лукин</b>	
Праздник, пир и вече: к вопросу об архаических чертах общественного строя восточных и западных славян	163
<b>П.С. Стефанович</b>	
Боярская служба в средневековой Руси	180
<b>Горский А.А.</b>	
«Русский» феодализм в свете феодализма «западного»	190



<b><i>М.Ю. Парамонова</i></b>	
Чехия и Германия: вассалитет или государственно-правовая зависимость?	193
<b><i>Л.Б. Алаев</i></b>	
Традиционная модель феодализма и «восточный феодализм»	239
<b><i>П.Ю. Уваров</i></b>	
Феодализм в XXI в.	245
<b><i>А.Я. Гуревич</i></b>	
Post scriptum. Peasant Society и профессор Крис Уикхем	260

## ФЕОДАЛИЗМ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИКОВ

*Этой теме был посвящен круглый стол, проведенный 25 апреля 2005 г. в рамках семинара по исторической и культурной антропологии ИВИ РАН и Ассамблеи медиевистов при поддержке Отделения исторических и филологических наук РАН.*

*П.Ю. Уваров*

### В ПОИСКАХ ФЕОДАЛИЗМА

Хотим мы этого или нет, слова «Средневековье» и «феодализм» до сих пор употребляются как синонимы. Однако о том, что же такое феодализм, отечественные медиевисты, кажется, перестали всерьез задумываться и спорить намного раньше, чем распался СССР. Да и в западной историографии это понятие трудно назвать самым актуальным, во всяком случае, появляется немало обобщающих работ по средневековой истории, вообще обходящихся без этого термина. Не то, чтобы кто-нибудь раз и навсегда опроверг существование феодализма, как Ломоносов в свое время опроверг существование флогистона. Но термин «феодализм», действительно, все реже появляется на страницах обобщающих работ и даже учебников, не говоря уже о специальных монографиях. Возможно, это понятие выходит из моды, подобно тому, как выходит из моды понятие «абсолютизм».

Мы уже привыкли считать, что не просто изучаем прошлое, а задаем ему именно те вопросы, которые волнуют нас и наших современников. Нетрудно объяснить поэтому появление таких, некогда непривычных для медиевистов проблем, как гендерные аспекты святости, отклоняющееся поведение, восприятие чужого, переживание телесности, чувство природы, зрительные образы власти – да и прочих нетривиальных сюжетов, включая символику высушенного языка дьявола в готическом соборе. Волнует ли понятие «феодализм» наших современников? А если признать, что то или иное понятие живет в науке до тех пор, пока оно функционально, пока помогает ученому решать свои задачи, то правомерен и другой вопрос: помогает ли понятие «феодализм» российским специалистам по западному Средневековью в их повседневной исследовательской деятельности?

На эти вопросы ответить сложно. В силу ряда причин, в том числе тех, которые принято относить к области социологии науки, в первое мгновение напрашивается отрицательный ответ. Думаю,

что в своих статьях и монографиях большинство из участников нашего заседания вполне обходится без слова «феодализм». Мне, во всяком случае, при анализе французских нотариальных актов XVI в. это понятие пока не понадобилось. Более того, если на вопрос западного коллеги о научных интересах ответить, что основной предмет твоих занятий – проблемы феодализма, то это, боюсь, только затруднит жизненно важный для всех нас процесс международной научной коммуникации. Такое положение можно было бы списать на издержки узкой профессиональной специализации, но существует немало и обобщающих моделей описания достаточно крупных процессов и явлений Средневековья, в которых не используется понятие «феодализм»<sup>1</sup>.

Может быть, правы те коллеги, которые говорят, что время «больших нарративов», глобальных обобщений, крупных тем уже и вовсе миновало? Как было отмечено в одном недавнем исследовании: «В театре современной микроистории классы, государства и нации размытой тенью появляются на заднике сцены. Их выход к рампе вызывает свист в зале»<sup>2</sup>. При таком взгляде на вещи эти слова, иллюстрирующие распад основных исторических понятий, не могут не относиться и к феодализму.

Поэтому неудивительно, что, когда мы затевали сегодняшнее заседание, нам приходилось слышать недоуменные вопросы: «Зачем нужно тратить время на столь устаревшую тему? Кого она может сейчас заинтересовать?»

Как выяснилось – многих. Присутствие на нашей сессии почти сотни слушателей – вещь не частая в наше время, столь избалованное всевозможными научными акциями медиевистов. На самом деле ничего удивительного в подобном интересе нет. Вопрос о феодализме обречен на успех, поскольку нам необходимо найти некоторые сущностные черты изучаемого общества – общества Западной Европы эпохи Средних веков. Трудно сказать – почему. Наверное, в нас слишком глубоко укоренена ностальгия по обладанию сущностью, призванной обеспечить ясность. Но если состояние наших знаний об этом обществе подсказывает нам, что понятие феодализма, которым пользовались у нас полвека назад, лишь мешает понять природу этого общества, то понятие надо либо переосмыслить, либо вообще от него отказаться. И тогда найти ему достойную замену.

Это нужно хотя бы для преподавания. Иначе курс истории вновь превратится в перечень фактов политической истории и сборник анекдотов. Но это необходимо далеко не только для преподавания. Может быть, медиевистам в России наличие такой

обобщающей характеристики необходимо даже в большей степени, чем в других странах.

Мало где в мире найдется столько специалистов, занимающихся давней историей не своей страны. Добавим без ложной скромности – специалистов, пока продолжающих пользоваться репутацией своеобразного авангарда отечественной исторической науки. В этом отношении Россию можно сравнить разве что с США или Канадой, но для этих стран европейское Средневековье – эпоха не совсем чужая, да и материальные возможности у них несопоставимы с нашими. У нас в стране мы, медиевисты – «западники», нужны прежде всего коллегам, занимающимся историей Византии, славянских стран, Востока, но главное – специалистам по отечественной истории. Ведь все они неизбежно сверяют свои результаты с западным примером, почитаемым классическим. Оставим в стороне вопрос о том, хорош или плох европоцентризм – он все равно существует. Утверждение, что в России или в Афганистане феодализма не было, или, наоборот, что он там был, предполагает сопоставление его с некоей моделью. Мы, конечно, можем отказаться выполнять функцию «ответственных» за эту модель, но ею все равно будут пользоваться – просто это будет безнадежно устаревшая модель. И выводы будут заведомо не соответствующими современному состоянию науки. А эти выводы, в конечном счете, формируют как самосознание нации (неизбывной частью которого традиционно являются размышления о сходстве и различиях России и Европы как отправной точке для поиска национальной идеи), так и определение стратегических приоритетов в выборе развития, сколь ни высокочпарными могут показаться подобные слова. Если человек уверен, что Средневековье – царство кулачного права и мракобесия, а «настоящая» история начинается лишь с XVIII в., то и рецепты, разрабатываемые им для модернизации нашего общества, будут соответствующими.

Приведу два конкретных примера. Советские специалисты помогали революционному правительству Афганистана разработать аграрную реформу. При этом они, определяя стадию развития этой страны как феодальную, руководствовались доступной им в ту пору моделью феодализма, то есть общества, основанного на безжалостной эксплуатации крестьян феодалами, что предполагало наличие ожесточенного классового антагонизма. Затеваемая реформа должна была превратить крестьянство в стратегического союзника новых кабульских властей в их борьбе с феодальными пережитками. То, что афганский крестьянин, хоть и взялся за оружие, но использовал его отнюдь не против своего феодала-эксплуататора, оказалось неприятным сюрпризом для авторов аг-

рарной программы. И отчасти может быть поставлено в вину устаревшему представлению о феодализме.

Второй пример менее трагичен, но более современен. Дочь нашей коллеги, студентка одного из экономических отделений заслуженного технического ВУЗа должна была написать реферат по экономике. В ту пору они как раз проходили экономику феодализма. Но помощь, оказанная нашей коллегой своему ребенку, явно не соответствовала требованиям преподавателей, оценившим реферат крайне низко. Выяснилось, что в списке рекомендованной литературы едва ли не самым «свежим» трудом была книга Б.Ф. Поршнева «Политическая экономия феодализма», 1954-го года издания! Но стоит ли осуждать экономистов технического ВУЗа? Ведь почти никто из нашего многочисленного племени медиевистов не снисходит до таких «низменных» сюжетов, как экономика Средневековья. А сон разума, как известно, порождает чудовищ...

Справедливости ради надо сказать, что в последние годы наметилась тенденция к возвращению разговоров о феодализме. Объемная монография И.С. Филиппова, посвященная Южной Франции, носит подзаголовок «Проблема становления феодализма»<sup>3</sup>. В 2001 г. тема «Что такое феодализм?» была вынесена в качестве основной на Летнюю школу молодых медиевистов<sup>4</sup>. Тогда постановка подобного вопроса вызывала еще большее недоумение, чем сейчас. Тем более, что она абсолютно не соответствовала исследовательским интересам участников. Но в итоге все согласились в том, что проблема важна, и с интересом обсуждали теоретическую главу университетского учебника в диалоге с ее автором – Н.А. Хачатурян, а выступление А.Я. Гуревича «Как я понимаю Средневековье?», естественно, собрало полный аншлаги. Позже им же была опубликована статья в «Одиссее» на эту тему<sup>5</sup> и Введение к «Словарю средневековой культуры»<sup>6</sup>. Два последних выпуска «Средних веков» содержат рубрику «Переосмысляя феодализм». Продолжением традиций отечественной аграрной школы медиевистов стала монография М.В. Винокуровой<sup>7</sup>, возвращающаяся к проблемам, некогда считавшимся основными для понимания Средневековья. В том, что западные медиевисты, оказывается, отнюдь не утратили вкус к обобщениям, можно убедиться на опыте Международного семинара по медиевистике, организованного при поддержке А.И. Решина в МГУ, куда регулярно с 2004 года приезжают ведущие западные исследователи.

Менее всего мне бы хотелось, чтобы сказанное выглядело отчетом о достижениях за истекшую пятилетку. Я лишь попытался назвать симптомы того, что разговор о базовых характеристиках средневекового общества назрел. Еще одним свидетельством этого



является столь высокий интерес к сегодняшнему «Круглому столу». Сегодня речь пойдет о феодализме как об одной из таких возможных базовых характеристик. Мне бы хотелось предварить этот разговор еще одним соображением о пределах использования обсуждаемого понятия.

Надюсь, сегодня уже никого не надо убеждать в том, что «феодализм» – это не более чем исследовательская категория, помогающая взглянуть на прошлое под определенным углом зрения. Вроде бы все знают слова «идеальный тип» и даже «исследовательская утопия», все уже слышаны о вреде реификации категорий – о том, к каким ошибкам может привести приписывание объективного существования этим «исследовательским утопиям». Но все равно – часто приходится слышать от коллег: «Может, где-то феодализм и был, но его явно не было вот в той стране, которую я изучаю!» (например, в Португалии, Шотландии, Венгрии, Ирландии, Швеции, Голландии и пр.). Это произносится с таким энтузиазмом и даже с таким пафосом гражданского мужества, что не удивительно, что на аспирантских экзаменах все чаще звучит ответ: «феодализма нигде не было». С этим трудно не согласиться. Но только, если к феодализму подходить как к физически существующему объекту и к тому же пользоваться при этом логическим критерием необходимых и достаточных условий (явление имеет набор свойств, которыми должны обладать все члены данного множества и не должен обладать никто, кроме них). При таком подходе ни Франция времен Гуго Капета, ни Иерусалимское королевство не подпадут под определение феодального общества – если исходить из нашего *современного* уровня знаний об этих королевствах. Происходит не вполне честная операция: берут обветшавшее понятие как минимум пятидесятилетней давности и накладывают его на эмпирический материал, добытый с применением всей палитры современных подходов – подходов времен постмодернизма и пост-постмодернизма. И затем с радостью констатируют, что понятие к данной реальности неприменимо, поскольку реальность эта обладает, как оказалось, некими признаками, в него не укладывающимися. Это происходит, разумеется, не только с «феодализмом», но и с такими категориями как «революция», «абсолютизм» и многими другими. В результате остается лишь вспомнить слова лукавого иностранца с Патриарших прудов, о том, что у нас чего ни хватишься – ничего нет.

Выходов из этой ситуации, на мой взгляд, может быть три.

Либо признать, что время абстракций, общих понятий и «больших нарративов», действительно, безвозвратно прошло, и настала эпоха узких специалистов и микросюжетов.

Либо отбросить все обветшавшие и перегруженные противоречивыми коннотациями понятия и придумать новые.

Либо задуматься над тем, можно ли приспособить старые понятия к нуждам современного уровня исследований. А если можно, то как?

Каждый из трех путей имеет свои преимущества и недостатки. Но сегодня мы сконцентрируемся на третьем пути.

---

<sup>1</sup> Некоторые из них предложены в сборнике: Конструирование социального. М., 2001.

<sup>2</sup> *Копосов Н.* Почему стареет Клио? // *Копосов Н.* Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005. С. 135.

<sup>3</sup> *Филиппов И.С.* Средиземноморская Франция в раннее Средневековье. Проблема становления феодализма. М., 2000.

<sup>4</sup> Эхо летней школы // *Средние Века.* Вып. 63. М., 2002.

<sup>5</sup> *Гуревич А.Я.* «Феодальное средневековье»: Что это такое? Размышления медиевиста на грани веков // *Одиссей: Человек в истории.* 2002. М., 2002. С. 261-294.

<sup>6</sup> *Словарь средневековой культуры* / Под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003. С. 5-18.

<sup>7</sup> *Винокурова М.В.* Мир английского манора. М., 2004.

## ФЕОДАЛИЗМ ПРЕД СУДОМ ИСТОРИКОВ, или О СРЕДНЕВЕКОВОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ\*

### I

Что такое «феодализм» с точки зрения современного историка?

Вопреки тому, что можно ожидать от статьи с подобным названием, в мои намерения отнюдь не входит разбор различных концепций феодализма, которые возникали, сосуществовали или противоборствовали в историографии на протяжении XIX и XX вв. Это – особая и, несомненно, любопытная тема, но мне хотелось бы остановиться на некоторых иных проблемах, прямо или косвенно связанных с понятием «феодализм».

Время от времени я в ходе своих размышлений об этом предмете останавливался в растерянности: каким образом удавалось и всё ещё удаётся (удастся ли?!) историкам, а равно и социологам, и философам, вопреки глубочайшим переменам, кои пережили мир и, в частности, научная мысль в указанный период, по-прежнему придерживаться давно сложившихся исторических понятий? Разумеется, понятие «феодализм» несколько изменяло своё содержание в зависимости от времени, когда его употребляли, и от того, каковы были философские установки историков и их принадлежность к той или иной национальной школе. И тем не менее, многовековая эпоха, отделяющая Античность от Нового времени, «классику» от «модерна», сколь ни колебались её хронологические границы, остаётся прочно связанной с понятием «феодализма», в котором продолжают видеть политическую, правовую, экономическую и

---

\* Уже после завершения работы над сборником мы узнали о том, что 15 декабря 2005 г. на историческом факультет Санкт-Петербургского государственного университета состоялось заседание теоретического семинара, на котором обсуждался доклад А.Я. Гуревича, публикуемый в нашем издании. Во время заседания выступили Э.Д. Фролов, Г.Е. Лебедева, В.А. Якубский, А.Ю. Прокопьев, С.Е. Федоров. Материалы заседания опубликованы в кн.: Вестник Санкт-Петербургского университета. СПб., 2006. Сер. 2. История. С. 96-115. – *Редколлегия*.

социальную квинтэссенцию Средневековья. Средневековье было феодальным по своей сути, и феодализм синонимичен Средневековью – это равенство представляется настолько самоочевидным, что сомнения возникают довольно редко.

Излишне напоминать о том, что понятие «феодализм» с самого начала обладало пейоративной окраской. В нём воплощался комплекс представлений, противоположных понятию «гражданского (буржуазного) общества». Последнее же, напротив, воплощало сумму качеств положительных. Исторический прогресс привел к упадку и низложению феодализма и, тем самым, утвердил общественную систему, основанную на более цивилизованных формах человеческой организации. Даже после того, как оттремели буржуазные революции, в той или иной мере покончившие с феодализмом, лежавшее на нём клеймо регресса и застоя не было упрямственно.

Между тем накопление фактического материала и, главное, углубление его анализа естественно и неизбежно приводит исследователей к пересмотру многих конкретных вопросов. И в целом, и в частности феодальное Средневековье выглядит ныне, на рубеже второго и третьего тысячелетий, отнюдь не таким, каким оно виделось предшествующим поколениям. Медиевистами проделана огромная исследовательская работа. В старые мехи постоянно вливается новое вино, но, странным делом, оно мехов не разрывает. Мне кажется, что налицо кричащее противоречие между самими общими понятиями, употребляемыми поколениями историков, и эмпирическим богатством нашей научной дисциплины. Начиная примерно с середины истекшего века, она, эта дисциплина, пережила и, думается, продолжает переживать подлинную революцию. Эта революция охватила и проблематику исторического исследования, и его конкретную методологию. Взгляд на историческое прошлое, те вопросы, которые ныне мы ему задаём, имеют мало общего с вопрошаниями наших научных дедов и прадедов. Поэтому кажется саморазумеющимся, что новое содержание исторического знания требует отказа от унаследованных от прошлого стереотипов и новой концептуализации.

Ни в коей мере не претендуя на то, чтобы осуществить или хотя бы приступить к осуществлению подобной ревизии, я ограничиваю свою задачу попыткой указать на те трещины, которые образовались в воздвигнутом усилиями медиевистов здании. На этот «подвиг» меня, помимо всего прочего, побуждают уже предпринимаемые рядом коллег опыты пересмотра понятия «феодального Средневековья». Разве не симптоматично и даже символично то, что вполне независимо друг от друга отдельные историки разных

стран и научных направлений всё более энергично высказывают сомнения относительно дальнейшей пригодности концепта «феодализм» и того содержания, которым это понятие нами наполняется? Не успел я – несомненно, стимулируемый помимо собственных застарелых интересов дискуссией, порождённой книгой С. Рейнольдс<sup>1</sup> – опубликовать статью под названием, не оставляющим сомнений в моих ревизионистских интенциях<sup>2</sup>, как был довольно объёмистый том «Присутствие феодализма», в котором объединены дискуссионные статьи историков из разных стран Запада<sup>3</sup>. В этой книге собраны тексты докладов, прочитанных на конференции, состоявшейся в Институте истории Общества Макса Планка в Гёттингене в 2000 г. И почти в тот же день я получил извещение от профессора Яноша Бака о том, что в 2005 г. в Будапеште предполагается провести международную конференцию «Употребление понятия Средневековья и злоупотребление им в XIX–XXI вв.».

О том, что брожение умов историков, занятых проблемой феодализма, ведёт к расшатыванию устоявшихся общих категорий, может свидетельствовать обширная статья Л. Кухенбуха «"Феодализм": К вопросу о стратегиях использования одного раздражающего гносеологического понятия»<sup>4</sup>. Если сопоставить эту работу Л. Кухенбуха с им же изданным сборником «Феодализм – материалы по теории и истории»<sup>5</sup>, то нетрудно убедиться: за четверть века, разделяющую эти публикации, разрушение возведённой историками «авилонской башни» стало необратимым. Не симптоматично ли и то, что термин *Feudalismus* ныне заключён в статье Кухенбуха в выразительные кавычки? Правда, этот немецкий историк не склонен отрицать за понятием «феодализм» реальное содержание: «Представление, будто можно исключить феодализм из исторической науки, – это... заблуждение. Он в ней неотменимо присутствует»<sup>6</sup>. К сожалению, он ограничивается преимущественно общими рассуждениями и, как кажется, не придаёт решающего значения собственно «ремеслу историка» – конкретной исследовательской практике. Но, как известно, «Бог в деталях», и ими не следовало бы пренебрегать.

Что касается отечественной историографии в её нынешнем виде, то приходится констатировать: проблема феодального Средневековья – понятия и предмета исторического исследования – весьма мало тревожит наших медиевистов, вследствие чего многие продолжают придерживаться довольно-таки заскорузлых взглядов и суждений. Повышенный интерес к теоретическим вопросам медиевистики, предельно догматизированный и во многом стерильный в научном отношении, сменился почти полным равнодушием



к такого рода сюжетам. Внимание к социально-экономической проблематике явственно угасло, взоры историков обратились к новым темам, но именно поэтому общие понятия и определения столетней давности всё вновь и вновь некритично воспроизводятся в научной и учебной литературе. Не пора ли историкам ревизовать арсенал применяемых ими общих понятий и посмотреть, насколько они разошлись с накопленными ныне конкретными наблюдениями над источниками?

Именно в этой связи я хотел бы поддержать недавнюю попытку И.В. Дубровского расчистить залежи толкований понятий «феод», «вассалитет», «феодализм», некритично используемых в современной медиэвистике. Опираясь на труды С. Рейнольдс, равно как и некоторых других исследователей, он наглядно демонстрирует предельную запутанность проблемы. В центре его внимания, как и у его оксфордской предшественницы, – вассально-ленные отношения и соответствующая им терминология, лишь отчасти восходящая к изучаемой эпохе, но в основном употреблявшаяся учёными-юристами Нового времени. «Эти историографические окаменелости влекут за собой шлейф архаических представлений о средневековье и обществе в целом. За средневековые понятия сегодня выдаются структуры интерпретации, изобретенные в XVI веке и детально разработанные в следующем столетии»<sup>7</sup>.

## II

Я отнюдь не намерен возвращаться к тем соображениям, которые были высказаны мною в упомянутой выше недавней статье, и хочу подойти к этой проблеме под несколько иным углом зрения. Рассуждения теоретического характера обычно выглядят более или менее голословными и малоубедительными. Для практикующего историка решающим с точки зрения доказательности его тезисов остаётся вопрос об источниках. Перед нами – довольно широкий «ассортимент» памятников прошлого, текстов самого разного рода, равно как и материальных остатков старины, и исследователь, руководствуясь ясно осознанными либо относительно смутно представляющимися ему критериями, возводит те или иные памятники в ранг исторических документов. Отбор свидетельств, привлекаемых историком для изучения, уже содержит в себе, пусть латентно, интерпретацию: почему одни тексты привлекают его внимание, тогда как многое другое игнорируется?

Но если вдуматься в эту источниковедческую проблему, то не станет ли ясно, что интерпретация начинается гораздо раньше? Автор средневекового свидетельства, каковое для медиэвиста послужит предметом анализа и истолкования, сам произвёл опреде-

лѐнный выбор – счѐл важным зафиксировать одни факты, опустив другие; придавая решающее значение каким-то сторонам изображѐнной им действительности, он не склонен особо задерживаться на иных. Нельзя упускать из виду и ту цепь толкований, которая содержится в трудах историков – предшественников современных исследователей. В итоге пред нами – целая серия интерпретаций, с которыми приходится считаться или, во всяком случае, признавать их наличие. Другими словами, современный историк истолковывает не «изначальные», «сырые» факты, сообщения о которых дошли до него «прямо из жизни», – он имеет дело с той информацией, которая уже пропущена через восприятие автора источника и, следовательно, рисует нам не то, «как это было на самом деле», а некий образ действительности, создавшийся в сознании автора или составителя источника и обросший последующими толкованиями.

Поэтому вполне естественно, что медиевисты ныне сосредоточиваются во всё большей мере не на восстановлении событийной истории, а на попытках реконструировать формы мировосприятия, присущие людям изучаемой эпохи, или, по крайней мере, тем из них, кто был причастен к созданию сохранившихся свидетельств. Итак, нацеливая свой окуляр на прошлое, мы в лучшем случае способны воссоздавать не самое это прошлое, но, собственно, лишь те его аспекты, какие было угодно зафиксировать в источниках носителям тогдашнего мировиденья, притом зафиксировать такими способами, какие были характерны для средневекового сознания. Не представляет ли собой «ремесло» историка-медиевиста не что иное, как современную интерпретацию средневековых интерпретаций?

Едва ли допустимо не считаться с тем несомненным фактом, что современному медиевисту приходится, распутывая хитросплетение интерпретаций, одновременно в полной мере принимать в расчѐт бесчисленные и полные значимости умолчания? Именно на фоне подобных умолчаний я и намерен рассмотреть в настоящем тексте те данные, которые, к сожалению, редко привлекают внимание историков.

\* \* \*

Представляется целесообразным хотя бы на время отвлечься от «проклятой» проблемы феодализма и заглянуть, если можно так выразиться, за его кулисы. Соответственно, далее речь пойдет не о фьефах и вассалах, а о некоторых характерных чертах аграрного строя Средневековья. Казалось бы, подобная постановка вопроса отнюдь не блещет новизной. Об аграрном строе эпохи и, в частности, о судьбах крестьянства в своё время было написано неисчис-

лимое количество исследований. Правда, приходится признать, что большинство этих трудов датируется концом XIX и первой половиной XX в. В более близкое нам время подобная тематика стала отодвигаться на второй план. Можно вспомнить, что в отечественной медиевистике особое внимание аграрной истории Запада уделяли такие ученые, как Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, П.Г. Виноградов, Д.М. Петрушевский, Н.П. Грацианский, Е.А. Косминский, С.Д. Сказкин, А.И. Неусыхин, М.А. Барг и другие, и что во второй половине истекшего столетия этот интерес резко снизился. Перед учёными стала вырисовываться иная проблематика; я, однако, убеждён в том, что история крестьянства не утратила своей актуальности – просто-напросто необходимо переформулировать исследовательскую задачу и, в частности, изменить акценты, что мне и хотелось бы предпринять.

Я позволю себе остановиться на нескольких конкретных примерах, связанных с истолкованием определённых явлений средневековой духовной и материальной жизни. Эти примеры выглядят разрозненными; во всяком случае, на первый взгляд связь между ними не ясна. Тем не менее эта связь существует, и я намерен тотчас же её продемонстрировать. Да простит мне читатель моё возвращение к тем сюжетам, о которых мне уже довелось писать раньше. Исторический факт, как и исторический источник, о нём сообщающий, неисчерпаем, а потому нелишне время от времени к нему возвращаться. Речь идёт всякий раз об отказе от традиционной интерпретации исторических текстов и об установлении новых смысловых связей между их сообщениями.

Я вспоминаю дефиницию феодализма, которую полвека назад дал Жорж Дюби: «Что такое феодализм? Это, прежде всего, умонастроение», «средневековый менталитет»<sup>8</sup>. Разумеется, нет оснований принимать формулу Ж. Дюби за адекватное или исчерпывающее определение феодализма. Не забудем, что этот великий историк отнюдь не ограничился такого рода определением – в большей мере, нежели многие другие «анналисты», Дюби выделял в качестве первостепенных социальные стороны средневековой общественной организации. Но даже если вышеприведённую дефиницию приходится принимать «со щепоткой соли», то её смысл не может вызывать сомнения: социальные, экономические, правовые и политические структуры Средневековья немыслимы, если отвлечься от эмоциональности людей, их образовывавших, если не вдуматься в их картину мира.

\* \* \*

Вновь повторю: интерпретация средневекового текста медиевистом, работающим на рубеже XX и XXI столетий, в принципе не может быть идентична той версии, какая запечатлена в этом тексте. Но вся трудность состоит в том, чтобы, не навязывая древнему свидетельству наши нынешние суждения (к сожалению, такое навязывание встречается в трудах историков слишком часто), попытаться найти опору для другой, более убедительной интерпретации в самом этом тексте.

И здесь я позволю себе вольность сослаться на своё недавнее исследование. Оно посвящено анализу двух повествований о конфликтах между исландскими бондами-хуторянами<sup>9</sup>. В одном из этих повествований, в своего рода «микросаге», рассказывается о том, как слуга знатного и зажиточного хозяина нанёс оскорбление его соседу-бобылю, человеку более скромного достатка. Это происшествие, само по себе кажущееся ничтожным, породило серию насильственных действий и вражду между могущественным Бьярни и потерпевшим от его слуг Торстейном. Конфликт привел к поединку между ними, и в ходе этого поединка оба они проявили как боевую доблесть, так и величие души. «Удача» Бьярни одолела «неудачу», «невезенье» Торстейна, и в конце концов последний вынужден был признать превосходство более «счастливого» богача и стать его «человеком». В центре повествования – сравнение двух доблестных мужей, каждый из коих старается превзойти другого в отстаивании своего достоинства. Внимание автора рассказа концентрируется именно на человеческих качествах протагонистов, и есть все основания предполагать, что на их великодушие и благородстве фиксировалось внимание аудитории – тех, кто слушал или читал эту небольшую сагу.

Испытание доблести индивида, демонстрация им чувств и поведения, которое адекватно его свободе и независимости, – таков, по моему убеждению, пафос исландских «семейных саг». Свободный хуторянин, глава семьи и полноправный участник местной судебной сходки, в назначенные сроки посещающий общеисландское народное собрание альтинг, где со Скалы закона законодатель – единственное на острове должностное лицо – излагает и толкует народное право, более всего озабочен тем, чтобы поддерживать свою репутацию в глазах окружающих. Потому-то он с такой готовностью хватается за меч или боевой топор, дабы защитить своё доброе имя и по окончании жизни оставить по себе славу. Высокое самосознание бонда – вот та основа, на которой строится правопорядок независимой Исландии (она оставалась таковой вплоть до 60-х гг. XIII в.). Своеобразный «архаический инди-

видуализм» (я говорю об «архаическом индивидуализме» для того, чтобы не возникло никаких близких сравнений с гуманистическим индивидуализмом Ренессанса) пронизывает как исландскую повествовательную прозу, так и артистически вычурную поэзию скальдов (воспевая подвиги норвежских конунгов, они не упускали случая для прославления собственных поэтических достоинств).

Таковы определяющие черты древнеисландской культуры, если свести её смысл к нескольким фразам.

Но, вчитываясь в повествование о «Торстейне Побитом Палкой», повествование, в котором «удача», «везенье» обоих протагонистов выступают чуть ли не как самостоятельные сущности, и где поэтому всё внимание, казалось бы, сосредоточено на их человеческих доблестях, великодушии и благородстве, я не мог не заподозрить присутствие ещё и другого смыслового пласта. Он подан здесь довольно неприметно, и современный читатель вполне может упустить его из виду. Намеренно упрощая сюжет этого рассказа, т.е. отвлекаясь от демонстрации высоты духа Бьярни, Торстейна, а затем и отца последнего, исследователь социальных отношений нашел бы здесь историю о домохозяине скромного достатка, который в конечном итоге оказался в зависимости от могущественного и богатого соседа. Этот «низменный», материальный план дан здесь в высшей степени неназойливо, как бы пунктиром, так что возникает сомнение, насколько существенным был он для автора. Может быть, последний не столько намеревался поведать о том, как Торстейн сделался «человеком» Бьярни, сколько «проговорился» об этом вопреки собственным интенциям. Проговорился потому, что такова была тогдашняя исландская повседнежность: могущественные предводители собирали довольно значительные (по исландским масштабам, разумеется) владения, а рядовые свободные хозяева в той или иной мере утрачивали если не свободу, то независимость. Говорить применительно к Исландии о феодализме или даже о каких-то его зачатках было бы неоправданным преувеличением. Но в любом аграрном обществе неизбежна дифференциация, и, думаю мне, в повествовании о Торстейне сквозь картину противоборства, а затем и примирения двух доблестных мужей проглядывает не столь возвышенная суровая сторона действительности.

Делая все необходимые поправки на глубокое своеобразие средневековой исландской социальной жизни, тем не менее позволю себе задаться вопросом: не вправе ли медиевист предположить, что и в других странах среди ингредиентов генезиса новых общественно-экономических отношений были и такие факторы, как психологические, ментальные установки и стимулы, возни-



кавшие под воздействием системы ценностей, принятой в той или иной среде? Осмелюсь утверждать: медиевист не только вправе допустить подобную возможность – он не вправе не допустить её! Социальные и экономические процессы, имевшие место в ту эпоху, несомненно, предполагали человеческие драмы, о коих, к сожалению, нам приходится только догадываться. Слишком редко приподнимается хотя бы край завесы, заслоняющей от нашего взора человеческое содержание этих конфликтов.

\* \* \*

Наряду с явным дефицитом источников, которые позволили бы нам приблизиться к уразумению человеческого содержания социальных процессов периода раннего Средневековья, нельзя не отметить: медиевисты, следуя давней традиции, сосредоточивали внимание на юридических текстах, тогда как памятники нарративные оставались где-то на периферии. И вот к чему это приводило. Исследователи *leges barbarorum*, как правило, принимают на веру ту схему социальной стратификации, которая запечатлена во всех этих «варварских законах», – *nobiles, liberi, laeti, servi*. Посягательства на жизнь, здоровье, честь или имущество представителя каждого из этих правовых разрядов (исключая «рабов») караются особыми возмещениями или штрафами. Если верить букве судебного, член того или иного разряда получал или платил раз навсегда установленную сумму денег. В этом смысле все *liberi* или *nobiles* были равноценны и неразличимы.

Я убеждён, историки, доверявшие этим предписаниям права, были введены в заблуждение, и причина последнего коренится в излишней приверженности к анализу нормативных источников. Между тем склонность законодателя к унифицирующим упрощениям вступала в явное противоречие с действительным положением дел, а именно – с неупорядоченностью и сложностью социальной жизни.

Для того, чтобы в этом убедиться, нам придётся вновь обратиться к скандинавским памятникам. В исландском судебнике *Grágás* установлены размеры виры, полагающейся за убитого свободного человека, – пять марок серебром. Но знакомство с многочисленными сагами, которые повествуют об убийствах и вызванных ими распрях и умиротворениях, не оставляет сомнения в том, что всякий раз, когда враждующим сторонам удавалось достичь соглашения об уплате вергельда, его размеры устанавливались отнюдь не в соответствии с общей правовой нормой; последняя игнорировалась. Платили столько, сколько казалось правильным. Решающими критериями были личные достоинства потерпевшего,

уважение, коим он пользовался, его принадлежность к «хорошему» роду. Иными словами, в центре находился не социальный разряд («знатный», «свободнорожденный», «вольнотпущенник»), но личность персоны, её оценка социумом. Мне трудно допустить мысль о том, что иначе дело обстояло и в тех областях Европы, в которых были записаны и действовали Салическая, Саксонская, Лангобардская и все прочие «правды». Наличие семейных саг в Исландии проливает свет на такие стороны человеческих отношений, которые остаются в густой тени в тех регионах, где записи права были произведены на латинском языке и где предания, схожие с сагами, по ряду причин не были записаны.

\* \* \*

Было бы нелепо ставить под сомнение распространённость и остроту процессов, приводивших к созданию отношений личной и поземельной зависимости и характеризуемых историками в терминах резких и всё обострявшихся антагонизмов между могущественными, знатными и богатыми собственниками, с одной стороны, и мелким людом, который утрачивал свободу и независимость, с другой. Для обоснования подобной точки зрения существует множество исторических свидетельств, однако, ещё раз повторю, социальная действительность в период раннего Средневековья была многообразна, и едва ли вполне правомерно пытаться сводить ее к однозначному классовому размежеванию.

В церковных и монастырских архивах сохранилось большое количество документов, оформлявших поземельные и иные имущественные сделки. Некие собственники на разных условиях передавали религиозным учреждениям свои владения или части их. Как правило, исследователь остаётся в неведении, каков был имущественный и правовой статус лиц, земли которых подпадали под контроль церкви или монастыря. Очевидно, среди традентов могли быть собственники самого разного состояния, и если мелкие крестьяне, отдававшие свои надель «божьим людям», скорее всего, должны были подпасть под их власть и влияние, то собственники состоятельные вполне могли сохранять свою независимость. Для того чтобы сделки с недвижимостью обрели законный характер, их условия не только фиксировались на пергаменте, но и скреплялись свидетелями. И действительно, множество подобных документов подтверждено упоминанием свидетелей транзакции. Подчас число «подписей» последних довольно велико (до нескольких десятков). Оставляя в стороне нелегкий вопрос об идентификации имён в эпоху, когда, собственно, фамилий ещё не существовало, а самое имя могло быть записано по-разному, мы стоим перед фактом:

обладатель некоего имущества оформлял передачу его на определенных условиях церкви или монастырю в публичном собрании, участниками которого были многочисленные лица неясного правового и имущественного статуса. Но поскольку эти «таинственные незнакомцы» участвовали в судебном собрании и считались достойными выступить в роли свидетелей юридической сделки, то не приходится ли предполагать, что они обладали определенной правоспособностью? Трудно отказаться от мысли, что эти свидетели не были лишены ни личной свободы, ни некоторой собственности. Именно такой их статус служил основанием для того, чтобы они могли выступать в качестве участников публичного собрания<sup>10</sup>.

В большинстве случаев эти люди более не появляются в источниках, и мы ничего о них не слышим. Однако мы уже узнали о них нечто такое, на что необходимо обратить внимание. Мы сталкиваемся с фактом, что наряду с предположительно немногочисленной группой юридических лиц, в руки которых переходили новые владения, и теми собственниками, которые, руководствуясь самыми разными побуждениями – имущественными, религиозными, семейными, – передавали какую-то часть своих земель духовенству и монахам, в тех самых селениях или округах существовало множество других обитателей, которые, как можно догадываться, сохраняли личную и имущественную самостоятельность. Во всяком случае, не существует никаких «противопоказаний» на сей счёт.

В фокусе исследования медиевиста, изучающего генезис феодализма и, в частности, переход наделов плебса в собственность церковных магнатов, само собой разумеется, преимущественно находятся эти два противостоящих один другому полюса. Между тем как масса лиц, появляющихся на листах документов только в роли свидетелей и бесследно исчезающих, сплошь и рядом, к сожалению, не привлекает к себе должного внимания. А ведь если вдуматься в ситуацию, отражающуюся в источниках, то придётся допустить мысль, что в этом обществе существовал довольно широкий слой людей, которые не принадлежали ни к влиятельной социальной верхушке, ни к тем, кто по различным причинам оказывался под её властью. Сколь обширной была эта «нейтральная» социальная страта, каков был её реальный состав, какова была степень её устойчивости – ничего этого мы не знаем. Тем не менее, налицо, несомненно, многочисленный слой правоспособных владельцев, и было бы опрометчивым предположение, что они или их большинство были обречены раньше или позже втянуться в отношения зависимости от церковных и светских господ. Было бы односторонним рассматривать социальные процессы периода ранне-

го Средневековья исключительно или главным образом под углом зрения «генезиса феодализма». На самом деле жизнь была несравненно более многообразной, и нет оснований её целиком вгонять в прокрустово ложе априорных генерализаций.

\* \* \*

Изучая исторические свидетельства, относящиеся к начальному этапу английской аграрной истории, к VI–X столетиям, я убедился в том, что прекарий и подобные ему правовые имущественные сделки, которым исследователи истории франков придают столь важное значение, по сути дела, не нашли отражения ни в правовых, ни в повествовательных английских источниках. Зато я столкнулся здесь с явлением, которое сравнительно слабо зафиксировано в памятниках континента Европы. Отношения между королём и его свитой, дружиной, с одной стороны, и сельским населением, с другой, выражались, помимо всего прочего, в том, что крестьяне должны были устраивать посетившему данную местность королю достойный приём, т.е. в течение определённого времени кормить его и служилых людей. *Georn* («угощение», «пир», «кормление») оказывается ключевым словом при характеристике этого обычая. Здесь перед нами в концентрированной форме выступают гостеприимство и сознание необходимости материально поддерживать власть, представитель которой выступает в качестве гаранта правопорядка. Эти угощения и пиры, налагавшие на местных жителей немалые материальные заботы, не были вполне добровольными, но вместе с тем и не представляли собой простой дани или принудительного налога. Отношения между королём и его народом не были лишены патриархальности, и соплеменники не могли не дорожить возможностью время от времени поддерживать прямые и тесные контакты со своим вождём<sup>11</sup>. *Reisekönigtum* – институт, зафиксированный в ряде европейских стран того периода. Выполняя функции правителя, король, который нуждался в материальной поддержке подданных, вместе с тем во время постоянных разъездов по стране актуализировал свою эмоциональную связь с её населением.

То, что прокормление королевской свиты происходило на пирах, придавало этим отношениям специфический характер: то были не прямая эксплуатация крестьянских материальных ресурсов и не принуждение или угроза его, но соучастие в совместных трапезах, сопровождавшееся дружеским общением вождя и его воинов с местными жителями или, по меньшей мере, с наиболее influentialными из их числа.

Обрисованная в общих чертах картина пиров-кормлений может быть реконструирована на материале англосаксонских памятников лишь отчасти. Историк узнаёт об этих явлениях преимущественно из актового материала – из дарственных грамот, оформлявших королевские пожалования земель и доходов в пользу церкви. Эти пожалования существенно нарушали те прямые связи, которые до того существовали между вождем и соплеменником.

\* \* \*

Предположение о существенном значении этой стороны социальной жизни в функционировании ранних государств нашло дальнейшее подтверждение, когда я от изучения англосаксонских памятников обратился к памятникам норвежским. Англосаксонскому *feorm* в Скандинавии соответствовала *veizla*. Значение этого слова – «пир», «угощение». Но о норвежской средневековой *вейцле* наши данные намного более богаты, нежели сравнительно скудные упоминания о «кормлениях» в английских источниках, и потому институт, зафиксированный как в повествовательных, так и в нормативных текстах, выступает перед нами с ещё большей отчётливостью. Усадьбы конунга, размещённые в ключевых стратегических местах и регулярно им посещаемые во время разъездов по стране, так называемые *húsaþýgar*, были своего рода центрами социальной жизни. В этих усадьбах или в усадьбах наиболее влиятельных местных жителей устраивались пиры, которые, помимо всего прочего, были важнейшими узлами социальной информации и культурного обмена. Здесь делились новостями, рассказывали саги и слушали песни скальдов, воспевавших вождя, но здесь же творился суд и, главное, подвергались проверке связи, существовавшие между конунгом и местным населением. Обычай регулировал эти отношения, и в частности, были установлены сроки, в течение которых предводитель с его дружиной мог гостить в одном и том же *húsaþý*: длительное содержание этой прожорливой команды могло грозить разорением гостеприимным подданным.

Природа этих социальных связей не может быть понята вполне адекватно, если не принять в расчёт другой институт, игравший в жизни традиционного общества не меньшую роль, нежели пиры. Я имею в виду обмен дарами. Этот обычай, если следовать Марселю Моссу, представлял собой одну из важнейших универсальных форм общения между индивидами, скрепляя дружбу и отношения взаимной помощи. Природа этого института особенно отчётливо выступает в тех случаях, когда перемещение даров из рук в руки было явно лишено каких-либо материальных, хозяйственных оснований. На передний план выступает жест – движение матери-



ального предмета от одного индивида к другому или от одного социума к другому, предмета, обретавшего в результате акта дарения символический смысл. Не случайно пожалование и получение подарка, как правило, совершались на пирах, в присутствии многочисленных свидетелей<sup>12</sup>.

До сравнительно недавнего времени социантропологи и историки видели в институте обмена дарами одно из типичных воплощений жизнедеятельности архаических обществ. Новые исследования свидетельствуют о том, что этот обычай отнюдь не утратил своей социальной значимости вплоть до начала Нового времени. Натали Земон Дэвис показала, что и во Франции XVI в. обмен дарами был в высшей степени существенным ингредиентом социальной жизни на самых разных её уровнях. Движение даров подчинялось как ежегодному календарному циклу, так и более индивидуализированному циклу семейно-родовых отношений (рождение, свадьба, похороны и т.д.). Ценность дара варьировалась в зависимости от бесчисленных ситуаций. В деревне движение подарков от господ к держателям и от держателей к господам, равно как и их движение по социальной «горизонтالي», отчасти могло иметь и материальное, экономическое значение, но вся эта довольно-таки сложная и разветвлённая практика придавала специфическую эмоциональную окраску социальным отношениям<sup>13</sup>. И в данном случае историк сталкивается с фактами, далеко выходящими за пределы традиционного понимания «внеэкономического принуждения». Для определённых категорий сельского населения, на которые не возлагались барщинные повинности и тягостные платежи, подарки, приносимые свободными держателями сеньорам (дичь или домашняя птица, пара шпор или перчаток и т.п.), оставались главным показателем их подвластности.

\* \* \*

Возвратимся, однако, к институту пира. Норвежские памятники не только знакомят их читателя с той атмосферой, которая складывалась на пирах, этих поистине центральных пунктах человеческого общения, но и дают возможность увидеть то направление, в котором пир-вейцла изменял со временем свою природу. С объединением страны и созданием постоянных резиденций короля последний получил возможность вознаграждать отдельных своих служилых людей посредством пожалования им кормлений в той или иной местности. *Veizlumaðr* мог кормиться за счёт населения отведённой для его прокорма территории. Однако остережёмся от применения к институту веизлы таких понятий, как «лен» или «фьеф». Король мог пожаловать веизлу дружиннику или кому-

либо из своих приближённых, но он мог и отобрать её, и, во всяком случае, вейцлманны или лендрманны не приобретали наследственных прав на отдававшиеся под их контроль кормления. Если и можно (с осторожностью!) говорить о том, что вейцла как бы начала своё движение по направлению к лену, то она явно не зашла на этом пути так далеко, как это произошло с франкским бенефицием, сделавшимся феодом. В Норвегии кормление так и оставалось кормлением, не превращаясь в поместье с барской запашкой и регулярными рентами, вносимыми зависимыми держателями<sup>14</sup>.

Позволю себе настаивать на том, что подобных «недоразвитых» ленов в Европе было много и за пределами Скандинавии. Современный медиевист, встретивший термин *feodum* на страницах изучаемого им памятника, не преминёт заключить, что перед ним – земельное владение, на определённых условиях пожалованное сеньором вассалу и населённое зависимыми крестьянами, в поте лица трудившимися на рыцаря, который тем самым располагал материальной основой для исполнения вассальной военной службы. При этом наш медиевист обычно не задумывается над следующим вопросом: на каком основании он допускает, что всякий раз, когда он встречает в источниках термин *feodum*, этот термин в жизни в точности соответствовал только что упомянутой системе отношений между сеньором, ленником и крестьянами-держателями? В нашем современном мире мы привыкли к тому, что принятая правовая терминология более или менее унифицирована. Так ли обстояло дело в Средние века и в особенности в начале этой эпохи? Кто может поручиться за то, что один и тот же термин, к тому же на чужом языке и потому а priori не вполне понятный, имел всегда и везде одно значение? Пол Хайемс, рассматривающий (в упомянутом выше сборнике «Присутствие феодализма») вопрос о феодальном оммаже, показал, сколь варьировались в зависимости от времени, места и, главное, ситуации те правовые процедуры, которые покрывались термином *homagium*<sup>15</sup>. Описанный во всех учебниках ритуал оммажа в действительности отнюдь не был столь единообразным, как это нам представляется. Кроме того, он нередко применялся вовсе не при вступлении рыцаря под власть сеньора, а по совершенно иным поводам, скажем, при умиротворении между враждующими семьями. Я полагаю, что мысль Хайемса о вариативности средневековых ритуалов, отнюдь не отстоявшихся в неизменные формы, но в высшей степени текучих, заслуживает сугубого внимания. Встречаясь с социальными отношениями, не соответствующими «идеальному типу», медиевисты не без некоторой растерянности говорят о «недоразвитости» или даже «ублодочности» обнаруженных ими институтов<sup>16</sup>.

О пирах и обмене дарами как явлениях, широко распространённых в самых разных культурных регионах, далеко отстоящих от Европы, социальные антропологи писали неоднократно. Перед нами – общественные структуры с глубоко своеобразной системой производства и потребления. Прибавочный, а отчасти и необходимый продукт используется здесь не как средство накопления и эксплуатации низших высшими – плоды человеческого труда служат основой общения между индивидами и группами.

Стремясь акцентировать своеобразие подобной социальной структуры, антропологи обозначают её как *peasant society*, общество, существенно отличающееся как от *tribal society*, так и от «общества промышленного».

Ключевое слово, напрашивающееся для характеристики такого рода «экономики», – «взаимность» (*reciprocity*). Как мы видели, в определённых ситуациях такого рода отношения могли послужить отправными точками для развития зависимости «слабых» от «сильных». Но, судя по всему, такова была лишь одна из возможностей, открытых перед подобным социумом. Мне кажется правильным рассматривать институты дара и пира, несомненно, чрезвычайно широко распространённые на раннесредневековом Западе, не просто как переходные состояния, но в качестве основополагающих принципов социальной и экономической организации. Не имеем ли мы дела с фундаментальной характеристикой «крестьянского общества», над которым могла возникнуть феодальная сеньориально-вассальная система, тем не менее едва ли одолевшая эту свою основу? Это общество и само по себе могло быть довольно глубоко дифференцированным, что, однако, отнюдь не сближало его с обществом феодальным.

\* \* \*

О том, что употреблявшиеся в разных ситуациях и применительно к разным социальным группам унифицирующие термины подчас могут ввести медиевиста в серьёзное заблуждение, свидетельствуют и некоторые иные факты. Исследователи английской аграрной истории XI в. немало сил потратили на попытки выяснить состав сельского населения. *Domesday Book*, великая перепись 1086 г., содержит уникальный для той эпохи «статистический» материал. Исследователи располагают редкостной возможностью определить размеры владений и количественный состав разных категорий крестьян. Последние подразделяются на «вилланов», «бордариев» и «коттеров»; наряду с ними фигурируют и рабы (*servi*). Общепринята точка зрения, согласно которой вилланы представляли собой слой полнонадельных крестьян; бордарии –

держателей, менее обеспеченных землёй, тогда как к числу котте-ров относятся сельские жители, либо лишённые пахотной доли в поместье, либо обладавшие участками ничтожных размеров.

Но здесь возникают кое-какие вопросы и сомнения. Во-первых, принимают ли медиевисты во внимание тот факт, что в Средние века все социально-правовые термины были многообразными и текучими, в зависимости от бесчисленных обстоятельств? Тот, кого королевские писцы, показания коих были сведены в «Книгу Страшного суда», в одном поместье квалифицировали как «виллана», в другом вполне мог сойти за «бордария». И точно так же в число «коттеров» могли попасть, повторяю, и лица, лишённые земли вовсе, и обладатели сравнительно небольших участков.

В «Книге Страшного суда», как и в «Сотенных свитках» (*Rotuli hundredorum*) 1279 г., показания которых историки аграрного развития Англии сопоставляют между собой, земельные наделы крестьян обозначены терминами «гайда», «каруката», «бовата», «виргата». По мнению исследователей, указания числа этих пахотных и тяглых земельных величин дают возможность определить размеры манора и земельную обеспеченность крестьян. Эти бесчисленные цифры прямо-таки просятся в статистические таблицы. Но, боюсь, исследователи при этом не очень-то задумывались над вопросом, в какой степени «гайды», «карукаты» или «виргаты» одного поместья сопоставимы с одноимёнными тяглыми единицами, указанными в описи другого поместья, расположенного в том же или в ином графстве?

Не забываем ли мы о том, что в указанную эпоху не существовало и не могло существовать никаких эталонов земельных мер и эти последние могли бесконечно варьироваться в зависимости от бесчисленных локальных обстоятельств? Я не задавал подобного вопроса Е.А. Косминскому и М.А. Баргу, нашим классикам английской средневековой аграрной истории, и мне трудно было бы предвидеть их возражения. Тем не менее я решаюсь предположить, что, учти они вышеуказанные сомнения, кое-какие их наблюдения и выводы приобрели бы более условный характер.

В этой связи кажется нелишним возвратиться к вопросу о социально-правовом и имущественном составе английского крестьянства в конце XI в. Принимая в расчёт чрезвычайно высокий процент «коттеров», упомянутых в «Книге Страшного суда», И.Н. Гранат ещё сто лет назад высказал мысль о том, что наличие в английской деревне широкого слоя безземельных людей, т.е. свободных рабочих рук, вовсе не было результатом позднесредневековых «огораживаний», но представляло собой «изначальную» устойчивую характеристику деревенского быта<sup>17</sup>. И.Н. Гранат тем

самым разрывает непосредственную связь между существованием в английской деревне довольно широкого слоя людей, готовых продавать свою рабочую силу, и процессом «первоначального накопления». Во всяком случае, здесь есть над чем призадуматься. Особое значение приобретает вопрос о степени дифференциации в среде крестьянства. Что может воспрепятствовать предположению о том, что безземельные или малоземельные жители деревни могли оказаться в зависимости не только от крупных собственников, но и от своих соседей-крестьян?

Если вдуматься в рассмотренный нами выше материал, то не начнут ли пред нами вырисовываться пока ещё смутные контуры крестьянского общества, разумеется, ни в коей мере не оторванного от тех феодальных институтов, которые по-прежнему занимают центральное место в сознании медиевистов, но жившего сообразно собственным и особым принципам и закономерностям? Приходится допустить мысль о том, что это «крестьянское общество» отнюдь не было обществом равных, но расчленялось на ряд имущественных и социально-правовых групп и разрядов. Это своеобразное социальное образование, к сожалению, сплошь и рядом игнорируется медиевистами, мысль которых односторонне ориентирована на становление феодального строя. Крестьянское же общество теряется в тени, отбрасываемой грядущим феодализмом.

\* \* \*

В центре внимания исследователей генезиса феодализма, как правило, стоит вопрос об изменениях, которые переживал в то время институт земельной собственности. Согласно точке зрения, утвердившейся в советской медиевистике, в дофеодальный период в недрах сельской общины, обладавшей верховными правами на землю, постепенно вызревала частная собственность. Аллод всё более становился объектом свободного распоряжения. Имущественная дифференциация вела к тому, что пахотные земли и иные угодья начали концентрироваться в руках наиболее зажиточных членов общины или переходить в собственность церкви и светской знати. Эта концепция, опиравшаяся на идею о прогрессирувавшем разорении общинников, наиболее подробно обоснована в трудах А.И. Неусыхина. На его взгляд, она должна была объяснить процесс превращения свободных общинников в мелких собственников, большинство которых со временем теряло свои права на наделы и превращалось в держателей, зависимых от крупных землевладельцев.

Изложенная (разумеется, предельно схематично) теория представляется мне недостаточно обоснованной и противоречащей

многим показаниям источников. Прежде всего: лежащий в основе этой теории тезис о превращении общинной собственности на пахотную землю в собственность частную, свободно отчуждаемую, опирался на «марковую теорию» (Markgenossenschaftslehre) немецких медиевистов XIX в. Согласно этой теории, в древности и в начале средневековой эпохи германцы-земледельцы объединялись в обширные сельские общины-марки, обладавшие верховной собственностью на землю. Тот факт, что в период позднего Средневековья источниками зафиксировано существование общин-марок (см. об этом ниже), убеждал приверженцев упомянутой теории, что истоки коллективного землевладения и марковой организации надлежит искать, естественно, в седой старине. Основанием для того, чтобы марковая теория была принята на вооружение в марксистской историографии, послужили работы Энгельса, который видел в марке один из осколков первобытно-общинного строя: разительный пример того, как общая историческая концепция подминает под себя конкретную работу историков и создает труднопредодолимые препоны для независимого исследования.

Но, начиная с 30-х гг. XX в., изыскания, проводившиеся с использованием новых методов, разработанных в археологии, позволили совершенно по-иному рассмотреть всю проблему. Тщательное изучение старинных полей и древних поселений показало, что в последние столетия до Р.Х. и в первые столетия новой эры германцы упорно придерживались обычая селиться отдельными хуторами, что, собственно, засвидетельствовано и в «Германии» Тацита. Эти небольшие поселки оставались стабильными из поколения в поколение, и возделываемые их обитателями пахотные поля подвергались обработке на протяжении очень длительного времени. Археологами обнаружены следы вспашки и каменные и земляные валы, окружавшие эти поля<sup>18</sup>.

Ныне в науке уже не высказывается сомнений на тот счёт, что германцы представляли собой не кочевников, но народ оседлых земледельцев. Следы подобных «древних полей» обнаружены как в северной половине Германии, так и в Ютландии, на Британских островах и на Скандинавском полуострове. Существенно подчеркнуть другое наблюдение: население этих территорий жило обособленными хуторами, а не общинами. Аграрный индивидуализм — явление, убедительно доказанное новейшими данными археологии и истории древних поселений; с этой важнейшей констатацией отечественным историкам всё ещё предстоит освоиться и примириться.

Марковая теория лишилась своих оснований, и приходится предположить, что те обширные общины-марки, существование

коих зафиксировано для конца Средних веков и начала Нового времени, впервые сложились в процессе внутренней колонизации Западной Европы – процессе, охватившем её не ранее рубежа XI и XII столетий. С увеличением численности народонаселения возникла настоятельная потребность в расчистках лесных территорий под пашню. Раскорчёвка лесов и освоение новых пахотных земель были осуществимы преимущественно для крестьянских коллективов, а не для одиночек. Так были заложены основы марковых общин, ошибочно принятых историками XIX в. за пережиточные формы более древнего аграрного строя<sup>19</sup>.

Результаты археологических исследований древних полей и поселений давно уже приняты в мировой медиевистике, и советская и постсоветская отечественная историография остается, по сути дела, единственным бастионом марковой теории, бастионом обветшавшим и полуразрушенным<sup>20</sup>.

Но если приходится отказаться от изжившей себя точки зрения на «исконную», восходящую к родовому строю, общину и якобы соответствовавшие ей формы земельной собственности, то и многие аспекты проблемы генезиса феодализма неизбежно придётся рассматривать по-новому.

\* \* \*

Мы уже невольно вторглись в сферу рассмотрения вопроса о природе земельной собственности в раннесредневековой Европе. Здесь нет ни места, ни возможности в должной мере углубиться в его существо. Я позволю себе вкратце остановиться лишь на отдельных аспектах этого вопроса. Не представляли ли собой упорные и неустанные поиски сельской общины в источниках начального этапа Средневековья выполнение советскими медиевистами определённого «социального заказа»? При этом отечественных историков не останавливало то обстоятельство, что в сохранившихся памятниках I тысячелетия н.э. мы не встречаем ни упоминаний общинной организации, ни самого термина *communitas*. Что касается термина *villa*, то он, вопреки очевидности, необоснованно получал явно тенденциозное истолкование (ср. его интерпретацию в работах Н.П. Грацианского и А.И. Неусыхина). Не показательны ли то, что если в своей монографии «Общественный строй древних германцев» (1929) А.И. Неусыхин отрицал существование у них общины, то, начиная с 40-х гг., рядовые свободные франки, как и представители других германских племён, расселившихся на территории завоеванной ими империи, без каких-либо доказательств упорно именовались в его работах «общинниками»?

Земельный надел крестьянина или иного владельца в ряде источников характеризуется как аллод (*allodium*). В контексте теории, с коей я полемизирую, аллод рассматривался как индивидуальный надел, первоначально подконтрольный верховенству общины, а на более поздней стадии эволюции последней превращающийся в частную собственность, в «товар» (Энгельс). В любом случае аллод представляется историкам объектом имущественных прав, предметом отчуждения и более или менее свободно распоряжения. За неимением данных, историки лишены возможности более глубоко проникнуть в его природу.

Мне кажется, однако, что положение не безнадежно. Есть возможность прибегнуть к своего рода «обходному манёвру». Правда, для этого нам придётся покинуть территорию франкского государства и вновь обратить свои взоры на Север.

Как мне уже неоднократно приходилось подчёркивать, древняя Скандинавия могла бы послужить для медиевиста своего рода исследовательской лабораторией. Дело в том, что если на континенте Европы латынь на протяжении ряда столетий оставалась официальным языком, на котором записывали как повествовательные тексты, так и юридические документы, то на Севере, как отчасти и в донорманской Англии, преобладали записи на народном языке. Культурно-историческое значение этого факта поистине огромно. Я позволю себе напомнить мысль Марка Блока: когда лица, заключавшие между собой поземельную или иную сделку, обращались к учёному клирику, писцу, который должен был записать условия соглашения, то эти люди выражали свои намерения на родном языке; однако учёный писец фиксировал это соглашение на латыни. Тем самым происходил переход из одной системы понятий в другую. Задача, стоящая перед современным медиевистом, говорит Марк Блок, заключается в том, чтобы мысленно перевести условия сделки с латыни на язык, на котором говорили и думали контрагенты, – задача трудноисполнимая. Трудность, прежде всего, в том, что мы лишены возможности подслушать речи этих людей<sup>21</sup>.

Что касается скандинавов, то записи права и повествовательные и поэтические тексты, сохранившиеся в огромном количестве, за немногими исключениями записаны на древнесеверном (древнеисландском, древнорвежском) языке. Это обстоятельство, само по себе облегчая труд медиевиста, открывает перед ним возможность несколько ближе подойти к сознанию носителей народного языка. Ещё более существенно другое преимущество: исследователь имеет дело не с немногими германскими правовыми понятиями, кое-где рассеянными в латинских текстах и подчас остающимися загадочными в силу своей изолированности, но с огромным правовым вокабулярием, термины которого изменялись



ромным правовым вокабулярием, термины которого изменялись в зависимости от контекста. Мы можем узнать, как эти люди представляли себе самые разные аспекты социальной и правовой действительности и, более того, как эти последние соотносились с общей картиной мира, присущей носителям языка.

Земельная собственность, обозначавшаяся у франков термином «аллод», у скандинавов именовалась «одалем». И вот какое наблюдение можно сделать при знакомстве с древнескандинавской лексикой: нет сомнений в том, что термин *óðal* родственен термину *eðel*. Последний характеризует, однако, не земельную собственность, а личность собственника. Этим термином обозначали родовитость, благородство, доброе происхождение. Не означает ли это, что земельный собственник обладал свободой, полноправием и сознанием достоинства человека, происходившего из свободного рода? Качества полноправного свободного индивида распространялись и на его земельное владение, а обладание наследственной земельной собственностью придавало благородство и высокое достоинство одальману. Анализ древнескандинавских памятников приводит к заключению, что права, характеризовавшие индивида, «облагораживали» его владение. То, что индивид владел наследственной землёй, означало не только его статус собственника, но вместе с тем придавало определённые позитивные черты его личности. Короче говоря, личные права и право собственности сочетались здесь в некое органическое единство. Разве не показательны то, что, сообщая о якобы предпринятом первым объединителем Норвегии королем Харальдом Прекрасноволосым «отнятии одаля» у всего населения страны, автор «Круга Земного» имел в виду, собственно, не совершенно невозможную поголовную конфискацию земельных владений, но посягательство короля на вольности бондов – свободных земледельцев и скотоводов<sup>22</sup>?

Отношение владельца одаля к наследственному участку земли отнюдь не сводилось к отношению между субъектом и объектом. Одальман и одаль находились в теснейшем, постоянном и едва ли расторжимом единстве. Возникает вопрос: было ли подобное единение собственника-возделывателя земли с предметом его обладания исключительной особенностью древней Скандинавии<sup>23</sup>? Здесь нелишне вспомнить о том, что во многих древнеанглийских текстах, и правовых, и поэтических, наследственное земельное владение именуется *eðel*.

Древнескандинавские источники, несомненно, глубоко своеобразны, что исключает прямую экстраполяцию полученных при их анализе результатов на другие регионы. Но вместе с тем медиевист оказывается здесь лицом к лицу с новыми возможностями иссле-

дования, с новыми подходами к исторической действительности, в одном случае перед ним открывающимися, а в других случаях – скрывающимися от его взора. Подобно тому, как основоположники исторической антропологии в своё время позаимствовали у этнологов новые для медиевистики понятия, способствовавшие обновлению их профессии, историк-скандинавист, по-видимому, в состоянии сделать ещё один шаг в том же направлении.

\* \* \*

Мне кажется, что мысль о неисчерпаемости исторического источника заслуживает внимания. Но эта неисчерпаемость есть не более чем функция исследовательской активности историка. Задавая источнику новые вопросы, он тем самым рассматривает его под иным углом зрения и ставит его в новые смысловые связи с другими источниками. Для современной стадии развития исторического знания и, в частности, медиевистики, императивным является поиск человеческого содержания объективного исторического процесса. Хорошо известно, что среди сюжетов, обладающих большой привлекательностью для изучения, современные медиевисты вычленяют такие богатые содержанием и многозначные феномены, как миф и его связи с социальной практикой и память, организующая индивидуальное и коллективное сознание. Если читать средневековые тексты под указанным углом зрения, то, мне кажется, в них, в этих текстах, можно было бы выявить такие пласты, которые ещё сравнительно недавно не высвечивались или даже игнорировались.

Для того, чтобы дать конкретное подтверждение этой мысли, я хотел бы вкратце остановиться на анализе одной из песней цикла «Старшей Эдды». Включённые в этот знаменитый комплекс песни воспевают языческих богов и древних героев; и мир людей, поглощенных повседневными земными заботами, обычно кажется читателю и даже исследователю бесконечно далеким от мира фантастических и легендарных персонажей этого поэтического эпоса.

Но всегда ли так резко противопоставлены оба мира? В своё время я задался этим вопросом, и мои выводы оказались далеко не столь однозначными. Достаточно вчитаться в «Речи Высокого», одну из самых известных песней цикла, для того чтобы убедиться: центральное место в ней отведено афоризмам житейской мудрости, поучениям, которым надлежит следовать человеку, пробиравшему свой нелёгкий путь в жизни. Как вести себя в чужом доме, в гостях, на пиру, надлежит ли гостю быть общительным и разговорчивым или же оставаться скупым на речи и остерегаться опьянения? Какую роль выполняет обмен дарами? Каково содержание

дружбы в обществе домохозяев-хуторян, живущих в отдалении один от другого? И т.д., и т.п. Изучение этих житейских максимумов позволяет исследователю несколько приблизиться к пониманию мироощущения древних исландцев, о быте и деяниях которых под совершенно иным углом зрения рассказывают «семейные саги». В «Речах Высокого» нет ни богов, ни героев.

Но вот перед нами другая песнь этого же цикла – «Песнь о Хюндле». Она предельно заполнена именами легендарных персонажей, древних героев, фигурирующих и в других поэтических текстах, равно как и именами языческих богов. В определённом смысле эта песнь есть не что иное как каталог славных имен. Но вчитаемся в неё более пристально, и на поверхность выступит совсем иное её содержание. Вкратце оно сводится к следующему. Некий Оттар готовится к тяжбе с неким Ангантюром, и объектом судебного разбирательства на тинге будет «отцовское наследие», земельное владение – одалъ. Для того, чтобы выиграть своё дело в суде, Оттару необходимо назвать имена сородичей, которые до него владели этим достоянием. Но он не готов к тому, чтобы успешно пройти судебную процедуру, ибо не помнит нужных имён.

Оттар обращается за помощью к богине Фрейе, очевидно, благорасположенной к нему. Фрейя, в свою очередь, вызывает некое сказочное существо Хюндлю – колдунью, обладательницу богатейшей памяти. Преодолевая её сопротивление (ибо Хюндля отнюдь не расположена к Оттару), Фрейя принуждает Хюндлю отправиться вместе с ней в Валхаллу – чертог верховного бога Одина – и там просветить Оттара, открыть ему нужные имена. «Пиво памяти» делает Хюндлю разговорчивой, и против собственной воли она обрушивает на сознание «неразумного» Оттара целый каскад имён. Однако в этом обилии имён собственных прослеживаются определённая структура и логика.

Первыми в этом перечне идут имена представителей пяти поколений родичей – предшественников Оттара с отцовской стороны. Но на этом Хюндля не останавливается и продолжает называть имена знатных предков и славных людей, которые жили в давние времена и которые все оказываются связанными родством с Оттаром. «Всё это – род твой, неразумный Оттар!», – приговаривает она. Следуя за Хюндлей, мы добираемся до легендарных королевских династий и даже до языческих богов. Теперь Оттар подготовлен к судебной тяжбе и может рассчитывать на успех. Но почему столь важны эти генеалогические сведения?

Если мы отвлечёмся от «Песни о Хюндле» и вчитаемся в древненорвежский судебник «Законы Гулатинга», то найдём в нём предписание: человек обладает нерушимым правом владения ода-

лем, если способен перечислить представителей пяти поколений своих предшественников-сородичей, кои в непрерывной наследственной линии были собственниками этой земли. Но как раз именами представителей пяти поколений предков Оттара и открывается обширный перечень его фактической и легендарной родни, которая по сути дела охватывает всех свободных и благородных людей, с древнейших времен населявших Норвегию.

Деловой, фактический реестр юридических предшественников Оттара находит в речах Хюндли своё непосредственное продолжение в длиннейшем перечислении имен героев и богов. Повторяю, отныне Оттар готов к успешному судебному состязанию за обладание отцовским одалем. Но вместе с тем – и это хотелось бы особо подчеркнуть – в его сознании, в его «культурной памяти» возрождены воспоминания о бесчисленных «людях Мидгарда»<sup>24</sup>. Современному читателю бесконечного перечня имён, извергаемого опьянённой Хюндлей в царстве мертвых, они, эти имена, ничего не говорят. Совсем не так обстояло дело в то время, когда сложилась эта песнь и когда она в конце концов была записана. Каждое имя было компонентом эпоса и мифа, и о многих носителях этих имён существовали саги и предания, так что упоминание имени неизбежно мобилизовало память о его носителе и его подвигах. Иными словами, нагнетаемые Хюндлей перечни имён суть своего рода аббревиатуры, за которыми для скандинавов XII или XIII в. скрывался целый мир. Для нас он, за редкими исключениями, безвозвратно утрачен, но современному исследователю необходимо вообразить себе то богатство воспоминаний и ассоциаций, которое каждое из имён, названных в «Песни о Хюндле», должно было порождать в сознании средневековых норвежцев и исландцев.

«Песнь о Хюндле» – одна из мифологических песней эддического цикла, это самоочевидно. Но вместе с тем ее изучение помогает нам понять тот мифопоэтический механизм, который, по видимому, включался на тингах в ходе расследования имущественных притязаний и наследственных собственнических прав. Когда историк, изучающий поземельные отношения во франкском государстве, встречается в источниках с терминами *allodium*, *haereditas*, *praesacrum*, *dominium* или *proprietas*, он естественно и привычно оперирует правовыми категориями, и не более того. Боюсь, что сфера эмоций и мифопоэтических преданий остаётся бесконечно далекой от него, ибо латинская терминология и фразеология записей права едва ли способны стимулировать его исследовательскую фантазию. Но, может быть, было бы нелишне допустить, что в духовном универсуме средневековых людей, которые тягались из-за земельных участков и иного наследства, эти в высшей

степени прозаичные судебные тяжбы активизировали и тот мифопоэтический пласт сознания, который, как мне кажется, приоткрывается перед нашим взором при чтении «Песни о Хюндле»<sup>25</sup>.

Мне трудно представить себе, что подобное возбуждение сферы эмоций, мифов и верований, которые медиевисты ныне объединяют понятием *metoia*, имевшее место на скандинавском Севере, начисто отсутствовало в других широтах. Скорее всего, перед нами пробел, обусловленный своеобразием источников. Это «своеобразие», а точнее молчание, поистине вопиющее, нуждается в объяснении и осмыслении.

Христианизация германских племён на континенте Европы, как известно, произошла на полтысячелетия ранее, нежели на скандинавском Севере. Да и по существу эта христианизация была намного более интенсивной. В результате, здесь не было условий для сохранения мифов, песней и народных преданий и обычаев в их «первозданном» виде. Тот фонд правовых обычаев и верований, который католическая церковь считала необходимым зафиксировать в письменности, нашёл выражение в текстах на латинском языке. «Акультурация варваров», их приобщение к позднеримской цивилизации привели к тому, что многие тексты, порождённые их оригинальной устной культурой, не были записаны. Совсем иначе дело обстояло на Севере.

\* \* \*

Новый подход к интерпретации средневековых источников, который я пытался здесь обосновать на нескольких, казалось бы, разрозненных примерах (их число, разумеется, можно было бы умножить), связан со стремлением преодолеть барьеры между мифологией и правом, поэзией и социальными отношениями, бытом и религиозными верованиями. Направление исследований, постепенно утверждающееся начиная примерно с 70-х – 80-х гг. минувшего века, может быть охарактеризовано как «экономическая антропология», «культурная история социального», но я предпочёл бы уже устоявшееся определение – «историческая антропология». Её существо заключается в стратегии, направленной на раскрытие человеческого измерения в истории. Но дело, собственно, не в словах и наименованиях: трудность состоит в том, что источники, коими располагают медиевисты, далеко не всегда поддаются анализу настолько глубокому, чтобы добраться до человека и его мира.

Как видится в свете вышеприведённых наблюдений процесс феодализации, рисующийся в наших учебниках и исследованиях? Здесь трудно не обратить внимание на определённое противоречие. В советской медиевистике явный упор делался на процессах,

приводивших к формированию аллода, частной земельной собственности, своего рода «товара». Разорявшиеся массы общинников утрачивали право собственности на свои наделы и оказывались перед суровой необходимостью превратиться в держателей крупных землевладельцев. Крестьянин утрачивал свой земельный участок или, во всяком случае, право распоряжения им, делался прекаристом, зависимым человеком. Индивиду приходилось расставаться со своей собственностью, а вместе с нею и с личной свободой и независимостью. Такова общепринятая теория.

Между тем, как я старался показать, источники дают основание и для противоположных утверждений. Наличие большого числа «подписей» свидетелей поземельных сделок – лиц, явно обладавших правоспособностью, – скорее, склоняет нас к выводу о сохранении мелкой земельной собственности и, по-видимому, относительно широкого слоя рядовых свободных. Вдумываясь в существо института одаля, невольно приходишь к мысли о теснейшей связи между домохозяевами и землёй, остававшейся предметом их трудовых усилий на протяжении многих поколений. Земельный участок – не только источник материальных благ, но и нечто большее. Земля была непосредственным продолжением субъективности обладателя, воплощением физических и эмоциональных затрат предков.

Таким образом, приходится констатировать наличие прямо противоположных тенденций, проявившихся в отношении домохозяина к возделываемой им земле. Налицо одновременно интимная связь крестьянина с его патримонием и угроза утраты им своих собственнических прав. Источники едва ли дают нам возможность уяснить, какая из указанных тенденций превалировала. По-видимому, в разных областях могла возобладать та или иная тенденция, но, во всяком случае, ясно, что утверждения о широкой экспроприации мелких землевладельцев односторонни.

Однако другое наблюдение, как мне представляется, не может внушать больших сомнений. Обладание земельным участком и возделывание его ни в коей мере не сводилось к одному лишь утилитарному его использованию. Земельный надел – отнюдь не бездушный объект. Земельная собственность крестьянина была как бы пропитана его эмоциями и верованиями, и мы видели выше, как право собственности на землю осознавалось в формах мифа, саги и легенды.

\* \* \*

До сих пор речь шла преимущественно о феноменах, характерных для начала средневековой эпохи. Теперь я позволю себе обра-

титься к более поздним временам и в этой связи вновь вернуться к проблеме сельской общины. Ибо крестьянская община классического и позднего Средневековья, в свою очередь, предстает ныне перед медиевистами в несколько ином виде. Отношения между крестьянами-держателями земли и землевладельцами-господами оказываются более сложными и многогранными. Новое прочтение уже известных науке *Weistümer* – сельских «уставов», записей обычного права – дает возможность углубить наши представления об отношениях между господами и крестьянами и поставить перед этими источниками новые вопросы. *Weistümer*, рассматривавшиеся немецкими учеными XIX в. и прежде всего их наиболее видным публикатором Якобом Гриммом в качестве «правовых древностей» (*Deutsche Rechtsalterthümer*), ныне поворачиваются к исследователю другой своей стороной. В их основу положены записи местных «законов», излагавшихся на регулярных собраниях крестьян под председательством сеньора. Последний стремился упрочить своё верховенство, между тем как крестьянский «мир», не оказывая, как правило, прямого противодействия господским домогательствам, тем не менее пытался отстоять традицию, в той или иной мере ограничивавшую помещичий произвол. На страницах «уставов» встречались и вступали во взаимодействие две традиции – та, которая выражала волю крупного землевладельца, и крестьянская традиция противодействия ей. До поры до времени (огрубляя – до кануна Крестьянской войны 1525 г.) это противостояние, по-видимому, приводило к достижению некоего баланса сил.

Ценность *Weistümer* для исследователя состоит прежде всего в том, что здесь мы можем слышать голоса крестьян, озабоченных защитой своих хозяйственных и правовых возможностей. В ответ на предъявленные им вопросы об их повинностях представители общины должны были описать актуальное положение дел как унаследованное от предков. Поэтому *Weistum* – это текст, в котором реализовался своего рода «диалог» между обеими сторонами. Господин строил свои вопросы таким образом, чтобы навязать общинникам собственное представление о тех порядках, коим они обязаны были повиноваться. Крестьяне же стремились внести в свои ответы собственное толкование традиции. Приходится предположить, что это собеседование подчас не было лишено немалой напряженности, поскольку господин стремился навязать им свою волю и присутствие его вооруженной свиты служило своего рода молчаливым аргументом, тогда как крестьяне, естественно, пытались противопоставить ему такое понимание «старины», какое представлялось им более благоприятным.

Устанавливавшийся в результате подобного диалога баланс правовых норм и обычаев, коих надлежало придерживаться, одновременно и выражал социальную память общинников, и в значительной мере формировал её. Несмотря на то, что в этих собраниях в целом доминировала воля господина, крестьяне самым фактом соучастия в «диалоге» налагали свой отпечаток на истолкование их отношений с землевладельцем. Записи *Weistümer* – продукт непосредственного взаимодействия устной традиции с традицией письменной, и в этом – несомненная познавательная значимость такого рода памятников.

В свое время в советской медиевистике была предпринята попытка проанализировать *Weistümer*, но её недостатком было то, что эти записи рассматривались исключительно с точки зрения выяснения классовых антагонизмов, тогда как почти всё богатство содержания *Weistümer* оставалось вне поля зрения исследователя<sup>26</sup>. Поэтому ныне изучение жизни средневековой сельской общины, взглядов и поведения крестьян – участников сельских сходок, опять таки сопровождавшихся попойками – приходится начинать по сути дела сызнова. Тонкое многогранное исследование Гади Альгази демонстрирует нам, какие богатые перспективы сулит привлечение правовых записей, произведённых «близко к земле»<sup>27</sup>.

Антагонизм между земельным собственником и подданными, природа «внеэкономического принуждения» в свете изучения *Weistümer* получают новое конкретное наполнение. Отношения между господином и крестьянином не сводились к одной лишь угрозе насилия или реализации этой угрозы. Желательно не упускать из виду, что эти антагонисты постоянно жили бок о бок и уже поэтому должны были искать какой-то приемлемый *modus vivendi*. «Внеэкономическое принуждение», как оно рисуется в *Weistümer*, было принуждением, использовавшим элементы правосознания, социальную память и традиции. Если содержание записи обычаев определялось в первую очередь волей господина, который ставил перед крестьянами важные для него вопросы – о повинностях, податях и соблюдении господских привилегий, – то крестьяне при всём сохранении приниженного положения всё же выступали в какой-то мере в роли толкователей «закона» деревни. Не без основания о средневековом плебсе говорят как о «немотствующем большинстве». Но в данном случае оно не вовсе лишено голоса, и разве само молчание крестьян, возникавшее в ходе беседы с господином, не было красноречивым?

*Weistümer* – памятники, относящиеся к периоду между XII и XVII столетиями. Они позволяют нам несколько приблизиться к постижению духовной культуры простолюдинов Германии той



эпохи. Сколь ни бесправны (всё же вернее говорить не о «бесправии», а о «неполноправии») они были, господам приходилось считаться с ними не только как с угрожающей уже самими своими размерами массой, но как с субъектами правоотношений<sup>28</sup>.

\* \* \*

В заключение я, рискуя вызвать раздражение читателя, хотел бы ещё раз обратиться к древнеисландским памятникам. Причина состоит в том, что корпус древнескандинавских текстов отличается необычайным многообразием. Оно особенно поражает, если учесть крайнюю немногочисленность народа, в недрах которого эти сочинения возникли и бытовали. Количество авторов, приходящихся на душу населения, не может не поразить.

От конца XIII или начала XIV столетия дошла эддическая «Песнь о Риге», содержащая своего рода «мифологическую социологию» или, точнее, «социогенез».

Анализ социальной структуры средневекового общества давно уже занимает европейских медиевистов. Достаточно вспомнить учение о тройственном членении общества, выдвинутое в начале XI в. французскими церковными иерархами Адальбероном Ланским и Герардом из Камбре. В своих поучениях оба епископа пишут о тройственно разделённом обществе, состоящем из *oratores*, *bellatores* и *laboratores* (или *aratores*). Этот сословный порядок, как утверждают оба автора, установлен Господом, и взаимодействие *ordines* служит основой благополучия королевства. Построения Адальберона и Герарда многократно всесторонне исследованы, а потому я ограничиваюсь лишь напоминанием о них.

В отличие от поэмы Адальберона, описывающей от века существующий сословный порядок, «Песнь о Риге» излагает предание о возникновении социального устройства, и хотя эта песнь была записана несколько веков спустя после принятия скандинавами христианства, в этом сочинении едва ли можно обнаружить какие бы то ни было его следы. Разумеется, эта песнь – продукт учёной культуры, но вместе с тем приходится допустить, что содержание «Песни о Риге» возвращает читателя к состоянию общества, ещё не затронутого европейским церковным влиянием. Именно в этом плане нас и интересует упомянутая эддическая песнь.

Вкратце её сюжет сводится к следующему. Некое языческое божество по имени Хеймдаль, скрываясь под «псевдонимом» Рига (это имя больше нигде в источниках не упоминается), последовательно посещает три дома. Сперва Риг приходит в жалкую хижину, в которой живут Прадед (Ái) и Прабабака (Edda), проводит у них три ночи и, наделив их поучениями, отправляется восвояси.

Прабабка же рождает сына по имени Раб (Prael). Он отличается уродством, кожа у него тёмная и задубевшая. Когда он взял себе жену (ее звали Rīg, т.е. рабыня), у них пошли сыновья с характерными именами-прозвищами: Скотник, Грубиян, Хлевник, Лентяй, Бездельник, Воночий и др., и дочери: Обрубок, Грязноносая, Крикунья, Служанка, Оборванка и другие в том же роде. Трэль и его дети постоянно были заняты домашним и грязным трудом. «Отсюда весь род рабов начался».

Далее Риг посетил дом, в котором живут Дед (Afī) и Бабка (Amma). Эти благополучные хозяева хорошо угостили Рига и оставили ночевать вместе с собой. Гость провел у них три ночи, и в положенный срок Бабка родила сына Карла (Karl). Он был несравненно более пригож, чем Трэль. Карл был землепашцем, а имя его можно понимать как «мужчина», «крестьянин», «мужик». (Здесь уместно вспомнить, что в Англии раннего Средневековья рядовых свободных именовали «кэрлами».) Соответственно, детей Карла звали Свободный крестьянин, Молодец, Свободнорожденный, Человек, Ремесленник, Земледелец и т.д., а дочерей – Говорливая, Гордая, Надменная, Жена, Женщина, Хозяйка и т.д. «Отсюда все крестьяне род свой ведут».

Наконец Риг пришел к хоромам, в которых жили Отец (Faðir) и Мать (Móðir). Они вели праздный и праздничный образ жизни. Рига роскошно угостили и опять-таки оставили у себя на три ночи, и в положенное время Мать родила сына, которого называли Ярлом (Jarl). Когда он подрос, то сделался красавцем, предававшимся охоте и воинским подвигам. Риг обучил его магическим рунам и наградил обширными владениями. Среди детей Ярла выделился младший сын, наделённый именем Конунг (Konungr), в свою очередь, обладавший магическими способностями и превзошедший в этом своего отца.

Перед нами опять-таки tripartitio, но, в отличие от tripartitio Christiana, рисующая генезис социального целого. Некое божество сотворяет сперва рабов, затем свободных земледельцев и наконец знатных предводителей, включая конунга. Бросается в глаза другое существенное различие между обеими тройственными схемами. Епископ Адальберон проливает слезы сочувствия тяжелой доле серва, т.е. представителя ordo agricultorum. Между тем участие «карлов» – крестьян – в «Песни о Риге» отнюдь не выглядит столь же безотрадной. В противоположность «трэлям» – рабам – крестьяне выглядят вполне благополучно; их образ жизни прост – особенно в сопоставлении с роскошным досугом Ярла и Конунга, – но сам по себе не имеет оттенка социальной неполноценности. Хотя их жилища, одежда и питание несравнимы с роскошью Ярла, Карл

явно обладает сознанием человеческого достоинства, он — свободный человек<sup>29</sup>.

Если в «социологической схеме» французских епископов начала XI в. крестьяне образуют третье, низшее сословие, то в «Песни о Риге» они выступают в качестве промежуточного, второго сословия. Тем, кто знаком с содержанием исландских саг, эта констатация не покажется странной, ведь и в них свободные хуторяне, уступая первенствующее положение влиятельным предводителям, вместе с тем во всех отношениях возвышаются над рабами, слугами и приживалами, каких было немало в усадьбе каждого самостоятельного хозяина.

В кругозор медиевистов, изучающих аграрный строй, попадают, как правило, зависимые и забытые сервы и вилланы. Исландские источники побуждают нас расширить поле обозрения и включить в него рядового свободного, относительно самостоятельного домохозяина. Во всяком случае, отечественным медиевистам давно стоило бы подумать, не совершают ли они отнюдь не безобидную ошибку, когда, говоря о зависимых крестьянах Запада, применяют к ним понятие «крепостные». Вольно или невольно они вчитывают в социально-правовую действительность Англии или Франции представления, порожденные знанием русской жизни эпохи «Мертвых душ».

Само собою разумеется, что такой памятник поэзии, как «Песнь о Риге», рисует картину общества в своеобразном преломлении. Помимо всего прочего, он её в немалой степени архаизирует. Перед нами — не то, что было «на самом деле», а то, что создавалось в сознании средневековых скандинавов. Иными словами, налицо не «реальное отражение» общественного бытия, но его образ, формировавшийся фантазией людей, принадлежавших к этому обществу, т.е. неотъемлемая часть тогдашней действительности.

### III

После всех этих экскурсов, которые, боюсь, могли несколько утомить иных читателей, поставим вопрос: что объединяет между собой вышеприведённые примеры? Совершенно очевидна их гетерогенность. Примеры эти разбросаны и во времени, и в пространстве; более того, они принадлежат разным пластам исторической реальности — от мифа и легенды до юридических записей. И тем не менее, внимательный читатель, как я надеюсь, не мог не ощутить при ознакомлении с нашими свидетельствами всё вновь обнаруживающегося присутствия в этом материале слоя свободных людей — земледельцев и скотоводов, людей, которые, однако, отнюдь не были только лишь непосредственными производителями и объ-

ектами эксплуатации. Они принимали деятельное участие в судебных сходках и пирах, слушали и, возможно, даже сочиняли песни и саги, выстраивая в своей фантазии образ общества, в котором постоянно происходит движение даров. Содержание их сознания, сфера их деятельности и самый их удельный вес, несомненно, были всякий раз разными, но их наличие и прямое или косвенное давление на социальную жизнь невозможно отрицать. Естественно, степень свободы представителей этой социальной страты варьировалась в широких пределах, и подчас нам её трудно измерить. Я хотел бы, однако, настаивать на том, что призыв к прочистке общих понятий, употребляемых медиевистами, предполагает, в частности, и приглашение заново продумать и уточнить и такой, казалось бы, очевидный термин как «крестьянин». Я убеждён в том, что подобное переосмысление влечёт за собой как самый тщательный и всесторонний анализ собственнических прав крестьянина и его социально-правового статуса, так и попытки проникнуть в содержание его мыслей и верований.

В научной литературе уже было отмечено, что медиевисты-аграрники, употребляя понятия «крестьянин» и «крепостной», вольно или невольно вкладывают в них то содержание, которое имели эти понятия в Восточной Европе в конце Средневековья и в Новое время. Этот упрёк адресован в первую очередь русским медиевистам. Наше сознание воспитано на материале истории России XVI-XIX вв., и чрезвычайно трудно избавиться от того, чтобы переносить смысл этих терминов на французских или английских вилланов и сервов XII-XIV столетий. Картина социальной жизни почти без остатка заполняется представлением о крайней забитости и бесправии трудового народа, с коего сдирают семь шкур, о неизбывном антагонизме между крестьянами и крупными землевладельцами, о постоянной и всё нарастающей враждебности, насыщавшей отношения между ними. Что касается духовного мира сельского населения, то важность его изучения была поставлена под вопрос известным тезисом об «идиотизме деревенской жизни».

Все эти явления, несомненно, имели место, и было бы нелепо отрицать их важность. Но, может быть, настала пора остеречься необоснованно односторонних взглядов историкам, вскормлённым на идеях классовой борьбы как главной движущей силы всей средневековой истории? Отношения между земельными собственниками и зависимыми держателями длились на протяжении нескольких столетий, и возникает резонный вопрос: возможна ли столь продолжительная жизнь на вулкане? Я позволю себе напомнить о том, что в подробных и длительных беседах между представителями инквизиции и жителями пиренейской деревни Монтайю об-

суждались самые разные аспекты жизни этих крестьян и крестьянок, от их повседневного быта и сексуальных отношений до их еретических верований и внутридеревенских интриг. Менее всего мысль крестьян обращалась на этих допросах к их господам: герцог, король, епископ как бы отсутствуют в их сознании, и действительная жизнь сельского населения протекает на каком-то другом уровне. Таково свидетельство судебных протоколов начала XIV в.

В предшествующем столетии в Германии была сочинена поэма под названием «Майер Хельмбрехт». Отец и сын Хельмбрехты спорят между собой о том, какой образ жизни предпочтителен – рыцарский, коему желает подражать Хельмбрехт-сын, или же честный крестьянский труд, прославляемый его отцом. Драма завершается жалкой гибелью младшего Хельмбрехта, силившегося выскочить «из грязи в князи». Любопытно, что его отец, преуспевающий хозяин, гордится своей независимостью и преисполнен чувством собственного достоинства. Анонимный автор поэмы ни словом не упоминает господина, который, надо полагать, высылся над этим крестьянином.

Историки привыкли к тому, чтобы чётко противопоставлять крестьян их господам, и вполне справедливо. Обращаясь к текстам *leges barbarorum*, медиевисты склонны искать земельных собственников и эксплуататоров среди *nobiles*, тогда как в *liberi homines* они видят «простых свободных» (*Gemeinfreie*), людей, стоящих перед реальной угрозой утраты свободы и собственности. Между тем анализ скандинавских источников, как правовых, так и повествовательных, не оставляет никаких сомнений в том, что любой бонд – землевладелец, домохозяин, глава семьи – обладал наряду с участком пашни и выгоном не только крупным и мелким домашним скотом, но и рабами, и что в его доме жили и трудились вольноотпущенники, наёмные работники и всякие приживалы. В одиночку своё хозяйство вели лишь бедняки-бобыли. Упомянутая выше «Песнь о Риге» явно исходит из представления о том, что рабы, поглощённые тяжким и грязным трудом, находились в зависимости не только от знатных ярлов, но и от карлов – свободных и обеспеченных домохозяев.

Короче говоря, рабами (а рабство сохраняло в Европе своё значение на протяжении, собственно, всего Средневековья) обладали не одни только крупные землевладельцы, но и состоятельные, и средние крестьяне. Границу между свободными и несвободными приходится проводить не совсем там, где мы привыкли, ибо эксплуатация труда рабов и вольноотпущенников, равно как и наёмных работников, получила широкое распространение и в среде крестьян.

Всё это не могло не придавать облику средневекового крестьянина такие черты, которые в сумме самым существенным образом отличают эту фигуру от фигуры русского мужика XVI-XIX столетий. Комментируя содержание «Майера Хельмбрехта», кое-кто из советских литературоведов, вдохновлённых идеей классовой борьбы, в свое время умудрился узреть на страницах этой поэмы кровавые отблески Великой крестьянской войны в Германии. Предпосылка, лежащая в основе подобных рассуждений, заключается, видимо, в том, что движущим стимулом в феодальном обществе, как и в обществе капиталистическом, было максимальное выкачивание прибавочного продукта. Но не допустимо ли иное предположение, каковое я вовсе не склонен абсолютизировать, но вместе с тем не полагаю возможным сбросить со счетов?

Моя гипотеза заключается в том, что медиевисты имеют дело с обществом, экономика которого обладала существенными особенностями. Основой хозяйственной жизни служило простое воспроизводство, нацеленное на обеспечение элементарных потребностей населения. Но если вдуматься, что представляли собою эти потребности, то мы увидим: в состав продукции домохозяйства включался наряду с необходимыми для него жизненными средствами также некоторый «избыток», предназначенный для удовлетворения таких социальных потребностей как оказание гостеприимства<sup>30</sup>, регулярное участие в пиршествах и обмен дарами. Ибо это аграрное общество могло нормально функционировать лишь прибегая к указанным формам социального общения. Иными словами, те формы социального общения, которые с современной точки зрения могут расцениваться как факультативные, избыточные и необязательные для функционирования хозяйства, на интересующей нас ступени общественного и культурного развития представляли собой обязательные и жизненно важные его условия. Этим-то и объясняется, по-видимому, повышенное внимание имеющихся в нашем распоряжении текстов к дару и пиру. Эти институты суть важнейшие узлы межличностных связей. Обмен дарами, происходивший, как правило, на пирах, был одновременно и наиболее принятым способом перераспределения продуктов, и, главное, средством установления и упрочения мира, дружбы и взаимной поддержки.

Для того, чтобы несколько яснее представить себе природу этого общества и поведение его членов, следует хотя бы вкратце остановиться на ещё одном явлении. От эпохи викингов (VIII-XI вв.) сохранилось огромное количество кладов, разбросанных как в самой Скандинавии, так и в соседних странах. Ныне, как кажется,

историки уже не придерживаются точки зрения, согласно которой обладатели сокровищ прятали их в беспокойное время для того, чтобы впоследствии воспользоваться ими. Ведь многие из этих кладов были спрятаны таким способом, который заведомо исключал их «востребование». Если часть сокровищ закапывали в курганах или в потаённых местах, то другие топили в болотах или на дне рек и морей. «Сага об Эгиле Скаллагримссоне» повествует о том, как этот скальд, предчувствуя приближающуюся кончину, схоронил в потаённом месте сундуки с серебром, в своё время полученным от английского короля, и умертвил единственных свидетелей – рабов, которые помогли ему спрятать его сокровища. Отношение к драгоценным металлам и изделиям из них – кольцам, гривнам, застёжкам для плащей и т.п. – можно объяснить только при отказе игнорировать уверенность этих людей в том, что принадлежавшие им материальные ценности воплощали некоторые присущие им качества, что обладание сокровищами служило гарантией «успеха», «удачи», «везенья» того, кому они принадлежали. Между индивидом и богатством, которым он обладал, существовала, по их убеждению, теснейшая связь, и эта связь сохранялась и после смерти человека. В сагах и легендах упоминаются погребённые в курганах покойники, восседавшие на собственных сокровищах, оберегая их от возможных посягательств. Отношение к богатству, представления о судьбе, о смерти и потустороннем мире неразрывно переплетены в этом сознании. Все вещи, от оружия до сокровищ, выполняют определённые символические функции.

Обо всех этих явлениях мне неоднократно приходилось писать более подробно, и здесь я возвращаюсь к ним, собственно, для того, чтобы читатель по возможности отчётливо представил себе своеобразие цивилизации, которая, несомненно, отнюдь не ограничивалась пределами древнескандинавского культурного круга. Но в других регионах Европы она в силу ряда причин может выступать перед взором исследователя в лучшем случае отдельными бессвязными фрагментами, в то время как на Севере нам легче опознать её общие очертания<sup>31</sup>.

Средневековая европейская цивилизация отнюдь не исчерпывается своей феодальной ипостасью. Не подвергая ни малейшему сомнению существование отношений, которые выражались в ленном строе, вассалитете, равно как и в разных формах крестьянской зависимости от «благородных», вместе с тем едва ли правомерно игнорировать те формы человеческого общежития, которые выходили за рамки феодальных структур. Важно обратить внимание на социальную многоукладность средневекового мира. В этом последнем наряду с феодальными военно-политическими и право-

выми структурами были широко распространены рабство и вместе с тем – наёмный труд. Особую роль в функционировании и трансформации общества играл, разумеется, город, природа которого по своему существу весьма далека от феодализма. Но город средневековой эпохи – это особая важная тема, на которой следовало бы остановиться отдельно<sup>32</sup>.

\* \* \*

Я хотел бы завершить этот очерк личным впечатлением, вынесенным мною лет пятнадцать тому назад, когда мне впервые удалось побывать на скандинавском Севере. Мои норвежские коллеги из университета в Тронхейме любезно предоставили мне возможность не только побывать на поле Фростатинга – месте древнего народного собрания в северо-западной Норвегии, – но и познакомиться с природной средой, в которой жили хуторяне в этой части страны. Мы оказались на вершине холма, где тысячу лет назад находилась усадьба одного из тронхеймских предводителей, упомянутых в «Круге Земном» Снорри Стурлусоном. Этот хутор на много миль отстоял от хуторов других бондов. Здесь я впервые полностью осознал смысл слов Тацита о привычке германцев селиться поодаль один от другого. Это рассеянное по обширной территории немногочисленное население действительно «не терпело соседства». Если между отдельными домохозяевами и существовали определённые связи, то они выражались преимущественно в охране традиционного права<sup>33</sup>, но отнюдь не в каких-либо общинных распорядках.

Стоя на вершине холма, в недрах которого археологи обнаружили следы раннесредневекового поселения, я смог воочию представить себе, что такое «архаический индивидуализм» германцев и скандинавов.

В отличие от тех медиевистов, интересы которых концентрируются на вассально-ленных отношениях, на росте церковно-монастырского землевладения, на *incastellamento* («озамковании») и подобных бросающихся в глаза явлениях, я хотел бы подчеркнуть необходимость изучения того крестьянского мира, который, будучи материальной основой всех этих феодальных феноменов, отнюдь не поглощался ими. Пред нами иной, глубокий пласт социальной действительности, жизнь коего подчинялась специфическим традициям и правилам. От этой «Атлантиды», большая часть которой не получила и не могла получить адекватного отражения в дошедших до нас источниках, сохранились, собственно, лишь фрагментарные упоминания. *Audiatur et altera pars*. Я убеж-



дён в том, что давно уже настало время обратить серьёзное внимание на эту сторону средневековой жизни<sup>34</sup>.

<sup>1</sup> Reynolds S. *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*. Oxford, 1994. Рецензию И.В. Дубровского см. в: *Одиссей. Человек в истории*. 1997. М., 1998. С. 313-319.

<sup>2</sup> Гуревич А.Я. «Феодалное Средневековье»: что это такое? Размышления медиевиста на грани веков // *Одиссей. Человек в истории*. 2002. М., 2002. С. 261-294.

<sup>3</sup> Die Gegenwart des Feudalismus. Présence du féodalisme et présent de la féodalité. The Presence of Feudalism / Hg. von N. Fryde, P. Monnet, O.G. Oexle. Göttingen, 2002.

<sup>4</sup> Kuchenbuch L. "Feudalismus": Versuch über die Gebrauchsstrategien eines wissenschaftspolitischen Reizwortes // *Ibid.* S. 293-323. Кухенбух, в частности, подчёркивает тот несомненный факт, что понятие «феодализм» приобрело идеологическую и политическую негативную оценочную окраску уже со времён Великой Французской революции, официально отменившей «Старый порядок». Что касается новейшей историографии, то ряд её представителей предпочитает вообще избегать использования понятия «феодализм». Оценка современного состояния вопроса чрезвычайно затруднена непрерывно нарастающей численностью исследований. По словам Кухенбуха, пять тысяч ныне работающих медиевистов публикуют до тысячи монографий и десятки тысяч статей ежегодно... Тем не менее в этом всё разрастающемся потоке выделяются отдельные труды, порождающие «научный переполох». К такого рода научным событиям относится книга С. Рейнольдс «Фьефы и вассалы», которая – при известной ограниченности её критической аргументации – поставила под сомнение ряд казавшихся устойчивыми и общепринятыми подходов к проблеме феодализма (см.: *Ibid.* S. 304, 311).

Как бы ни оценивать вклад Рейнольдс в дискуссию о феодализме и сеньориально-вассальных связях, она, как мне кажется, открывает новый этап в этой дискуссии, и то, что И.С. Филиппов отделяется от труда Рейнольдс немногими пренебрежительными замечаниями, не представляется мне наиболее адекватной реакцией. См.: Филиппов И.С. *Средиземноморская Франция в раннее средневековье. Проблема становления феодализма*. М., 2000. С. 72.

<sup>5</sup> Feudalismus – Materialien zur Theorie und Geschichte / Hg. von L. Kuchenbuch in Zusammenarbeit mit B. Michael. Frankfurt a.M.; B.; Wien, 1978.

<sup>6</sup> Kuchenbuch L. *Op. cit.* S. 322.

<sup>7</sup> Дубровский И.В. Как я понимаю феодализм? // *Конструирование социального. Европа V-XVI вв.* М., 2001. С. 172. В несколько изменённом виде эти же соображения И.В. Дубровский воспроизводит и в своей статье: *Феод // Словарь средневековой культуры.* / Под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003. С. 561-567.

<sup>8</sup> «Qu'est-ce que la féodalité? Ce fut d'abord une disposition d'esprit»: *Duby G. La féodalité? Une mentalité médiévale // Hommes et structures du Moyen âge. P., 1973. P. 110.*

<sup>9</sup> Человеческое достоинство и социальная структура. Опыт прочтения двух исландских саг // *Одиссей. Человек в истории. 1997. С. 5-30.*

<sup>10</sup> См. об этом: *Мильская Л.Т.* Светская вотчина в Германии VIII-IX вв. и ее роль в закреплении крестьянства. М., 1957.

<sup>11</sup> См.: *Гуревич А.Я.* Роль королевских пожалований в процессе феодального подчинения английского крестьянства // *Средние века. М., 1953. Вып. 4. С. 49-73.*

<sup>12</sup> См.: *Дары. Обмен дарами // Словарь средневековой культуры. С. 129 слл.*

<sup>13</sup> *Дэвис Н.З.* Дары, рынок и исторические перемены: Франция, век XVI // *Одиссей. Человек в истории. 1992. М., 1994. С. 192-203; Davis N.Z. The Gift in Sixteenth-Century France. Oxford, 2000.* К сожалению, мне остался пока недоступным сборник: *Negotiating the gift: pre-modern figurations of exchange / Ed. by Gadi Algazi, Valentin Groebner, and Bernhard Jussen. Göttingen, 2003.*

<sup>14</sup> См.: *Гуревич А.Я.* Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967. С. 117-149.

<sup>15</sup> *Hyams P.* Homage and Feudalism: a Judicious Separation // *Die Gegenwart des Feudalismus. Présence du féodalisme et présent de la féodalité. The Presence of Feudalism. P. 13-49.*

<sup>16</sup> *Coss P.* From Feudalism to Bastard Feudalism // *Ibid. P. 79-107.*

<sup>17</sup> *Гранат И.Н.* К вопросу об обезземеливании крестьянства в Англии. М., 1908.

<sup>18</sup> *Hatt G.* The Ownership of cultivated Land // *Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser. København, 1939. B. XXVI. D. 6. S. 16-17.*

<sup>19</sup> Я уже не останавливаюсь на той роли, какую в новых расчистках земель под пашню играли церковно-монастырские учреждения, а отчасти и светские сеньоры.

<sup>20</sup> Подробнее см.: *Гуревич А.Я.* Норвежское общество в раннее средневековье. М., 1977. С. 125-149; *Он же.* Аграрный строй варваров // *История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1985. Т. 1. Формирование феодально-зависимого крестьянства. С. 90-136.* Противоположную точку зрения отражает глава: *Неусыхин А.И.* Эволюция общественного строя варваров от ранних форм общины к возникновению индивидуального хозяйства // *Там же. С. 137-176.*

Сравнительно недавнюю попытку Я.Д. Серовайского реабилитировать измышления Цезаря о кочевом быте германцев, а заодно и возродить «общинную теорию» едва ли можно считать успешной. См.: *Серовайский Я.Д.* Сообщения Цезаря об аграрном строе германцев в соотношении с данными новейших археологических исследований // *Средние века. М., 1997. Вып. 60. С. 5-36.*

<sup>21</sup> См.: *Bloch M.* La société féodale. P., 1968 (1 éd. 1939). P. 122-123. Ср.: *Гуревич А.Я.* Язык средневекового источника и социальная действитель-

ность: билингвизм в средневековой Европе // Сборник статей по вторичным моделирующим системам / Отв. ред. Ю.М. Лотман. Тарту, 1973. С. 73-75.

<sup>22</sup> См.: Гуревич А.Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. С. 93-117.

<sup>23</sup> Здесь нет возможности рассмотреть вопрос о тесном взаимодействии субъекта-обладателя собственности и объекта его прав. Из ряда памятников той эпохи явствует, что качества индивида распространялись на принадлежавшие ему вещи, будь то оружие, сокровища, боевые кони или жилище. Наследственное земельное владение, в свою очередь, включалось в окружавшее человека «силовое поле».

<sup>24</sup> *Mǫðgarðr* – «срединная усадьба», огороженное, обжитое и культивируемое пространство, противопоставленное Утгарду (*Útgarðr*), «пространству за оградой», миру враждебных человеку сил.

<sup>25</sup> См.: Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье. С. 252-274.

<sup>26</sup> Майер В.Е. Уставы как источник по изучению положения крестьян Германии в конце XV – в начале XVI вв. // Средние века. М., 1956. Вып. 8. М., 1956.

<sup>27</sup> *Algazi G. Lords Ask, Peasants Answer: Making traditions in Late Medieval village assemblies // Between History and Histories / Ed. by Gerald Sider, Gavin Smith. Toronto, 1997. P. 199-229.* Я благодарен К.А. Левинсону за предоставленную мне возможность ознакомиться с переводом этой статьи.

<sup>28</sup> О диалектике свободы и несвободы в средневековом обществе см. статью И.В. Дубровского: Свобода и несвобода // Словарь средневековой культуры. С. 450-461.

<sup>29</sup> См. подробнее раздел «*Tripartitio Christiana – tripartitio Scandinavica*. Опыт сравнения двух средневековых «социологических схем» в работе: Гуревич А.Я. Норвежское общество в раннее средневековье. С. 274-303.

<sup>30</sup> См.: Гостеприимство // Словарь средневековой культуры. С. 120сл.

<sup>31</sup> Почти единственная попытка рассмотреть такого рода «peasant-based» social system в средневековой Европе (во всяком случае, попытка, известная мне) предпринята английским историком Крисом Уикхемом в начале 90-х гг. Отчётливо сознавая немалые особенности Скандинавии, он, тем не менее, и, на мой взгляд, совершенно справедливо отмечает, что подобные самодовлеющие крестьянские общности так или иначе могут быть обнаружены в самых разных регионах. Главное заключается в том, чтобы выделить их в качестве важной формы аграрного общества, существовавшего не только в период, предшествовавший генезису феодализма, но и сосуществовавшего с ним. См.: *Wickham C.J. Problems of Comparing Rural Societies in Early Medieval Western Europe // Transactions of the Royal Historical Society. Ser. 6. L., 1992. Vol. II. P. 221-246.*

<sup>32</sup> Сосуществование и взаимодействие деревни с городом – универсальная черта самых различных цивилизаций добуржуазной эпохи. Тем не менее важно не упустить из виду следующую особенность средневекового Запада: на аграрное пространство была наложена довольно плотная сеть го-

родских и полугородских поселений (давно отмечено, что, например, немецкий крестьянин, как правило, имел возможность на протяжении одного дня посетить близлежащий город и возвратиться домой). Мы не наблюдаем подобного ни в Византийской империи, ни в халифате, несмотря на высокую степень их урбанизации. См.: *Rösener W. Die Bauern in der europäischen Geschichte. München, 1993. S. 45.*

<sup>33</sup> О гильдиях и *coniurationes*, создававшихся местным населением в интересах соблюдения мира, недавно писал О.Г. Эксле: *Oexle O.G. Soziale Gruppen in der Ständegesellschaft: Lebensformen des Mittelalters und ihre historischen Wirkungen // Die Repräsentation der Gruppen. Texte – Bilder – Objekte / Hg. von Otto Gerhard Oexle, Andrea von Hülsen-Esch (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 141). Göttingen, 1998. S. 25ff.*

<sup>34</sup> В данной статье не рассматриваются характерные черты народной культурной и религиозной традиции, часто определяемые в современной медиэвистике как «народная культура». О последней см.: *Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.*

## ИНСТИТУТ *LIBERATIO* В АНГЛО-НОРМАНДСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ: К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ВИЛЬГЕЛЬМА ЗАВОЕВАТЕЛЯ\*

Социально-политические изменения, которые были вызваны завоеванием Англии герцогом Нормандии Вильгельмом (1035-1087), нашли зримое и весьма полное отражение в уникальном памятнике – «Книге страшного суда» (далее DB)<sup>1</sup>, всеобщей переписи земель Англии, предпринятой по распоряжению Вильгельма Завоевателя в 1086 гг. Одним из важнейших инструментов нового распределения владельческих прав явился институт сейзины, восходивший к характерным для меровингской Франции формам наделения земельными владениями в рамках еще не изжитого дружинного строя. Одним словом, англо-нормандская сейзина, так или иначе, связана с ранними формами аллодиальной собственности. Правда, уже в нормандском герцогстве и еще более в новом Англо-нормандском королевстве применение сейзины в большинстве дошедших до нас документов связывается, так или иначе, с прерогативами публичной власти герцога или короля.

С институтом сейзины в документах теснейшим образом связан другой институт, который можно обозначить термином *liberatio*, где участие королевской власти и большая свобода распоряжения имуществом выступают, быть может, еще более отчетливо. В действительности, этот институт или правовой акт, оформлявший определенные отношения, обозначался и глагольной формой (*liberare, deliberare, liberatus est*) и простым указанием на лицо, которое его осуществляло и именовалось *liberator*, так, наконец, и абстрактным понятием *liberatio*. Последнее мы избрали как основное, имея в виду исключительно удобство применения этого термина в изложении нашего предмета<sup>2</sup>.

Как мы увидим ниже, и как это подтверждает даже беглый просмотр статьи *liberatio* в словаре средневековой латыни Нирмейера<sup>3</sup> этот институт является чисто англо-нормандским. В рамках пред-

---

\* Работа выполнена за счет гранта президента Российской Федерации о государственной поддержке ведущих научных школ НШ-8269.2006.6.

принятого нами общего анализа английской сейзины понадобилось специальное исследование об указанном институте, так как акт *liberatio* в наших документах выступает как разновидность сейзины – сейзины королевской. Необходимость такой работы, кроме того, диктуется тем обстоятельством, что, по нашим сведениям, вообще нет работ, посвященных институту *liberatio*.

Случай тождества акта *liberatio* и сейзины представляет пример спора между неким Видо (*Wido*) и графом Вильгельмом де Варена (*Willelmus de Warene*). Видо требует себе землю (*revocat*), так как она была *передана* (*fuit liberata*) его дяде Осмунду и графу Евстахию. Люди Вильгельма де Варена, который в данный момент владеет этим имуществом, лишили прежних владельцев прав, полученных ими путем сейзины (DB II 161b (8-31): *dissaiserunt*)<sup>4</sup>. Было бы трудно объяснить употребление понятия «лишать владения на правах сейзины», если предшествующий акт, описанный понятием *liberare*, не был тождественен акту сейзины.

Подчеркнем, однако, что акт *liberatio* для современников ассоциировался с особой королевской сейзиной, в то время как последняя носила более универсальный характер.

Так, в споре графа Вильгельма де Варена с другим держателем короля (*in capite*) Вильгельмом Спеке (*Willelmus spece*), последний жалуется на то, что его лишили владения в размере полгайды и полвиргаты в местечке Дин (*Stodene*), в пределах которого сидели сокмены, имевшие право дарить и продавать свою землю. В источнике не выражено прямо участие сотни, но можно полагать, что именно сотенное жюри свидетельствует в пользу Вильгельма Спеке, который получил от короля спорное имущество посредством акта сейзины, совершенного по воле короля назначенным им «либератором» (DB I 211v (17-1): *fuit Willelmus spece saisitus per regem et ejus liberatorem*).

Правда, отметим, что в отличие от практики местных судебных канцелярий, нашедшей отражение в DB, где широко применялись понятия *liberator* и *liberatio*, в известных нам королевских документах этот акт как таковой не упоминается, а выступает там как традиционная сейзина. В королевских документах тот же глагол *liberare* применяется в обычном широком значении освобождения от чего-либо или кого-либо, что соответствовало нормам литературной латыни того времени<sup>5</sup>. Тем не менее, укажем на один любопытный пример, содержащийся в DB.

В ответ на заявление истца, который ссылается на акт *liberatio* и дар короля, сотня свидетельствует, что она не видела <указание на таковой> ни в приказе (*non vidit in brevem*), ни <самого> «либератора» (*nec liberatorem*). Не исключено, что в приказе содержа-

лось предписание некоторому лицу совершить именно акт *liberatio* (DB II 172a-b (8-37)).

Напротив, в DB нередко можно встретить глагол *liberare* и производные от него формы преимущественно в значении признания известной полноты социальных и имущественных прав. Иными словами корень *liber* – к которому восходят все рассматриваемые здесь выражения – обретал одно из своих древнейших значений и сближался с германским словом *frei*.

Важность выдвинутого положения заставляет хотя бы вкратце остановиться на этимологии слов *liber* и *frei*, которые были специально рассмотрены в работе Э. Бенвениста<sup>6</sup>. Слова *liber* и *frei* имеют разное происхождение, но оба являются «социализованными понятиями». Так, *liber* восходит к индоевропейскому *\*leudth*<sup>7</sup> в значении «расти, развиваться», что позже переосмысливается как «...рост определенного слоя людей... Принадлежать к этому корню, означает быть наделенными качеством *\*(e)leudheros*... пользоваться привилегиями, которые отличают эту группу от чужестранцев, рабов»<sup>8</sup>.

Тем самым Э. Бенвенист делает вывод, имеющий для нас принципиальное значение, что «первоначальным оказывается не значение «освобождения от чего-либо», а значение принадлежности к этой группе»<sup>9</sup>. Слово *frei*, восходит к *\*priyos* (или *\*prai*) (EWD 1989: *art frei*) (ср. ст. слав *prijajo*, русский «приятель») в значении «милый, дорогой». Э. Бенвенист отмечает: «Термин, обозначавший первоначально отношения приязни между людьми *\*Prijos*, приобретает значение социального института, наименования общности по принадлежности к одной группе в обществе ... Этот термин отделяет членов этих групп от чужестранцев, рабов и тех, кто «не(благо)рожден»<sup>10</sup>.

Документы, собранные в DB, всякий раз подчеркивают, что акт *liberatio* осуществлялся в отношении того или иного владения с сидящими там свободными людьми, которых наши источники обозначают понятиями *liber homo* или *sochemannus*<sup>11</sup>. Эти категории населения, как известно, исполняли определенные публично-правовые службы, в первую очередь военную и судебную, являясь одновременно и налогоплательщиками.

Обращает на себя внимание и сама география акта *liberatio*. Почти все рассмотренные правовые казусы, в которых, так или иначе, упоминается интересующий нас акт или фигура «либератора», имели место на территории графств Восточной Англии (Норфолк и Суффолк), которые традиционно являлись «заповедником» англосаксонской свободы. Следует сразу отметить, что акт *liberatio* совершался в пользу нормандской знати. Как мы увидим

ниже, он утверждал ее права на земельные владения с особым статусом. По-видимому, он обеспечивал, таким образом, определенные публичные прерогативы нормандской знати и в то же время способствовал созданию для нее более целостных комплексов земельных и иных владений.

В то же время он предоставлял определенные выгоды и для рядовых англосаксов, в первую очередь, сохраняя, упрочивая или восстанавливая их статус «свободных людей». Вместе с тем DB свидетельствует, что в действительности статус рядовых свободных был весьма многообразен.

Так, из трех сокменов Вильгельма де Варена один не мог продавать и дарить имущество кому угодно без разрешения лорда, а два таковым правом располагали (DB I 211v (17-1): *unus eorum non potuit dare et vendere terram sine licentia domini sui. Alii duo hoc facere potuerunt*)<sup>12</sup>. Иногда сообщается в общей форме, что тот или иной англосакс мог во времена короля Эдуарда передавать свое имущество, кому пожелает, каковым правом пользовался в частности горожанин Бедфорда, некий Годвин (DB I 218r (52-2): *tenuit TRE quam potuit dare cui voluit*).

В ряде случаев фримены или сокмены, владеющие некоторым имуществом, комментируют себя в отношении какой-то его части, сохраняя при этом оставшуюся часть в своем полном распоряжении, как это видно на примере семи свободных людей в местечке *Brodertuna*, которые владели двумя карукатами земли во времена короля Эдуарда, но были коммендированы только в отношении пятидесяти шести акров земли. Надо полагать, что оставшейся землей они владели совершенно свободно (DB II 294a (3-41)).

В одном документе особо отмечается, что свободный человек был обязан платить гельд, под которым, в данном случае, можно понимать государственный налог, и что так было всегда: *semper vi denarios et i obolum de gelto* (DB II 235b-236a (22-13)). Бывало и так, что в источнике, наоборот, подчеркивалось некоторое ограничение свободы, как в случае со свободным англосаксом в местечке Хельгатон (*Helgatuna*), который не мог уйти с этой земли без разрешения своего лорда: *tenet Willelmus de Warena I liberum hominem ... quod non posset recedere a terra nisi licentia illius* (DB II 172a-b (8-137)).

Какова бы ни была степень свободы англосаксов, завоевание в целом оказалось губительным для этого слоя, поскольку большинство свободных и сокменов потеряли свою пусть и относительную свободу и были представлены в DB как вилланы. Можно полагать, что акт *liberatio* стал особым инструментом королевской политики, с помощью которого Вильгельм Завоеватель пытался сохранить



определенные институты и поддержать тот слой свободных англосаксов, которые были их действенной опорой.

Несмотря на то, что акт *liberatio* предоставлял свободным англосаксам некоторые привилегии, наши источники не оставляют никаких сомнений в том, что сам по себе он был направлен непосредственно на представителей нормандской знати. Укажем только на некоторых лиц, в пользу которых был совершен акт *liberatio*. Вильгельм де Варена держал свои владения непосредственно от короля (*in capite*), которые находились в целом ряде графств. Этот магнат основал клонийский приорат в Сассексе между 1078-1082 гг. (Keats-Rohan 1999: 480-481). Ральф де Тосни<sup>13</sup> также был держателем *in capite*, участником битвы при Гастингсе, а его дочь Годехильда стала женой графа Балдуина Бульонского, будущего короля Иерусалимского<sup>14</sup>.

Обращает на себя внимание и тот факт, что участники акта *liberatio* названы не только по именам, но и по фамилиям или, иначе говоря, по месту их основного владения. В ряде случаев можно говорить о том, что одаренный, как, например, Роджер Биго (*Bigot*), хотя и являлся субдержателем Одо, епископа Байе, сам по себе был крупным землевладельцем, недаром он неоднократно упоминается в DB.

Надо полагать, что лорды-нормандцы, которые получали владения над англосаксами, превращались в своеобразных посредников между королем и англосаксами с относительно свободным статусом, причем новые лорды несли ответственность перед королем за исполнение общегосударственных служб, которыми были обязаны подчиненные им англосаксы. Какие выгоды приобретали сами нормандцы, сказать сложно. Думается, что кроме определенного политического влияния в том или ином регионе, они извлекали выгоду из тех общественных служб, которые несли свободные англосаксы.

В некоторых немногочисленных примерах дело могло обходиться без посредников. В таких случаях сами нормандцы занимали место прежних владельцев – свободных англосаксов – и могли пройти через акт *liberatio*, как это сделал Роджер Биго, приобретший пять акров земли, некогда принадлежавших свободному человеку архиепископа Стиганда (DB II 177a-b)<sup>15</sup>.

Акт *liberatio* – и это находит зримое отражение в источниках – являлся, несомненно, прерогативой королевской власти. Особенно отчетливо это выступает в тех случаях, когда сам король, либо его посланцы или же уполномоченные им лица, которых составители наших источников обозначают термином «либератор» (*liberator*), совершают этот акт.

Некоторые формулы, как представляется, нарочито указывают на непосредственное участие короля в акте *liberatio*. Об этом могут свидетельствовать такие выражения как *de liberatum Regis, per liberationem Regis*, ведь, как мы увидим ниже, почти каждый документ, так или иначе, свидетельствует о причастности королевской власти к акту *liberatio*. Так, Роджер Биго владеет пятью акрами земли в местечке Кэрлтон (*Carletuna*), которые во времена короля Эдуарда принадлежали некоему свободному человеку. Свободный статус владения предшественника явился основанием для того, чтобы Биго получил эти владения путем «королевской» *liberatio* (DB II 177a-b: *de liberatum Regis*).

В другом документе сказано, что в свое время король Эдуард владел в местечке Холт (*Holt*) двумя карукатами земли (DB II 111b-112a). Кроме того, в этот манор были включены восемь фрименов, которые владели тремя с половиной карукатами<sup>16</sup> земли. После завоевания восемь фрименов в силу акта «королевской» *liberatio* (*per liberationem Regis*) перешли, как о том говорят его люди (*sic homines sui dicunt*), под власть Вальтера Гиффарда (*Walterus Giffard*). Прежде в этом маноре сидел еще один свободный человек, владевший двадцатью тремя акрами земли. Ныне эта земля, сообщается в DB, принадлежит графу Гуго. Та же ситуация складывается и в случае с сокменами из виллы Стифки (*Stivecai*).

Некто Кетил (*Ketil*) во времена короля Эдуарда владел двумя карукатами земли в местечке Стифки (DB II 233a-b (21-25)). Затем к этому владению были добавлены четыре сокмена с полутора карукатами земли. Некий нормандец Ранульф, вассал Райнальда фитц Иво, получил в свое владение названные две карукаты. Все тот же Ранульф получил власть и над сокменами путем акта *liberatio*, совершенного, по-видимому, при непосредственном участии лично короля (*per liberationem regis*).

Чаще, однако, король действовал через своего представителя из числа придворных, именовавшегося «либератор» (*liberator*). По-видимому, было нормой снабжать такого представителя особым письменным приказом, но, судя по формулам наших документов, наличие такого приказа не было непременно условием совершения акта *liberatio*. Вероятно, королевскому посланцу достаточно было быть видной и всем известной персоной.<sup>17</sup>

Рассмотрим формулы, где упоминается письменный приказ короля и одновременно называется его представитель. Обратим внимание на то обстоятельство, что документ всюду указан первым. Однако само построение фраз наводит на мысль, что в случае отсутствия письменного приказа можно было сослаться и на одно только появление посланца короля, как и на совершение им соот-

ветствующего акта. Одним словом, фигура королевского посланника могла составить некоторую альтернативу самому документу. Об этом свидетельствуют, например, формулы с союзами *non ... nec, non ... neque, neque ... neque*<sup>18</sup> или с повторяющимся предлогом *sine* (DB I 208 r: *sine liberatore, sine breve, sine saisitore*).

Союз «vel» в средневековой латыни очень часто получал значение тождественное союзу «et» «и», но в интересующих нас формулах союз «vel», судя по всему, сохранял основное значение альтернативы «или», «либо». Так, собрание сотни утверждало, что оно никогда не видело «приказ» или же «либератора» короля который бы совершил акт сейзины (DB I 35r (19-27): *nunquam vidisse brevem vel liberatorem Regis qui eum inde saisisset*). Особое указание на связь «либератора» с персоной короля дает основание предполагать, что таковое должностное лицо было фигурой известной, и, следовательно, могло действовать без письменного приказа.

Иными словами, во всех рассмотренных случаях с фигурой «либератора» сотня свидетельствовала об отсутствии одного из двух показателей законного совершения соответствующего правового акта, а именно: доставленного посланником, а быть может, и обычным курьером письменного королевского приказа либо присутствия хотя бы самого посланника короля.

Как бы там ни было, можно утверждать, что наряду с практикой отсылки королевских приказов из центра, которые дошли до нас в оригинале или в копиях, существовал и обычай направлять особых должностных лиц для совершения определенного акта. Иными словами, при всей важности письменного документа личный авторитет того или иного лица в глазах сотенных жюри являлся достаточным основанием правомочности его действий.

Наряду с теми примерами, где прямо указывается на фигуру «либератора», в нашем распоряжении есть ряд документов, в которых в качестве особого посланника короля назван «saisitor» или легат (*legatus*), но сам документ имеет первостепенное значение. Эти должностные лица, разумеется, отнюдь не во всех случаях действовали в качестве «либератора». Тем не менее, можно указать примеры, где таковая их роль выступает с очевидностью.

Так, в одном документе прямо сказано, что, по утверждению сотни, «saisitor» не совершил акт *liberatio* (DB I 208r (D-25): *nec brevem nec saisitorem vidisse qui liberasset eam (sc. terram)*). Здесь использована альтернативная конструкция «*nec ... nec*», которая не оставляет никаких сомнений в том, что этот «saisitor» мыслился представителем короля, который мог действовать и без письменного приказа.

Хотя мы и отождествляем акт *liberatio* с определенным видом королевской сейзины, не следует забывать, что она имела более широкое применение. У нас нет достаточных оснований для отождествления лица, названного «*saisitor*», с «либератором», например, в следующем случае: в протоколе одного из судебных разбирательств указано, что жюри графства никогда не видело ни печати, ни «*saisitor*’а», совершившего уже акт сейзины (DB I 208r (D-21): *negat vidisse sigillum vel saisitorem qui eum inde saisisset*). Тем не менее, стоит и здесь принять во внимание, во-первых, упоминание печати как косвенное указание на письменный документ, а во-вторых, саму альтернативную конструкцию с союзом «*vel*», которым вводится указание на лицо, специально назначенное для совершения соответствующего акта.

Среди документов, где, как нам представляется, «либератор» обозначен словом *legatus*<sup>19</sup>, отметим два примера, где специально указано, что интересующее нас лицо выступает от имени короля: *legatus ex parte Regis, legatus Regis* (DB II 7a (1-28); I 50r (69-16)).

Как и в случае с «*saisitor*’ом», мы, разумеется, не можем утверждать, что легат всякий раз выполнял функции «либератора». Однако же весьма показателен документ, где сотня утверждает, что она не видела легата, который бы совершил акт *liberatio* (DB II 276b (66-64): *legatus qui eum liberasset*). В другом документе речь идет о том, что сотня не видела ни письменного приказа, ни королевского легата, который бы совершил акт сейзины в отношении предшественника епископа Даремского (DB I 375r: *antecessorem episcopi fuisse saisitum neque per brevem neque per legatum*). Подобным же образом еще в одном документе сообщается, что в собрание сотни не поступал приказ короля и к тому же легат туда не являлся, с тем чтобы от имени короля наделить землей того, кто незаконно ныне ею владеет: *neque breve neque legatus venit ex parte regis quod rex sibi dedisset illam terram* (DB II 7a (1-28)).

Относительно двух последних примеров необходимо отметить наличествующее в них сочетание трех неотъемлемых компонентов акта *liberatio*: упоминание письменного приказа, прямую связь акта с волей короля, наконец, характерную альтернативную конструкцию с союзами «*neque ... neque*», которая использована для указания на возможное присутствие посланца короля, достаточное для осуществления акта и без специального письменного документа.

К этим примерам можно смело добавить и пример с альтернативной конструкцией, где использован союз «*vel*». Сообщается, что люди сотни никогда не видели ни печати, ни легата короля, который бы путем сейзины ввел во владение спорной землей того, кто ныне ее держит: *nunquam viderunt sigillum vel legatum Regis qui*

saisisset eum (DB I 50r (69-16)). Здесь присутствует и указание, пусть косвенное, на письменный приказ, и специальное указание на то, что посланник должен был представлять именно короля.

Наряду с теми многочисленными примерами, когда «либератор» выступал в роли специального посланника, можно указать и такие, когда он назначался из числа местной англо-нормандской знати. Так, сообщается, что некто Вальтер д'Анкур держит владения в местечках Брэмpton (Brandfne) и Вэдшелф (Wadescel), которые во времена короля Эдуарда принадлежали англосаксу по имени Вада (Wada). Очевидно, кто-то вчинил иск Вальтеру, поэтому он призывает короля в качестве защитника и в то же время просит назначить «либератором» Генри де Ферерра (DB I 276r: *advocat regem ad protectorem et Henricum de Fererrs ad liberatorem*). Дело слушается в графстве Дербишир на севере Англии. Названный Генри, как нетрудно установить, был одним из самых состоятельных землевладельцев графства и являлся вместе с тем держателем от короля (*in capite*). Очевидно, он пользовался высоким авторитетом в графстве и знал обстоятельства дела. Поэтому-то его и призывают в качестве «либератора».

Помимо этого, Генри располагал достаточными силами, чтобы контролировать целостность совершенного им акта. Не исключено, что тот, кто хотел закрепить свои права на определенное имущество, порою был склонен обратиться скорее к представителю местной элиты, чем к посредничеству иного достаточно далекого от него придворного, который мог выступить в качестве «либератора». Насколько мы можем судить, роль «либератора» на местах обычно исполняло должностное лицо, представлявшее королевскую власть, а именно, шериф. Об этом свидетельствуют, по меньшей мере, четыре документа<sup>20</sup>. Рассмотрим один из них.

Так, некто Годвин, дядя Ральфа, держал во времена короля Эдуарда одиннадцать свободных людей с одной карукатой земли (DB II 262a (38-3): *tenuit Goduinus ... xi liberos homines i carucata terrae*) в местечке Филд Доллинг (Dallinga). Теперь этой землей владеет Роберт де Верли. По его словам, он держит ее в обмен (*pro mutuo*) на Родинг (Rochinges) и призывает Роберта Бланта (Blandum), занимавшего пост шерифа Норфолка, в качестве лица, которое должно совершить акт *liberatio* (*revocat ad liberatorem*).

Многочисленные примеры акта *liberatio*, рассмотренные выше, хорошо показывают, сколь важное место в деле установления новых владельческих отношений путем совершения названного акта занимал письменный королевский приказ (*breve*). В нормальном случае он выступал как неотъемлемый элемент отношений, строившихся на акте *liberatio*. Для их пересмотра, как показывает один

из упомянутых уже выше документов, также требовался письменный приказ короля.

Вильгельм де Варена владеет двумя гайдами земли в Дин (Stodene) и три сокмена принадлежат к его манору (DB I 211v (17-1)). Ранее один сокмен мог продавать и дарить свою землю с согласия лорда, а двое других могли это делать по своей воле. Некогда Вильгельм Спекс владел половиной гайды и половиной виргаты из этой земли на основе акта сейзины (*fuit saisitus*), совершенного по непосредственному распоряжению короля и при участии его «либератора» (*per regem et ejus liberatorem*). Граф Вильгельм де Варена лишил Вильгельма Спекса его владений, но сделал это без приказа короля (*sine breve Regis eum desaisivit*), что и было засвидетельствовано сотней.

Очевидно, будь на то королевская воля, король мог бы восстановить в правах прежнего владельца, имевшего для этого более весомые юридические основания, вопреки интересам своего приближенного. Упоминание прежнего достаточно высокого статуса сокменов было обусловлено, несомненно, его умалением в связи противоправными действиями Вильгельма де Варена. Свидетельство сотни должно было послужить восстановлению этого статуса. Документ не сообщает, чем закончилось дело, но нельзя исключать того, что вопреки интересам своего приближенного король восстановил в правах Вильгельма Спекса или его непосредственного наследника.

Как бы то ни было, рассмотрение примеров, где упомянуты равно королевский приказ и особое должностное лицо, именуемое «либератор», приводит нас к общему заключению о том, что сам институт *liberatio* был связан теснейшим образом, если не исключительно, с прерогативами короля. Этот факт подтверждается и рядом примеров, где оформлению королевского дара служил именно акт *liberatio*.

Так, во времена короля Эдуарда некий свободный человек короля (*liber Regis homo*) владел в местечке Годвик (Godwic) одной карукатой земли с сидящими там зависимыми людьми. В момент описи эта земля находилась во владении Ральфа де Тосни, который отнес ее к своему владению в местечке Нектоне (Necetuna), Роджер Биго потребовал эту землю себе, опираясь, помимо прочего, на заявленный им факт королевского дара (*eam (sc. terram) revocat de dono regis*), а вместе с тем потребовал назначить ему «либератора» (DB II 235b-236a: *revocat liberatorem*). Связь акта *liberatio* с волей короля выступает в примерах такого рода особенно рельефно.

В споре о правах на виллу Хельгатон (Helgatuna) некто Франк от лица своего господина Дрого де Беврье (de Beuraria) ссылается

на дар короля и акт *liberatio* (*de dono regis et liberatione*), но встречает возражение сотни, которая заявила, что она не видела ни указания на акт *liberatio* в королевском приказе, ни «либератора» (DB II 172a-b (8-137)). Суть дела заключалась в следующем.

Вильгельм де Варена держит в вилле Хельгатон одного свободного человека, который при его предшественнике мог уйти с земли лишь с разрешения господина – статус этого свободного человека подтверждается сотней. Вильгельм считал это свое владение как относящееся к феоду Фредерика. Между тем, сославшись на дар короля и акт *liberatio*, как сказано, Франк потребовал себе землю, на которой сидел названный человек, утверждая, что она относится к феоду его господина, Дрого де Беврье, который выступил наследником Хэмфрида, причем в свое время Хэмфрид и упомянутый Фредерик владели каждый своим феодом. Сотня подтвердила, что действительно Дрого обладал феодом, хозяином которого до него был Хэмфрид. Однако, что касается земли, на которой сидел свободный человек, сотня, как сказано, заявила, что она не видела <ни указания на акт *liberatio*> в королевском приказе, ни «либератора» (*non vidit in brevem nec liberatorem*).

В другом случае Роберт фитц Корбутион (*Corbutionis*) требует от Ральфа Байнарда (*Radulfus Baignardus*) имущество в местечке Саутвуд (*Sedwud*) на том основании, что оно ему было подарено королем (DB II 249b (31-11): *reclamat... de dono regis*). В границах спорного владения присутствует свободный человек, хотя и коммендированный прежнему сеньору в отношении шестидесяти акров земли (*tenet Wimundus liber homo lx acres de quo antecessor... habuit commendationem TRE*), а кроме того ранее тому же сеньору были коммендированы еще двадцать шесть свободных людей (*semper ... xxvi liberi homines sub illo commendatione*). В силу этого обстоятельства для утверждения своих прав Роберт призывает «либератора» (*revocat liberatorem*).

Однако сотня заявляет, что Ральф Байnard еще ранее был наделен правами (*prius fuit saisitus*) на это владение. Похоже, что сейзина, совершенная в пользу Ральфа Байнарда, прошла при участии представителя короля, иначе говоря, соответствовала обычному акту *liberatio*. Именно поэтому сейзина, затронувшая свободных людей, и могла быть успешно противопоставлена требованию нового акта *liberatio* со стороны Роберта фитц Корбутиона.

Говоря о теснейшей связи института *liberatio* с королевской властью, вновь подчеркнем, что в англо-нормандский период именно король был заинтересован в сохранении слоя свободных рядовых англосаксов, как одной из опор централизованного фео-

дального государства. Произвольное подчинение себе нормандской знатью свободных англосаксов рассматривалось как нарушение суверенных прав короля и каралось штрафом, причем, как можно думать, королевская власть принимала меры к тому, чтобы восстановить прежний статус свободных людей.

Так, некто Тальрад захватил и удерживал три года сокмена без ведома короля (DB II 133a (1-195): *saisivit eum [sochemannus] super regem*). Против Тальрада было выдвинуто обвинение, и он на основе судебного решения выплатил пять солидов в виде штрафа (*derationatus est super eum et reddit Talradus v solidos*) и выставил поручителя в том, что он исполнит все постановления суда (*dedit vadem pro justitia facienda*).

Связь акта *liberatio* с королевской властью уходила корнями, несомненно, в англосаксонский период. Можно наблюдать преемственность в важнейших атрибутах института, хотя мы не располагаем достаточным материалом, чтобы предполагать тождественность терминологии. Несомненно, в основе института англо-нормандской *liberatio* лежат социальные отношения англосаксонского периода. Процесс постепенной утраты свободными людьми своего особого положения был характерен не только для эпохи после завоевания, но получил развитие уже в англосаксонский период. Все это дает основания задаться вопросом о наличии института, который англо-нормандские клерки могли отождествить с привычной им *liberatio*, в той или иной форме уже в англосаксонский период.

Как ни скупы наши сведения по истории рассматриваемого института в эпоху короля Эдуарда, можно указать, по меньшей мере, на два документа из DB, отразивших практику до завоевания, в которых присутствуют элементы института *liberatio*: королевский приказ, «либератор», а также особый статус имущества, передачу которого оформлял соответствующий акт.

Так, в одном документе засвидетельствован судебный спор в собрании графства между сыном некоего Эдрика (Edric) и аббатом монастыря в Абингдоне (DB I 59r). Этот Эдрик являлся, должно быть, видной фигурой, поскольку держал десять гайд, составлявших отдельный манор, от короля Эдуарда на правах аллода (*tenuit in alodo de rege Edwardi*). Собрание графства свидетельствует, что Эдрик передал это имущество посредством акта *liberatio* своему сыну, монаху в Абингдоне, в пользование на том условии, чтобы он обеспечивал себя всем необходимым до конца жизни (*deliberavit illud ... ut ad firmam illud teneret et sibi donec viveret necessaria ... donaret*). После же смерти отца, по свидетельству сотни,



сын должен был приобрести всю полноту прав на это имущество (*post mortem unde manerium habet*).

Трудно сказать, имело ли место прямое вмешательство короля при передаче аллода, находившегося под королевским покровительством, в своего рода аренду (*ad firmam*). Однако, как явствует из дальнейшего изложения дела, королевский письменный приказ, несомненно, должен был сопровождать полную передачу такого владения другому лицу или церковному учреждению.

В документе, помещенном в DB, владельцем манора, о котором идет речь, выступает уже аббат, а сын Эдрика является всего лишь держателем этого имущества. Люди в собрании графства заявляют, однако, что у них нет сведений о принадлежности этого манора аббату (*ideo nesciunt homines de scira quod abbatae pertineat*) и что они не видели приказа короля и документа, скрепленного королевской печатью (*neque enim viderunt brevem regis vel sigillum*). Но аббат возразил на это, что Эдрик передал аллод аббатству в качестве манора во времена короля Эдуарда (*in tempore regis Edwardi misit ille manerium ad aecclesiam*), и в подтверждение своих слов он указал на наличие у него приказа и печати этого короля (*unde ... habet brevem et sigillum regis Edwardi*), свидетелями чего выступили монахи монастыря. В этой картине отсутствует лишь фигура «либератора», но можно предположить, что, как и в некоторых рассмотренных выше примерах, в роли «либератора» выступил здесь сам король.

Как бы то ни было, в другом документе из DB сотня рассматривает указание на письменный приказ и фигуру «либератора» как обычное для эпохи короля Эдуарда.

В местечке Торни (*Torneia*) некто Роджер де Кандас (*de Candos*), владеет одной карукатой земли от Гуго де Монфора (*de Monteforti*). В свое время эта каруката лежала в пределах королевского манора и королевской соки, но после завоевания была передана Гуго посредством акта *liberatio* (DB II 409b-410a: *fuit liberata pro I carucatam terrae*)<sup>21</sup>. Указано, что новый владелец имеет в своем подчинении двух свободных людей.

Между тем, некто Ральф Знаменосец (*Radulfus Stalra*) владел этой карукатой в момент смерти короля Эдуарда (*tenebat die qua rex Edwardus fuit mortuus*), получив ее в виде присужденного ему в судебном порядке залога от шерифа Толи (*hanc habuit Radulfus Stalra in vadimonio de vicecomite Toli*). Это означало, что права Ральфа имели достаточно солидные основания. Названную карукату унаследовал его сын, которого тоже звали Ральф (*et post Radulfus <tenebat> filius ejus*). Последний, по неизвестной нам причине, лишился владения, которое и было передано Гуго. Однако Ральф-

сын не смирился и вчинил иск против Гуго и его держателя Роджера.

Чтобы доказать равносильность своих прав правам нового владельца и тем самым, в виду чисто временного первенства во владении земель, добиться возврата ему этого земельного владения, истец должен был доказать, что получение его отцом земли от шерифа было оформлено процедурой *liberatio*. Однако, хотя сотня и слышала от свидетелей о передаче земли шерифом Ральфу-отцу, но она не видела ни приказов короля, ни его посланника-либератора (*non vidit breves neque liberatorem*).

В первом из двух последних рассмотренных нами примеров речь идет о «королевском» аллоде, которым Эдрик распоряжался довольно свободно, но при этом последнее слово оставалось за королем. Очевидно, как мы увидим далее, подобным же образом обстоит дело и с земельными владениями свободных людей в начале англо-нормандского периода, причем королевская воля наложилла выражение прежде всего в институте *liberatio*.

Так, некто Годвин, горожанин Бедфорда, владеет гайдой и четвертью виргаты от короля Вильгельма (DB I 218r (52-2)). Во времена короля Эдуарда этот же Годвин владел половиной гайды и мог передавать ее, кому угодно (*potuit dare cui voluit*). Иными словами он располагал имуществом свободного статуса. После завоевания он прикупил еще полгайды и четверть виргаты. Между тем часть новоприобретенного имущества ранее принадлежала Вильгельму Спеке, который прошел через акт *liberatio*. Однако истец по какой-то причине лишился своего имущества. Теперь он предъявляет вполне обоснованный иск Годвину, ведь последний, получив свое новое владение, не нес служб королю или кому-либо иному и не прошел в отношении этого владения через акт *liberatio* (*nec regi nec alicui inde servitium fecit nec de ea liberationem habuit*). Возможно, добившись восстановления благорасположения короля, Вильгельм решил изгнать англосакса с прежде принадлежавшей ему самому земли, воспользовавшись правом, которое предоставлял ему акт *liberatio*.

Очевидно, что аллодиальные владения, находившиеся, как можно полагать, под покровительством англосаксонского короля, прежний собственник сохранял в результате простого перехода суверенных прав от одного короля к другому. Однако для приобретения нового имущества, в отношении которого прежний владелец прошел через акт *liberatio*, требовался новый специальный акт *liberatio*, либо исполнение служб в пользу короля или его вассалов со стороны новых владельцев.

Подводя итог, отметим, что о полной частной собственности вне рамок некоторого военно-политического сообщества в англо-нормандском королевстве не могло быть и речи. Тем не менее, благодаря королевской санкции в форме акта *liberatio*, можно было получить весьма широкие права в части свободного отчуждения имущества, наследования и т. п. Связь с королем не прерывалась полностью, а приобретала форму королевского покровительства, которое, можно полагать, было отнюдь не безвозмездным. Выше уже упоминался документ, в котором короля призывали в качестве защитника (*revocat ad protectorem*), а представителя местной знати в качестве «либератора» (DB i. 276r: *revocat ad liberatorem*). Также в качестве защитника мог призываться и шериф, действовавший в этом случае, несомненно, как представитель короля<sup>22</sup>.

Теперь, когда мы коснулись общего назначения института *liberatio* как формы королевского покровительства в отношении рядовых свободных, а вместе с тем и обеспечения исполнения последними определенных публично-правовых функций, рассмотрим подробнее некоторые конкретные функции акта *liberatio* в англо-нормандском обществе.

Во всех примерах с актом *liberatio* непреложным остается факт признания особого статуса земли, на которой сидят свободные люди, как и факт особой связи таких владений с королевской властью. Между тем, в ряде случаев акт *liberatio* получает и дополнительное значение частичного освобождения от третьих лиц. Подчеркнем, что «освобождение» в прямом смысле для нашего института всюду оказывается лишь привходящим мотивом, а не основным. В том случае, если в пределах земельных владений сидели люди, чей свободный статус был до некоторой степени умален, акт *liberatio* освобождал их от вновь установленных ограничений.

Рассмотрим сначала те примеры, где к акту *liberatio* прибегают англо-нормандские сеньоры, стоявшие над рядовыми свободными и в то же время находившиеся в зависимости от нормандской аристократии. Каждый из этих сеньоров призывает (*revocat, reclamation*) королевских «либераторов» для совершения соответствующего акта с тем, чтобы освободить себя от зависимости в отношении соответствующего имущества от вышестоящего лорда. Надо полагать, что акт *liberatio* устанавливал прямое подчинение таких сеньоров королю, что влекло за собой определенное повышение их престижа.

Так, Вильгельм де Претени (*Willelmus de Pretenei*) держит от Петра де Валона (*Petrus de Valognes*) в местечке Шерборн (*Scerpecbruna*) сокмена с принадлежащими ему шестьюдесятью акрами (DB II 278b). Ранее сокмен находился в зависимости от Гарольда

(надо полагать, речь идет о короле Гарольде), а его земля относилась к вилле Сейфорд (Sexfordam). Вильгельм решил освободиться от своей зависимости от лорда путем акта королевской *liberatio* (*reclamat liberatorem*). Несомненно, основанием его притязаний являлось то, что под его властью находился человек и земля с достаточной свободным статусом и к тому же принадлежность соответствующего участка земли к вилле Шерборн нарушало традиционные границы владений – обстоятельство, которым нередко мотивировался, как мы еще увидим, новый акт *liberatio*.

Мы не знаем, кто должен был осуществить акт *liberatio*. Перевод Р. Флеминг, предположившей, что Вильгельм призывает своего собственного лорда Петра де Валона, выглядит натяжкой<sup>23</sup>. Дословно в оригинале сказано: «*Modo tenet Willelmus de Pretenei de eo (sc. Petrus de Valognes) et reclamat liberatorem*». Из этого пассажа с очевидностью не следует, что функции «либератора» должен был выполнять сам лорд Вильгельма. Их мог осуществить кто угодно.

В другом документе сообщается, что в вилле Реппс (Repps) при короле Эдуарде некто Герт имел под своей властью свободного человека (DB II 223b (19-20): *tenuit liberum hominem*). Затем теми же правами обладал Ардвин, а именно, в ту пору, когда Радульф, граф Норфолка, лишился своих владений за участие в мятеже против короля. Ныне права в отношении этого человека и его имущества принадлежат Квентину, человеку Вильгельма д'Экуи (*Willelmus de Schoies*). Квентин требует осуществить акт *liberatio* в отношении тридцати акров земли, на которых, очевидно, с англосаксонских времен всегда сидел свободный человек. Для этого он и призывает в качестве «либератора» шерифа Роберта Бланта (*revocat liberatorem*), который в известном смысле выступал как глава местной публичной власти. Очевидно, результатом акта *liberatio* здесь, как и в только что рассмотренном случае, было освобождение соответствующего владения из-под власти местного лорда, сопровождающееся восстановлением былой опеки короля.

Рассмотренные примеры освобождения затрагивали так или иначе, интересы тех, кто непосредственно стоял над «свободными людьми» и в отношении своих владельческих прав подчинился королю. Наряду с этим акт *liberatio* мог изменить к лучшему статус «свободный людей», сидевших на определенной земле, чьи права в ходе завоевания могли быть так или иначе ущемлены. Об этом свидетельствует следующий пример.

Пико, шериф Кэмбриджшира, держит две гайды, которые во времена короля Эдуарда находились в руках восьми сокменов, имевших право дарить и продавать свою землю (DB I 200v (43-1):

dare et vendere potuerunt). Пико утверждает, что одной гайдой он владеет, выменяв ее за Эйнсбери (Einulusberie), а второй на том основании, что он дал в обмен за нее свое владение Рашден (Rifedene). Оправдывая перед неизвестным нам лицом правомочность обмена в отношении владений в Рашден, Пико указал, что обмен был равноценным, так как он добился совершения акта liberatio в Рашден через посредство шерифа Херефорда Ильберта (dicit Pico se habet ... quia Ilbertus de Hereford ei liberavit).

Возможность пусть и не полного, но достаточно явного освобождения от власти местного крупного землевладельца присутствует и в документах, отразивших практику liberatio в отношении части монастырских земель. Иными словами, речь идет о приобретении большей свободы от власти аббата. Между тем в рассмотренных ниже документах, таковое освобождение в реальности не имело место.

Следует отметить неизменно тесную связь монастырского землевладения вообще с покровительством и прерогативами короля, а кроме того мы должны обратить внимание на упоминания как «либератора», так и письменного королевского приказа в связи с попыткой утвердить определенные права на часть монастырских владений.

Аббат Вльвольд (Wlwooldus) вчиняет иск против Ричарда по поводу имущества, которое, по словам людей (homines) последнего, было передано путем акта liberatio (deliberavit) Ричарду в возмещение ущерба (in emendatione) в отношении местечка Вальтон на Темзе (Waletone) (DB I 35r (19-27)). Скорее всего, Ричард просто незаконно присвоил себе владения аббатства, но его люди, чтобы придать прочность правам своего господина, посчитали нужным сослаться на акт liberatio, которым якобы была оформлена передача земли.

Напротив, люди сотни утверждают, что «никогда не видели приказа, либо королевского «либератора» (nunquam vidisse brevem vel liberatorem Regis), который бы совершил акт сейзины по отношению к новому владельцу» (qui eum inde saisisset). Указано, что спорная земля некогда принадлежала свободным тэнам, которые могли уйти с ней, куда пожелают (terram tenuerunt novem teigni, et cum ea se poterant vertere quo volebant)<sup>24</sup>. Очевидно, мы имеем здесь дело с монастырскими владениями особого происхождения, которые сохраняли тесную зависимость от королевской власти.

Подобный же случай представляет, очевидно, и пример спора Хардвина де Скейлз с аббатом монастыря в Или, из земли которого он удерживал два акра (DB I 191r). Современникам, однако, не был ясен сам первоначальный статус спорного имущества: сотня

утверждала, что права Хардвина не были установлены ни фогтом, ни «либератором» (*non habebat advocatum nec liberatorem*). Фогт мог наделять монастырской землей и простых вассалов, лишенных особой связи с королевской властью. Тем не менее, уже само допущение того, что в отношении спорной земли мог действовать «либератор», говорит о возможном свободном исходном статусе этого имущества и прямом подчинении его владельцев королю. Более того, при известных условиях король мог востребовать такую землю обратно, наделив ею того же Хардвина. Но едва ли это произошло в рассматриваемом случае.

В ряде документов акт *liberatio* выступает в простейшей своей функции утверждения прав владения землей, населенной свободными людьми. Так, сообщается, что в местечке Холт король Эдуард владел двумя карукатами земли, которые теперь принадлежат королю Вильгельму (DB II 111b-112a). Помимо этих домениальных карукат, к манору относились (*pertinebant*) еще и восемь фрименов, владевших тремя с половиной карукатами земли. Теперь правами на землю, населенную фрименами, по словам его людей, обладает Вальтер Гиффард в силу акта королевской *liberatio* (*modo tenet Walterius Giffard per liberationem Regis, sic homines sui dicunt*).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в качестве свидетелей выступают лишь люди самого Вальтера, которые, хотя и являются свободными, но не представляют собой авторитетный орган управления, подобный сотне. Достоинно внимания и указание на то, что в этом маноре права на одного свободного человека принадлежат графу Гуго, по-видимому, одному из виднейших сподвижников Вильгельма Завоевателя. Можно предположить, что в документе сделан некоторый намек на притязания Гуго в отношении именно земли, населенной свободными людьми.

Вот еще один пример *liberatio* как акта утверждения особых прав на землю, которой владел свободный человек. Некто Гуго держит от Вильгельма де Варена полторы карукаты земли в Лэклин. Об одной карукате из этих полутора, которой во времена короля Эдуарда владел свободный человек (*liber homo*), сказано, что Гуго получил ее вследствие акта *liberatio* (*fruit liberata*)<sup>25</sup>.

Наиболее интересны для нас документы, которые показывают, как акт *liberatio* должен был защищать с одной стороны свободных людей от ущемления их прав, а с другой – утверждать права самого короля на определенные службы со стороны этих людей.

Некто Гуго фитц Могер (*fili Malgeri*), воин Гуго де Монфор (*miles Hugonis de monte forti*) владеет местечком Голдхэнгер (*Goldhangram*) от Гуго. Этот Гуго-воин, очевидно, желая округлить

свои владения, принял (*accepit*) от свободного тэна пятнадцать акров земли и присоединил к своему владению (DB II 54a-b (27-17)). Очевидно, Гуго пошел на сделку с тэном, оказавшемся в сложном положении, в обход необходимой санкции короля, то есть, не пригласив «либератора» (*non habuit liberatorem*), как о том свидетельствовала сотня (*sic hundredum testatur*). Едва ли права Р. Флеминг<sup>26</sup>, которая включила это дело в разряд так называемых *invasiones*, то есть самовольных захватов, которые отдельной строкой давались в DB, в частности, по графству Эссекс. Как бы то ни было, позже результаты названной сделки были пересмотрены, и земля, принадлежавшая некогда свободному тэну<sup>27</sup>, была объявлена находящейся «в руке короля». (*et ita eam in manu Regis*).

Аналогичная ситуация, когда часть владения знатного англосакса, где присутствовали свободные сокмены, оказывается присвоенной некоторым лицом без акта *liberatio*, но затем порядок восстанавливается в пользу короля, обрисована в следующем документе. Следует заметить, что само понятие *liberatio* в документе отсутствует, но затронуты важнейшие атрибуты этого акта, а именно: приказ короля и присутствие королевского легата.

Сообщается, что во времена короля Эдуарда эрл Гарольд владел восьмью с половиной гайдами земли в Ньюпорте, которые после завоевания перешли в руки короля Вильгельма (DB ii 7a (1-28)). В рассматриваемое время, однако, два сокмена, которые держат две с половиной гайды земли, относящиеся к названному манору, оказались в руках Роберта Гернона (*Robert grino*), представителя англо-нормандской знати<sup>28</sup>. В документе сказано, что сокмены несли все положенные службы (*consuetudines*). Остается, однако, неясным, несли ли они эти службы по-прежнему в пользу короля или же Роберт сумел в той или иной мере обратить их на свою пользу. Последнее представляется наиболее вероятным.

Похоже, что, как и в приведенном выше примере, Роберт получил власть над этими сокменами путем договора с шерифом. В документе сказано буквально следующее: «Каковых принял, когда Свен исполнял обязанности шерифа» (*quos accepit cum Swenus effecit vicescomes*). Сотня, однако, заявляет, что не знает, на каких собственно основаниях владеет сокменами Роберт, так как не было от короля ни приказа, ни легата (*neque breve neque legatus venit ex parte regis*) с сообщением, что король даровал эту землю (*dedisse illam terram*) Роберту. По-видимому, как и в предыдущем документе, дело закончилось тем, что сокмены с их землей вернулись под непосредственное королевское управление.

Приведем еще один пример ущемления суверенных прав короля в отношении сокменов. В местечке Оврел (*Orduelle*) шесть со-

кменов держали во времена короля Эдуарда гайду и виргату и третью часть виргаты, которые они могли продавать и дарить кому угодно (DB i 193v (13-8)): *dare et vendere terram suam potuerunt*). Шериф Кембриджшира Пико передал (*accomodavit*) трех сокменов, которые, надо полагать, подчинялись ему как королевскому представителю, графу Роджеру Монтгомери с тем, чтобы они заседали в его суде (*placita sua tenenda*). О достаточно высоком социальном статусе всех названных сокменов говорит особое указание на то, что один из них являлся человеком короля Эдуарда (*homo regis Edwardi*) и нес службу в королевском замке при шерифе (*inuardum invenit vicescomiti*). О судьбе еще двух сокменов мы ничего не знаем. Люди графа Роджера захватили (*occipaverunt*) переданных ему сокменов и удерживали вместе с землей (*retinuerunt cum terris suis*). Очевидно, передача сокменов графу сама по себе отнюдь не лишала их особых публично-правовых функций, но их статус должен был быть закреплён актом *liberatio*. Люди графа завладели сокменами и их землей, минуя акт *liberatio* (*sine liberatore*), и таким образом, по словам шерифа, король не получал, как прежде, так и теперь положенных от них служб (*rex inde servitium non habuit nec habet*). Заявление шерифа, думается, было достаточным основанием для восстановления исходного статуса сокменов и, следовательно, их служб королю.

Значение *liberatio* как акта, служившего восстановлению прав свободных людей, можно усмотреть и в тех документах, где этот акт противопоставляется, как имеющий большую юридическую силу, обыкновенной сейзине, которая, в той или иной мере, влекла за собой ущемление прав свободных людей, населявших определенную землю.

Так, во времена короля Эдуарда в местечке Берксдон (*Berchedune*) три сокмена владели виргатой земли и могли ее продавать (DB I 141v-142r (37-19): *tenuerunt et vendere potuerunt*). Теперь ее держат Петр и Теобальд от Хардвина де Скейлз. Граф Алан Бретонский вчиняет иск на том основании, что он недавно, когда пересек море, приобрел часть прав в этой виргате посредством акта сейзины (*de hac virgata ... in partes fuit saisitus*), как свидетельствуют люди сотни (*ut homines de hundredo sibi portant testimonium*).

Хардвин, возражая против этого иска, призывает шерифа Петра де Валона в качестве защитника и «либератора», действовавшего по распоряжению (*jussu*) Одона, епископа Байе. Петр совершил в пользу Хардвина акт *liberatio*, когда тот выменял себе эту землю (*liberavit pro escambio*) за владение Либури. По всей видимости, акт *liberatio* осуществленный по распоряжению сводного брата короля, каковым был епископ Байе, имел большую правовую силу в отно-



шении владения, некогда населенного свободными людьми, чем обыкновенная сейзина. Можно предположить, что акт сейзины в рассматриваемом случае вел к умалению свободного статуса Петра и Теобальда, которые наследовали сокменам. Напротив, акт *liberatio* имел следствием подтверждение свободного статуса нормандских преемников сокменов.

В местечке Бродертон (*Brodertuna*) во времена Эдуарда было семь свободных людей, наполовину коммендированных Эдрику Гриму (*Eadrici grim*) и наполовину - Эдрику из Лэксфилд (*Edrici de Laxefella*)<sup>29</sup>, а именно в отношении пятидесяти шести акров земли. В ту пору вилла включала две карукаты земли, а ныне относящаяся к ней земля включает полторы карукаты и два акра луга. Роберт Мале (*Robert Malet*) приобрел половину этого имущества на основании акта сейзины (*ex medietate fuit saisitus*), но, судя по заголовку соответствующего параграфа DB, его сменил граф Алан, который прошел через акт *liberatio* в отношении всего имущества виллы (*Comes Alan habet per liberationem*). Как и в только что рассмотренном случае, акт *liberatio* оказывается сильнее акта сейзины там, где речь идет о земле, населенной свободными людьми.

Хотя акт *liberatio* оказывался сильнее обычной сейзины в рассматриваемых случаях и его связь с королевской властью не подлежит сомнению, тем не менее, акт *liberatio* сам по себе должен был соответствовать некоторым неперенным условиям. Важнейшим из них было сохранение старых границ владений. Если это условие было нарушено, в определенных обстоятельствах акт *liberatio* мог быть подвергнут пересмотру. Именно такую ситуацию засвидетельствовал, как нам представляется, документ из DB, где речь идет о споре относительно бывшего владения «свободного человека короля» (*liber Regis homo TRE*) в селении Годвик (*DB II 235b-236a (22-13)*).

В рассматриваемый период этой землей владел Ральф де Тосни как частью своего манора в местечке Нектон (*Neketuna*). Сотня, однако, заявила, что эта земля не относилась к Нектону ни во времена короля Эдуарда, ни во времена Гарольда (*non jascuit in Neketuna TRE nec tempora Heroldi*).

Роджер Биго требует эту землю себе, ссылаясь на дар короля (*de dono Regis*) и одновременно требует, чтобы тот самый «либератор», который наделил этой землей Ральфа, теперь совершил соответствующий акт в отношении Роджера. О том, что именно так обстояло дело, говорит, по нашему убеждению, параллельное употребление глагола «*revocat*» в отношении как спорного земельного владения, так и «либератора»: *Rogerius Bigot eam revocat de dono regis et revocat liberatorem*. Документ ничего не говорит о том,

как закончился спор, но похоже, что указание на нарушение границ владений, подкрепленное волей короля даровать спорное имущество Роджеру Бигу, должно было решить дело в пользу последнего.

В местечке Барни (Berlei) во времена короля Эдуарда некто Туркетил (Turketil) владел двумя карукатами земли (DB II 258a (37-17)). Теперь их держит Вильгельм от Петра де Валона. Там же семнадцать свободных людей владеют восьмьюдесятью акрами земли. Вильгельм требует отдать их под его власть путем акта liberatio ради округления своего манора (hos reclamat ex deliberatione ad perficiendum hoc manerium). Однако, некий «человек короля» (serviens regis) в свою очередь потребовал отдать в его руки тринадцать людей и половину прав над одним из названных семнадцати свободных. Обосновывая свое требование, он указывает на то, что эти люди были под его властью в ту пору, когда Ральф, граф Норфолка, принял участие в мятеже, а главное, что они относились к другому манору, пусть и принадлежавшему человеку, поднявшему мятеж против короля, а именно, все тому же графу Ральфу. Думается, что, как и в ситуации, описанной в предыдущем документе, притязания человека короля, подкрепленные указанием на необходимость сохранения старых границ владений, возымели свое действие. Во всяком случае, это лицо готово было смело отстаивать свои права перед судом в любой форме: quocumque iudicio judicatur.

\* \* \*

Рассмотренные материалы довольно убедительно демонстрируют особую роль акта liberatio в новом Англо-Нормандском королевстве. С другой стороны, на что мы также попытались обратить внимание, в англосаксонский период существовал институт, который нормандские писцы до некоторой степени могли отождествить с liberatio.

На примере института liberatio хорошо видно, что Вильгельм стремился не только декларировать преемственность своей политики с политикой короля Эдуарда, но и предпринимал определенные меры по сохранению традиционного статуса свободного англосаксонского населения.

В сущности, и политика Эдуарда и политика Вильгельма была обусловлена процессами феодализации, в ходе которых все более понижался статус рядовых свободных – костяка местной администрации и до известной степени военной организации. И тот и другой были заинтересованы в сохранении соответствующего социального слоя, но Вильгельму было куда труднее противостоять стремлению нормандской знати подчинить себе свободных, опи-

раясь на право завоевателей. Делая акт *liberatio* важнейшим орудием защиты слоя свободных англосаксов, Вильгельм, по-видимому, способствовал и окончательному оформлению этого довольно своеобразного даже для английской истории института. Сдерживая аппетиты нормандской знати, король настаивал на том, чтобы новые лорды, если они желали получить власть над свободным англосаксонским населением, проходили через акт *liberatio*, который в известной мере обеспечивал сохранение статуса свободных и выполнение последними необходимых для королевской власти публичных служб.

## ИСТОЧНИКИ

1. Liebermann F. (Hrsg.). 1898-1903. Die Gesetze der Angelsachsen, Bd. I. Halle.
2. Farley A. - Ellis H. (Ed.). Domesday Book seu Liber censualis Willelmi Primi [=DB]. Vol. I-IV. London, 1783-1816
3. Historia et cartularium monasterii S. Petri Gloucestria. 1863-1867. Vol. I // *Rerum Britannicarum medii aevi scriptores* / Ed. by W. Hart. Vol. 33.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Pfeifer W. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 1989. / Hrsg. Bd. I-III. Berlin.
2. Fleming R. Domesday Book and the Law. Society and legal custom in early medieval England. Cambridge, 1998.
3. Hart C. The Danelaw. L., 1992.
4. Keats-Rohan K. S. B. Domesday people. A prosopography of persons occurring in English Documents 1066-1166. L., 1999. Vol. I. Domesday Book. Woodbridge.
5. Kristensen A. The Danelaw institutions // *Medieval Scandinavia*. 1975. No 8. P. 27-85.
6. Maitland F.W. The Domesday Book and beyond. New York, 1966.
7. Niermeyer J.F. *Mediae Latinitatis lexicon minus*. Leiden, 1976.
8. Round J.H. Feudal England. Cambridge, 1895.
9. Sawyer P. From Roman Britain to Norman England. L., 1998.
10. Stenton F.M. Anglo-Saxon England. Oxford, 1962.
11. Vinogradoff P. English society in the eleventh century. Oxford, 1908.

12. *Walde A.* Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache. 1936 Bd. I-II. Göttingen.
13. *Барз М.А.* Исследования по истории английского феодализма XI-XIII вв. М., 1962.
14. *Бенвенист Э.* Словарь индоевропейских социальных терминов / Под ред. Ю.С. Степанова и Н.Н. Казанского. М., 1995.
15. *Гуревич А.Я.* Английское крестьянство в X – начале XI вв. // Средние Века. М., 1957. Вып. 9. С. 69-131
16. *Сойер.* Эпоха викингов. СПб, П.

---

<sup>1</sup> В статье мы применяем следующие сокращения: DB – Domesday Book seu Liber censualis Willelmi Primi [=DB], Vol. I-IV. London, 1783-1816; TRE – tempore regis Edwardi; TRW – tempore regis Willelmi; EWD – Pfeifer W. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Berlin, 1989. Bd. I-III.

<sup>2</sup>Мы не можем сказать точно, как часто применялся этот акт, поскольку в DB он упоминается только в спорных случаях. Акт liberatio упоминается примерно в ста двадцати документах, тогда как Р. Флеминг представила в своей работе более трех тысяч правовых ситуаций, о которых идет речь в DB. См.: *Fleming R.* Domesday Book and the Law. Society and legal custom in early medieval England. Cambridge, 1998

<sup>3</sup> *Niermeyer J.F.* Mediae Latinitatis lexicon minus. Leiden. 1976. 607-608, cf. artic. 3.

<sup>4</sup> См. также DB I 208r (D-21): nec brevem nec sasitorem vidisse qui saisisset eam (sc. terram)

<sup>5</sup> *Leges Henrici Primi 4: Et infra muros civitatis nullus hospitetur, neque de mea familia, neque de alia vi alicui hospitium liberetur* / Liebermann F. (Hrsg.). 1898-1903. Die Gesetze der Angelsachsen, Bd. I. Halle. Libertas Londoniensis 12: Sciendum item est, quod homo qui de curia sit regis vel baronum in domo alicujus civis Lund[oniarum] vi vel liberatione vel consuetudine hospitari non debet (Liebermann 1898-1903)

<sup>6</sup> *Бенвенист Э.* Словарь индоевропейских социальных терминов / Под ред. Ю.С. Степанова и Н.Н. Казанского. М., 1995. С. 212-220.

<sup>7</sup> К слову \*leudth восходят др. англ. leod, др. в.-н. liut (ср. соврем. нем. Leute – люди), ст. слав. ljudь (народ). Любопытно, что исходное значение слова leudhi в немецком было тождественно понятию «Nachwuchs» (молодое поколение), а со временем это слово получило общее значение «Leute, Volk» *Walde A.* Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache. 1936 Bd. I-II. Göttingen. art. Liber.

<sup>8</sup> *Бенвенист Э.* Указ. соч. С. 212.

<sup>9</sup> Там же. С. 214.

<sup>10</sup> Там же. С. 215.

<sup>11</sup> Сокмен (англ. socman или socnman, в латинизированной форме sochemannus, socemannus) то есть человек соки, судебного округа, в котором тот или иной лорд получал долю штрафов или, что было реже, управлял судебные функции вместо королевских чиновников (элдорменов, шерифов). Таким лордом нередко мог быть сам король. Между тем в Восточной Англии, как полагал Ф. Мэйтланд, не было строго противопостав-

ления сокменов свободным и те, кто назывались в одной сотне свободными, в другой – сокменами. См.: *Maitland F.W. The Domesday Book and beyond*. New York, 1966. P. 105ff. Как бы то ни было, «право суда в отношении сокменов, чьими бы людьми они ни были, в восточных графствах принадлежало собраниям сотен». Ф. Стентон считал, что сокмены были потомками датских поселенцев (*Stenton F.M. Anglo-Saxon England*. Oxford, 1962. passim). П. Сойер, напротив, склонен видеть в сокменах потомков свободных англосаксонских крестьян, некогда подчиненные местным лордам, а потом попавших под власть датской аристократии, причем они выполняли те же службы, что и тэны, дренги и другие свободные категории населения (*Сойер. Эпоха викингов*. СПб, 2002. С. 238. *Sawyer P. From Roman Britain to Norman England*. L., 1998. P. 178). Мнение о сокменах как судебно зависимой категории населения высказал А.Я. Гуревич, хотя и подчеркнул, что таковой юрисдикцией располагали только крупные церковные землевладельцы. См.: *Гуревич А.Я. Английское крестьянство в X – начале XI вв.* // *Средние Века*. М., 1957. Вып. 9. С. 69-131 и особ. С. 113-114. Оригинальная концепция происхождения сокменов и их связь с сотенной организацией древних германцев содержится в статье: *Kristensen A. The Danelaw institutions* // *Medieval Scandinavia*. 1975. No 8. P. 27-28, где автор отмечает, что, несмотря на разницу между фрименами и сокменами в Восточной Англии (разная сумма вергельда и т. п.), и те и другие были свободными категориями населения. Главное, пожалуй, для составителей DB заключалось в том, что сокмены были самостоятельными налогоплательщиками *Maitland F.W. The Domesday Book and beyond*. New York, 1966. P. 23.

<sup>12</sup> См.: DB I 141v-142r (37-19): TRE hanc terram tenerunt iii sochimanni et vendere potuerunt; DB i 202v (43-1); DB I 193v (13-8): Hanc terram tenerunt TRE vi sochemanni et dare et vendere terram suam potuerunt

<sup>13</sup> Имена ряда действующих лиц документов и названий мест мы даем не в той краткой или общей форме, как они представлены в DB, а в дополненном виде, руководствуясь находками нашей предшественницы Р. Флеминг (*Fleming R. Domesday Book and the Law. Society and legal custom in early medieval England*. Cambridge, 1998. Appendix)

<sup>14</sup> *Keats-Rohan K.S.B. Domesday people. A prosopography of persons occurring in English Documents 1066-1166*. L., 1999. Vol. I. Domesday Book. Woodbridge, P. 378.

<sup>15</sup> In Carletuna I liber ejusdem <Stigand, Archbishop of Canterbury> v acres. hanc tenet Rogerus bigot de liberatum Regis; См.: DB II 161b (8-31).

<sup>16</sup> В DB можно отметить две системы землемерных единиц: 1) гайды и их составляющие, т.е. виргаты (четверть гайды) и акры, 2) карукаты и их составляющие, т.е. боваты. Гайда (hida, англс. higid или hiwisc – члены домохозяйства, позже надел рядового свободного общинника) – количество земли, колебавшееся в пределах 120 акров, которое можно было вспахать в течение сезона (120 рабочих дней) тяжелым плугом. В XI веке фискальная единица, то есть отражающая приблизительную оценку земли с точки зрения ее обложения налогом-гельдом. Каруката (caruca – тяжелый плуг) как и гайда в рассматриваемый период являлась фискальной едини-

цей. Иными словами, понятия гайды и карукаты по сути дела тождественны. Обстоятельно эта тема развита в работах Дж. Раунда, Ф. Мэйтланда и М.А. Барга *Round J.H. Feudal England. Cambridge, 1895. P. 36, 34, 65; Maitland F. Op. cit. Бэрг М.А. Исследования по истории английского феодализма XI-XIII вв. М., 1962. С. 25-34*). Несколько иную точку зрения на карукату как единицу обложения высказал К. Харт *Hart C. The Danelaw. L., 1992. P. 72-78*)

<sup>17</sup> Ср: DB I 141v-142r (37-19); DB II 278b

<sup>18</sup> DB II 409b-410a: hundredum audivit sed non vidit breves neque liberatorem; II 172a-b (8-137): sed hundredum non vidit in brevem nec liberatorem. Как мы увидим ниже, эти примеры можно дополнить целым рядом аналогичных примеров со сходной конструкцией. См.: DB I 375r (CS-19): neque per brevem neque per legatum; DB I 208 r (D-21): nec brevem nec sasitorem vidisse qui saisisset eam

<sup>19</sup> DB I 375r; II 7a (1-28); II 276b (66-64); I 50r (69-16)

<sup>20</sup> См.: DB I 141v-142r (37-19): Hardvinus reclamatur Petrum vicecomitem ad protectorem et liberatorem; DB I 200v (32-10): Ilbertus de Hereford (шериф Херефорда) ei liberavit; DB II 223b (19-20): Quentinus revocat liberatorem Robertum Blandum (шериф Норфолка в 1086); DB II 262a (38-3): De inde revocat Robertum Blandum liberatorem

<sup>21</sup> DB II 409b-410a

<sup>22</sup> DB I 141v-142r (37-19): Hardvinus reclamatur Petrum vicecomitem ad protectorem et liberatorem

<sup>23</sup> «Now William de Partney holds from Peter de Valognes and claims him for livery (reclamatur liberatorem)» (*Fleming R. Op. cit. No 2731*)

<sup>24</sup> В издании Р. Ван Кэнегема эта, на наш взгляд, важная часть документа опущена (*Van Caenegem 1990: No 26*).

<sup>25</sup> DB II 164a (8-54): Tenet Hugo I car. terrae et dimidium set fuit liberata pro una carucata quam tenuit liber homo TRE

<sup>26</sup> 1940 II 54a-b (27-17): Annexation (invasion) TRW Huge fitz Mauger a knight of Hugh de Monfort took (accepit) fifteen acres from a free thegn and put them with his manor.

<sup>27</sup> Следует учитывать, что тэны являлись представителями служилой англосаксонской знати, в поддержке и силе которой Вильгельм был заинтересован. В свое время П. Виноградов утверждал: «После завоевания тэнство вошло в верхушку военного класса» (*Vinogradoff P. English society in the eleventh century. Oxford, 1908. P. 403*)

<sup>28</sup> В начале XII века (1113-1114 гг.) Роберт Гернон осуществляет дар двух церквей в присутствии королевы Матильды, жены Генриха I См. *Histor. et cartul. monast. S. Petri Gloucestria 1863-1867: 97: «Vidimus atque quod domina mea Matilda regina Robertum ad altare S. P. conduxit ubi ipse astante regina pluribusque aliis per cultellum super altare donationem illam confirmavit»*.

<sup>29</sup> Как показывает материалы просопографии DB, имя Эадрика из Laxafeld после завоевания не встречается, а об Эадрике Grimm сведения вообще не приводятся (*Keats-Rohan K.S.B. P. 86*).

## ФЕОДАЛИЗМ? ПЕРЕД СУДОМ? ИСТОРИКОВ? («СЕНЬОРИЯ И ВАССАЛИТЕТ ПРОСТОЛЮДИНОВ»)

«А с таким именем, как у тебя, ты можешь оказаться чем угодно... Ну, просто чем угодно!» «Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, – сказал Шалтай высокомерно.

– Вопрос в том, подчинится ли оно Вам, – сказала Алиса...»

*Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.*

Я полагаю, «феодализм» никак не может быть привлечен к суду историков хотя бы потому, что под именем *феодальных* в историографии фигурировали самые разные феномены, агенты и институты.

Известно, что первенство в создании концепта феодализма принадлежит юристам XVI-XVIII в. Естественно, понятие может продолжать существование в рамках истории права, не подвергаясь никакому суду историков. Первоначально историки во многом опирались на разработки правоведов, хотя и не всегда отдавали себе в этом отчет.

И именно историки, в отличие от правоведов, не могут в настоящий момент договориться не только об одном, но и о двух-трех определений феодализма для возможного обсуждения<sup>1</sup>. Термин «феодализм» одними историками использовался применительно к историческим реалиям раннего средневековья, а другими — при характеристике позднего средневековья, в некоторых случаях термин фигурировал при описании отношений внутри военной элиты, или же, появлялся совсем в ином контексте — развития сельской сеньории.

Кто же, с учетом этого обстоятельства, может претендовать на роль судьи, а кто вынужден признавать себя ответчиком в деле суда над феодализмом?

Необходимо уточнить и другой вопрос или посылку, сформулированную устроителями «круглого стола». Как удастся историкам придерживаться давно сложившихся исторических понятий, в частности, сохранять понятие «феодализм» в своем арсенале?

На этот вопрос, заданный А.Я. Гуревичем в статье «Феодализм перед судом историков»<sup>2</sup>, совсем несложно ответить. Нет, не удастся совершенно и достаточно давно. Нетрудно указать, что уже с 70-х годов прошлого века, т.е., по крайней мере, тридцать лет назад историки открыто стали отказывать данному понятию в праве на существование, а к концу столетия эта позиция получила завершенную форму<sup>3</sup>.

Историки (западные медиевисты) сделали все для того, чтобы целостное восприятие «феодализма» и «феодального» выглядело наивным и некорректным для профессионалов. Кажется, **можно сказать, что понятие «феодализм» подверглось радикальной де-конструкции и исчезло.**

Действительно, какое место уделяется в современной историографии понятию феодализма? Такой концепт как «феодализм» играл некогда ключевую роль в дискурсе академической истории, но сейчас этот термин используется все реже, и вызывает интерес все меньше, как и ряд других определений и проблем медиевистики девятнадцатого и двадцатого столетия, к которым не часто возвращаются даже в историографических обзорах.

Необходимость преподавания (что нередко равносильно необходимости упрощения) и тенденция принятия общих понятий как аксиом в рамках учебного процесса объясняют, почему единичные традиционалистские концепции социального строя средневековья продолжают переиздаваться<sup>4</sup>.

В этом «репринтном» развитии историографии сказывается и нежелание продолжать все более сложные споры о понятиях. С другой стороны, во многих современных пособиях для высшей и средней школы термин «феодализм» употребляется все реже<sup>5</sup>. К сожалению, с исчезновением слова феодализм не исчезнут проблемы исторического познания, сопровождавшие и развитие, и критику понятия «феодального мира».

В самое последнее время стало возможным говорить о новом обращении к теме, о попытках возродить понятие «феодального». Некоторые (достаточно редкие) обсуждения данной темы на международных встречах медиевистов, например, в Центре Исследований Раннего Средневековья в Сполето, показывают, скорее, желание пойти наперекор тенденциям, преобладающим в рамках национальных школ историографии, чем обозначают новое направление.



Что такое феодализм для современного историка? И имеет ли этот термин фиксированное обобщенное значение, или же масса эмпирического материала микроисторического анализа может (для удобства изложения) обозначаться таким ни к чему не обязывающим клише, как феодализм? Возникает такое сравнение: историки должны решить, феодализм – это имя собственное или нарицательное?

Феодализм некогда считался «именем собственным», причем под этим именем историки представляли портрет средневековья. Конкретизировать имя собственное, естественно, не требовалось. Затем «феодализм», (как и слова «феод» и «вассалитет») становится именем нарицательным, то есть термином с набором стандартных словарных значений.

И, наконец, «феодализм» как бы попадает в Зазеркалье, где имя собственное непременно что-то значит, а простое существительное имеет произвольное значение. При столь противоречивых и несогласуемых мнениях трудно продолжать конструктивную дискуссию, и гораздо легче перестать употреблять слово, чтобы не запутаться окончательно<sup>6</sup>.

Вопрос о том, как удастся историкам придерживаться давно сложившихся исторических понятий, заданный участникам дискуссии, думается, следует заменить другим, а именно, необходимо ли историкам общее определение феодализма? Встреча историков в ИВИ РАН ценна именно как попытка дать ответ на вопрос, который гораздо легче избегать, чем обсуждать. Мой собственный вклад будет представлять такая искренняя попытка объединить примеры собственного микро-исторического анализа казусов, не укладывающихся в привычные схемы с анализом теоретических вопросов и проблем создания исторических концептов, привлечших мое внимание при работе с современными историографическими разработками ряда авторов.

За круглым столом в Академии наук было предложено, в частности, проанализировать идеи Сьюзан Рейнольдс относительно вассалитета на средневековом латинском Западе<sup>7</sup>. Это предложение показалось мне весьма важным, т.к. в трудах Рейнольдс обсуждаются основные методологические вопросы изучения феномена вассалитета и передачи фьефов. Кроме того, наследие Рейнольдс интересно некоторыми частными аспектами.

Публикации Рейнольдс, даже небольшие, обычно вызывают многочисленные отклики коллег<sup>8</sup>, а в наш век информационной революции такой интерес указывает, что работа действительно важна, а полемика по данному вопросу неизбежна. Кроме того, в первых, Рейнольдс интересует вопрос правовой практики и право-

творчества итальянского средневековья. Во-вторых, в предложенной к обсуждению работе исследовательница анализирует историю создания таких понятий, как «феод» и «вассалитет». В 80-х г. прошлого века корректным считалось разделять сферу поземельных и личных (вассальных) отношений и ассоциировать именно эти системы связей с «феодализмом»<sup>9</sup>. И независимо от того, возможно ли ставить знак равенства между банальной сеньорией и феодализмом, именно понятия сеньории и вассалитета являются наиболее широкими из всех, используемых в медиевистике. Соответственно, и анализ этих концептов не только был весьма актуален в период подготовки труда Рейнольдс, но и остается таковым до сих пор.

Я предполагаю рассмотреть – в связи с дискуссией по проблеме феодализма – спектр сеньориально-вассальных отношений, включавший социальный страт простолудинов. Именно исследование этой темы, на мой взгляд, может и расширить, и одновременно конкретизировать, наши представления о т.н. «феодальном мире».

Проблема исследования вассальных отношений, которую я выбираю в рамках данной статьи для более детального обсуждения, на мой взгляд, важна еще потому, что ставит вопрос о том, была ли городская округа антиподом средневекового городского мира, или же частью взаимосвязанной системы, которую составляли город, контадо и дистретто? Если да, то можно ли принять тезис о том, что взаимоотношения города и округа реализовывалась как связи коммуны (общины) и сеньории, что сфера действия вассальных отношений объединяла и то, и другое? В историографии предшествующего периода, причем не только марксистской, данный вопрос формулировался как проблема отношений города и феодализма, феодального мира и коммуны.

Методологически важно выделить современные историографические разработки, снимающие барьеры между темой коммуны и темой сеньориальных связей. Именно такую перспективу (не в одной работе, в совокупности исследований) раскрывает Рейнольдс.

Рейнольдс ставит вопрос о ревизии определения вассалитета и феода, также как и коммуны. Отметим, однако, что радикальный критицизм Рейнольдс, вписывается в определенный историографический контекст. Эту традицию воплощают и предшественники Рейнольдс, и некоторые из рецензентов и критиков, наиболее чутких к сути вызова, сформулированного в исследовании «Фьефы и вассалы»<sup>10</sup>.

В такой ситуации призыв «забыть феодализм» означает как раз наоборот, задачу «вспомнить все». Вспомним, что позиция Рей-

нольдс была удачно определена как тенденция крайнего номинализма, поскольку исследовательница пришла к радикальному отрицанию какого-либо общего смысла понятия «вассалитет», и тезису о принципиальной невозможности выкристаллизовать это общее понятие из частных контекстов. Но номинализм столь давняя интеллектуальная традиция, что ее никак нельзя назвать новаторской или революционной.

Затем поставим вопрос, перечеркивает ли отказ от абстрактных понятий и общих терминов возможности широких исследований социальной жизни средневекового мира? Ставятся ли самой Рейнольдс глобальные вопросы?

Кроме того, мне хотелось бы рассмотреть идеи Рейнольдс, автора, сформировавшегося в процессе изучения английского средневековья (города и корпорации), в сопоставлении с традицией и проблематикой изучения романского мира. Как же соотносится предложенная Рейнольдс исследовательская парадигма с рядом конкретных исторических казусов, например с материалом, характеризующим специфический вариант социального развития средневековых итальянских земель?

Поэтому я использую в данном очерке и сопоставление трудов Сьюзан Рейнольдс с разработками именитой итальянской исследовательницы Джини Фазоли. Я обнаружила возможности такого сопоставления, исходя из общей направленности и сходства задач авторов. Нельзя не отметить общего интереса к взаимосвязи коммуны и феодализма, который отличает труды обеих исследовательниц. Также есть сходство и в стилистике работ, поскольку, как я считаю, основой этих трудов-монографий послужили лекционные циклы.

Работы Фазоли, которые прослеживают взаимосвязи города и феодального мира, я отмечу в первую очередь. Особенно важны размышления исследовательницы о первых основах объединений, которые впоследствии получили правовой статус, а именно статус коммун. Работа Фазоли сформировала представление о том, что на первоначальной стадии развития коммуна носила исключительно частный характер и являлась продуктом временного договора небольшого числа частных лиц – горожан или селян-соседей, заключенного с принесением взаимной клятвы-присяги<sup>11</sup>. Таким образом, в историографии произошел переход от понимания коммуны как системы публичных и политических функций к восприятию общины как системы временных персональных связей.

Если Джина Фазоли дала определение начальной фазы коммуны как сообщества круговой поруки “*conjuratio*”, “*juramentum*”, т.е., частного правового соглашения, то Рейнольдс утверждала в

книге «Королевства и общины Западной Европы 900-1300 гг.», что понятие «коммуна» не имело правового значения вообще...<sup>12</sup>

Это мнение спорно и связано с тотальным недоверием исследовательницы к возможностям исторической интерпретации правовых терминов. Однако в текстах Рейнольдс есть не только отрицание устойчивых представлений историографии, но и позитивные наблюдения и простые апелляции к здравому смыслу читателя, которые, мне кажется, заслуживают внимания.

Рейнольдс при всем своем критическом отношении к историографии занимает весьма конструктивную позицию: «Прежде чем критиковать понятие вассалитета, как оно используется в дискуссиях о вассально-фьефных отношениях, необходимо как можно более ясно указать на тот смысл, который мы здесь в него вкладываем»<sup>13</sup>. Рейнольдс затем подчеркивает, что историки обозначают как вассальные отношения между лордом (сеньором) и его зависимым, но свободным или даже привилегированным (анноблированным) вассалом, что и позволяет говорить, пусть не о равенстве сторон, но об элементе добровольности и взаимности в развитии этих отношений<sup>14</sup>. Именно это положение вещей, по мнению Рейнольдс, коренным образом отлично от взаимоотношений господина и его крестьян или подданных в классическом представлении о личной зависимости.

Но такое наблюдение не только ставит водораздел между феноменом вассалитета на латинском средневековом Западе и классической концепцией крепостного состояния, но также и снимает преграды между статусами привилегированных и непривилегированных вассалов.

Роль церкви в создании систем вассалитета – это также важный и не достаточно исследованный историографический сюжет. Рейнольдс, что весьма ценно, поднимает общий вопрос о роли церкви процессах реорганизации средневекового социума. В упоминавшейся выше монографии «Королевства и коммуна в Западной Европе. 900-1300» («Kingdoms and communities in Western Europe 900-1300»), существует специальный значительный раздел под названием «the community of the parish» (приходская коммуна)<sup>15</sup>.

Автор высказывает идею о том, что коммуны, а также объединения и союзы внутри коммуны и братства внутри приходской общины – это если не явления одного порядка, то звенья одной цепи. Рейнольдс также справедливо уточняет, что приходская структура включала в себя все зависимые от местной церкви земли, целую правовую систему отношений зависимости<sup>16</sup>. Подчеркну, что речь идет именно о системах вассальных связей, в первую очередь, о подчинении общин и малых групп держателей.

Основной же тезис Рейнольдс звучит именно как постулат номинализма: общего значения всех случаев употребления термина «вассал» нет и не может быть вообще<sup>17</sup>. Однако, внимательные критики подметили половинчатость номинализма Рейнольдс: с одной стороны исследовательница подчеркивает бессмысленность поисков универсальных значений терминов «феодализм» и «вассалитет». С другой стороны, Рейнольдс твердо верит в возможность указать значение, которое никак нельзя этим словам приписывать, то есть, берет на себя обязательство того же порядка, что и первоначально отвергнутое<sup>18</sup>.

На мой взгляд, значимость труда Рейнольдс по истории общин в том, что исследовательница показывает роль сеньориально-вассальных связей при анализе формирования общин, а не только в связи с исследованием фьефа. Таким образом, хотя общие концепты (как «феодализм», так и «община») Рейнольдс отрицает, тем не менее, на уровне конкретных казусов вассальных отношений и коммун исследовательница прослеживает взаимосвязь.

Из частных проблем, упоминаемых Рейнольдс (как и Фазоли), выделим здесь лишь те, которые, как я полагаю, волнуют и автора синтезирующих работ, и любого исследователя-медиевиста. Итак, во-первых, что такое само по себе объединение, обозначаемое как «община» и «коммуна», на каких условиях это объединение принимает вышестоящую власть, правомерно ли говорить о добровольном согласии и взаимности обязательств вассальной и сеньориальной стороны, или это риторика. Во-вторых, это вопрос о том, насколько близки по смыслу употребляемые обозначения вассалов, лично зависимых людей. В-третьих, какова роль нобилитета, церкви и самих общин в истории формирования общин и систем личных и поземельных связей.

Интересно, что Рейнольдс, ратую за разбор «казуса», за «уликовое» знание, избирает, пусть и вынужденно, широкие горизонты исследования, а, например, советские историки-медиевисты, при существовании всем известной глобальной модели феодализма и техники интеграции в нее отдельных казусов и вариантов социальных связей, могли позволить себе заниматься интерпретациями частностей, без излишних комментариев и отсылок.

Итальянисты в советский период прекрасно работали с отдельными казусами взаимоотношений сеньоров и общинников, а именно: с материалом хартий и статуты по истории отдельных общин (в основном на примере Севера Италии)<sup>19</sup>. Таким образом, существование глобальных концепций несколько не препятствует углубленному изучению казусов, а отсутствие их не отнимает необходимость расширения исследовательских перспектив.

Что касается самих терминов *vassī* или *vassali*, то, как считает Рейнольдс, употребление этих названий не так типичны для исторических источников, как это представляется, если полагаться на труды медиевистов. Эти термины, по утверждению Рейнольдс, фигурируют в каролингских документах и переходят под влиянием франков в документы, составленные в Италии и Германии. В Италии после X в. встречаются обе формы слова. Однако в отличие от этого во французских и германских землях слова, обозначающие «вассал», постепенно вышли из употребления (пока не были вновь привнесены из Италии юристами).

Распространение термина «вассал» в документах XIII в. Рейнольдс напрямую связывает с подъемом интереса к изучению права в качестве особой «академической» дисциплины. При этом Рейнольдс указывает, что такие термины как «*fidelis*» и «*homo*» иногда могут выступать в качестве синонимов в значении «вассал», но часто несут в себе гамму иных оттенков<sup>20</sup>. Данный момент Рейнольдс, думается, излишне утрирует, как и бедность контекстов, которые можно было бы привлечь для верификации терминов, так и выводы, которые следует из этих построений.

На мой взгляд, независимо от того, есть ли основания считать все формулировки Рейнольдс удачными, ее исследовательские тезисы могут быть верифицированы или проиллюстрированы материалом исторических источников, который не являлся объектом специального исследования, но явно был знаком, хотя бы и поверхностно, этому автору: а именно, статутами общин итальянского средневековья.

Если обратиться к историческим источникам, датируемым XIII в. в Италии, то можно заключить, что именно в юридических документах термины «вассалы» и «верные», а также просто «люди» употребляются как взаимозаменяемые обозначения вассальных групп.

О конкретных чертах, характеризующих положение вассалов, можно составить представление по статутам общин, так как это не только нормативное право, но, по большей части, интерпретированное, изложенное по казусам, как обычая, так и нововведения.

Рассмотрим пример зависимой средневековой итальянской коммуны, о возникновении которой мы можем судить благодаря статутам — законодательству, предоставленному сеньором. Причем этим сеньором было не светское лицо, а церковь, которая осуществляла т.н. «прямое господство» (*dominium directum*) над обширными территориями важной исторической области — Сабины.

Замок Роккантика, вероятнее всего, существовал уже в первой четверти XI в. в качестве временной резиденции графов Сабины. С

упразднением этого статуса при папе Льве IX пришел в упадок и замок. Возобновление поселения в 1060 г. при папе Николае II надо целиком приписать заслуге Римской церкви, стремившейся сделать замок оплотом своего военно-политического могущества, стратегически важным опорным пунктом Сабины. По мнению П. Тубера, это одна из первых подобных инициатив Римской церкви<sup>21</sup>.

Местные жители именовались «верными» Церкви<sup>22</sup>. Коммунальное развитие замка Роккантика шло также под контролем и воздействием Римской церкви. В 1326 г. ректор Патримония Св. Петра в Тусции и Сабине на основе привилегий, пожалованных Роккантика ранее, учредил статутное законодательство замка и новый режим управления. Как сказано в прологе к статуту, до этого момента люди замка Роккантика не знали никаких элементов коммунального самоуправления<sup>23</sup>.

Прочитав документ, мы можем увидеть тот момент, когда в замке официально утверждалась система административных лиц: должность викария как главного административного лица, а также камерария, военачальника и нотариуса общины<sup>24</sup>. Средства на выплаты жалования должностным лицам, в соответствии со статутном, поступали от местного населения; выборной являлась должность нотариуса и камерария, а викарий же прямо назначался от имени сеньора, т. е. Римской церкви<sup>25</sup>.

Викарию поручалось управлять замком Роккантика «ради славы и верности Римской церкви», что отражалось в словах присяги<sup>26</sup>. В статуте Рокка имела специальная статья, предписывавшая викарию следить за тем, чтобы все укрепления замка находились в сохранности, что показывает значимость этого должностного лица. По поводу возможных злоупотреблений властью со стороны высшего административного лица члены коммуны могли обращаться с апелляциями в епископальную курию Сабини<sup>27</sup>.

Существовал запрет избирать на другие административные должности лиц, неугодных церковным властям<sup>28</sup> и приносить вассальные присяги или отчуждать имущество в пользу магнатов<sup>29</sup>. Жители Роккантика отдавали церкви т.н. «ценз Св. Петра», а плюс к этому выплачивали курии Сабини прокурацию (точная сумма в статуте не указана) и средства на поддержание в порядке церквей, причем все эти сборы производились поочередно<sup>30</sup>. Курии Римской церкви предназначались и все штрафы за причиненный ущерб, взимаемые в замке. Вот те обязанности, которые коммуна несла именно в силу статуса вассалов церкви.

Обратимся теперь к более ранним документам, иллюстрирующим взаимоотношения аббатства Субьяко с окрестными замками<sup>31</sup>. Яркий пример известен по документу, давно опубликованно-

му и введенному в оборот, но не часто используемому. Документ датирован 1193 г. и содержит пункты, регламентирующие обязанности населения замка Субьяко перед аббатом Субьяко, другой (от 1270 г.) – повинности близлежащих замков Рояте и Роккасека перед тем же аббатством, причем только в этом последнем документе жители замков названы вассалами монастыря Субьяко<sup>32</sup>.

В документе от 1193 г., где формально еще никак не зафиксированы вассальные связи замка с аббатством, нет упоминания о клятве верности и не употребляется сам термин «*вассалы*». Но, однако, в этом случае предвосхищены некоторые условия вассальной зависимости людей Рояте и Роккасека, которые появились в письменной форме почти век спустя. Прежде всего, это уплата денежной ассизы, собираемой ежегодно, некие службы, причитавшиеся монастырю издавна, а, кроме того, оказание помощи в случаях, когда монастырь приобретал новые земли и замки<sup>33</sup>. Введение термина «верность»/«верные» в юридические документы происходит не сразу, но характер отношений сторон, видимо, существенно не меняется.

Рассмотрим, насколько схожи черты статуса верных церкви и тех вассалов, которые признавали зависимость от светских сеньоров. В качестве примера мы можем привести примеры общин nobilьских замков, отметив, между прочим, что и светские сеньоры принадлежали к папским непотам.

Проанализируем случаи, когда простолюдины приносили присягу нобилим. Статут замка Виковаро – самый ранний из имеющихся в нашем распоряжении – был составлен в 1273 г. по воле сеньоров Орсини. В прологе статута нотариий указал, что статут был одобрен не только господами, но и жителями замка, хотя, возможно, – это просто риторическая формула. Как всегда в торжественных случаях, жители были собраны перед палаццо сеньора кличем глашатая и колокольным звоном. В качестве свидетелей на церемонии присутствовали такие почетные лица как местный епископ, владелец соседнего замка, видный горожанин ближайшего города Тиволи, а также судья и нотариус<sup>34</sup>. Текст нового установления был зачитан вслух.

Сходную ситуацию можно проследить по примерам замков других родов. Во вступительной части статута Ровиано «*homines*» замка получали напоминание о клятве верности, данной представителю рода Колонна<sup>35</sup>. В статутах Каве и Дженацано «*pedites*» этих замков назывались обычно не термином «вассалы», но просто людьми сеньоров окрестных земель и укреплений, которыми являлись представители родов Колонна и Аннибальди<sup>36</sup>. Интересно, что при введении статута в действие вассалами приносилась, т.о.,



не просто клятва верности сеньору, но клятва соблюдать те условия службы и вассалитета, которые были записаны в статуте или грамоте.

Что касается принесения присяг, то все три категории сеньоров и их верные фиксировали свои отношения в письменном праве. Даже сеньоры, принадлежавшие к рыцарскому нобилитету, не производили никаких сложных церемоний, хотя священные предметы использовались при клятве. Обычно фигурирует клятва на Евангелии, а также вполне прагматическая мера – залог. Нобили-сеньоры за нарушение установленных с вассалами простолюдинами соглашений могли полатиться такой же суммой, как и община подвластного замка, если пренебрегала клятвой.

Простолюдины, как и благородные вассалы, обязывались нести военную повинность<sup>37</sup>. И именно аристократы – владельцы замков стремились привлекать вассалов-простолюдинов к военной службе не только по охране замка, но и в других ситуациях. Неоднократно, например, подчеркивается в статуте Виковаро, что так называемые массарии – простолюдины замка – были вассалами рода Орсини, обязанными им военной службой<sup>38</sup>. Нобили были склонны подчеркивать в местном законодательстве их особый статус. В основном это касалось выгод и привилегий в хозяйственной жизни, свободы распоряжения имуществом, но были и специальные привилегии, касающиеся таких важных основ как гостеприимство и приношения.

Массарии замка Виковаро освобождались от обязанности принимать на постой сородичей хозяев замка, которыми были Орсини. Подобными привилегиями обладали вассалы-нобили других сеньориальных родов, например, нобили замка Каве)<sup>39</sup>.

Интересно также, что в статуте местечке Сгургола, замка рода Казтани, речь шла об освобождении от поборов, и приобретении привилегий «libertas», «franchitia»<sup>40</sup>, но лишь за плату. Таким образом, сеньориальная сторона повышала статус вассалов, не имевших нобильского происхождения.

Также массариям Виковаро позволялось продавать свое молодое вино кому угодно, а всем прочим жителям после того, как распродаст свои запасы курия<sup>41</sup>. В Кампаньяно и Олевано вассалы-простолюдины могли вывозить на продажу плоды своих земельных наделов, но уплатив предварительно побор – габеллу<sup>42</sup>. Массарии замка Ровиано имели исключительную привилегию торговать излишками своего продукта на «территориях» Рима и Тиволи, а это, видимо, были самые выгодные рынки сбыта<sup>43</sup>.

Примечательно, что в документах мы не найдем обилия символических репрезентаций, но лишь подробные перечисления по-

винностей или возможностей замены службы, например, извоза, денежным эквивалентом. Есть и другие примеры любопытные детализации. В соответствии с соглашениями между сеньорами и их «верными» из замка Виковаро обязанность принимать сеньора на постой и натуральные приношения (конопли) – это взаимозаменяемые повинности. Также в определенных случаях постой домохозяев сеньора происходил за плату, причем, если не было уверенности, что сеньориальная сторона внесет деньги, то вассалы могли пропорциональным образом уменьшить приношения и исполнения служб.

Надо отметить, что в правовых документах, происходящих из нобильских сеньорий, встречаются не только обозначения земельных участков «верных» термином «феод» или «часть феода», но нередко такое выражение, как *bona stabilia*. Этот термин обозначает земельные держания, полученные путем феодальной уступки<sup>44</sup>. Но не редки также и термины *proprietas*, *bona hereditaria hereditates*, которые обычно означают «аллод», а вовсе не временное условное владение.

По норме права, любое земельное держание простолюдина было отчуждаемым, т.е., верные могли продать их или завещать, но с рядом ограничений, которые требует специального пояснения. Прежде всего, эти ограничения передачи участка в другие руки исходили от сеньоров, желавших, чтобы земельные держания получали только их вассалы (безразлично, прямые наследники или нет). Примерами может служить законодательство Дженаццано и Каве<sup>45</sup>, а также Кампаньяно<sup>46</sup>. Колонна воспрещали наследование со стороны тех родственников своих вассалов, которые не пожелали бы занять место новых верных, и в этом качестве на условиях службы владеть землей. Сеньоры из рода Аннибальди первоначально запрещали своим вассалам продажу участков даже в пользу других своих верных. И лишь в 1286 г. подобное запрещение было снято, но при этом позволено передавать «*bona feudalia o stabilia*», только в кругу вассалов.

В качестве сеньоров и свидетелей заключения договоров о статусах выступали римские аристократы, не просто имевшие в городе резиденции, но игравшие важную роль в жизни римской цивилизации. Сам термин «римское баронство» требует исторического комментария. Дело в том, что, несмотря на общепринятое значение термина, «баронство Рима» не было связано с уступкой земель в феод непосредственно от верховной власти. Власть баронов распространялась не в землях и замках, уступленных как феодальное владение, а в тех, что на протяжении веков принадлежали могуще-

ственным фамилиям римлян на правах собственности или эфитевзиса.

Именно в этих сеньориях сочетались экономические и юрисдикционные моменты проявления сеньориальной власти, а система вассальных связей, распространенная и на привилегированных жителей, и на простолюдинов, соединяла функции подчинения и защиты населения.

Изучение феномена сеньории решает важный комплекс вопросов, связанных с историей города и замка, взаимосвязи города и контадо. Если мы обратимся к примерам самих этих городов, то увидим, что и для них характерны присяги верности, но уже приносимые коммунальной другой коммуне.

Показателен и исторически важен факт подчинения Риму средневековой городской коммуны Тиволи, наследницы античной цивитас, игравшей значительную роль в социально-политической истории Римской Провинции<sup>47</sup>. Город Тиволи занимал стратегически важное положение, отсюда можно было контролировать сеть важных дорог. Естественно, таким образом, что Тиволи играл роль как локального рыночного центра, так и перевалочного пункта. В средневековье население города достигало трех тысяч. В результате соперничества двух старинных городских центров, городская община Тиволи стала в средневековье зависимой от коммуны Рима.

По договорам Тиволи с Римом от 1257 и 1258 гг. коммуна Тиволи обязывалась уплачивать ежегодно 1000 лир или одну десятую часть совокупного дохода коммуны (в пересчете на особую – римскую – монету – провизины сената)<sup>48</sup>. Сама процедура оглашения договоров тщательно фиксировалась, в записи подчеркивалось как присутствие на церемонии провозглашения договора как обеих общин, так и роль и участие официальных представителей той и другой стороны:

К моменту заключения договора с Римом у коммуны Тиволи уже существовал свод собственных установлений. Однако, по воле общины Рима и ее сенаторов, эти статуты были пересмотрены, явно не в сторону увеличения муниципальных (коммунальных) свобод. Во всяком случае, отныне все нововведения в Тиволи подвергались цензуре со стороны Рима<sup>49</sup>, при этом важнейший пост в городском управлении, который исполнял Comes, переходил к лицу, назначенному коммунальной Рима и римскому уроженцу.

Статуты 1305 г., прошедшие апробацию представителей Рима, уже включали слова о верности и службе римскому народу «ad fidelitatem et sevritium sacri Romani populi», хотя описания самой процедуры и полной формулы принесения присяги в статуте не приводилось<sup>50</sup>. Весьма сходные формулировки о верности и служ-

бе встречаются, когда договор составлялся между двумя общинами, но одна из сторон была представлена коммуной города, а другая – подвластным городу замком. Так было, например, в случае подчинения коммуной города Витербо и замка Фьорентино, практически в те же годы (сохранились и опубликованы документы от 1298 и 1395 гг., представляющие собой запись статутот)<sup>51</sup>.

Земельные владения, принадлежавшие городской коммуне (которые чаще всего фиксируются в источниках термином «*possessiones*»), не являлись, конечно, результатом феодальной уступки или установления отношений господства и подчинения между общинами. Не думаю, что в таких случаях все дело объясняется принципиальной несовместимостью вопросов поземельных отношений и вассальных связей. Там и тогда, когда у сеньориальной стороны были особые ресурсы и возможности влияния, возникала так называемая «сильная сеньория», позволявшая использовать поземельные отношения в связке с обязательствами «верности».

Или же именно сила общины, хотя бы и юридически зависимой, ограничивала стремления сеньора изменить привычный земельный уклад. Но это не означает, что земельный фонд был исключен из сферы отношений зависимости. Можно сказать, что в средневековом обществе любой аспект жизни был связан с землей, поэтому, естественно, зависимость общины, так или иначе, затрагивала и свободу землевладения членов. Нет сомнений, что именно из налогов, налагаемых на земельные владения общинников, формировались фонды выплат, которыми подвластная коммуна была обязана по отношению к более сильной цивилизации.

Итак, важной характеристикой статуса простоллюдинов и целых общин Папской области было наличие вассальных связей между ними и такими сеньорами как нобили (в т.ч. урбанизированные), целые городские коммуны и церковь.

Вопрос т.н. «сеньориального насилия» также требует учета особых казусов и локальной специфики или же расширения круга проблемных задач исследований<sup>52</sup>. В частности, важны особенности состава элит и масштабы накопленных ими в определенный исторический момент ресурсов<sup>53</sup>. При том, что развитие сеньории явно не было линейным, одноплановым, на любом этапе ее эволюции прослеживается определенное смешение различных форм и принципов осуществления сеньориальной власти, в т.ч., и достаточно патриархальных. Видимо, различия интерпретаций одного и того же феномена следует искать, прежде всего, в различиях развития национальных европейских школ историографии, а не только в доступности и репрезентативности источников. Точнее, об-

щий подход и диктует избирательность ученых при работе с базой данных источников.

Будучи итальянистом, я заведомо предполагала, что возникнет проблема различий выводов историка, сформировавшегося в процессе изучения средневекового англосаксонского мира, и моих собственных взглядов и исследовательского опыта. Однако меня вполне удовлетворили построения Рейнольдс, не как опора для будущих исследований, но как основа для преподавания базовых вопросов развития средневековой общины и сеньории. Кроме того, на мой взгляд, значимость труда Рейнольдс по истории общин в том, что исследовательница и в этой работе показывает роль сеньориально-вассальных связей в истории общины.

Многие исследователи темы общины и сеньории не стремятся, показать читателю и даже отдать себе отчет в том, что речь идет об одних и тех же людях и группах людей, вовлеченных в отношения, которые мы определяем как поземельную или личную зависимость, как объединение в коммуну или подчинение сеньории. Однако такую опасную ошибку никогда не совершала Рейнольдс.

И сеньория, и коммунa – это не две четко разграниченные системы, а две игры, которые ведутся на одном и том же поле, причем правила игры составляются и записываются согласно текущей юридической моде.

Недостаточно полным кажется представление о том, что средневековая итальянская коммунa, в том числе и коммунa города, взаимодействовала с сеньориальными структурами. Речь идет о том, что в элиту цивитас входили лица, которые выступали как сеньоры окрестных земель и общин, города как коллективные сеньоры назначали своих должностных лиц для контроля над подвластными общинами контадо, сеньориальный или феодальный строй пересекался с развитием институтов коммун.

Пропасть между миром коммунy и сеньории, является лишь образом, неотъемлемой частью картины истории, которую создали исследователи определенной эпохи. Но возможно найти такую точку зрения, которая не дает увидеть подобного разрыва. Мне показалось важным то, что у Рейнольдс есть широкие перспективы рассмотрения предмета, несмотря на декларируемое развенчание ценности общих исследовательских позиций.

Опыт Рейнольдс является весьма показательным и важным в той историографической ситуации, когда отсутствует общепризнанная, пусть и условная «большая модель описания». Точка зрения Рейнольдс по поводу вассалитета и концепта феодального была выбрана и обоснована в определенный момент развития историографии, связанный с ревизией общих понятий. Тезисы Рей-

нольдс следует признать удачными, не потому, что ее подход может быть использован другими исследователями при изучении любого конкретного исторического материала, но потому, что они породили ряд продуктивных дискуссий. Главное, чтобы эти тезисы не стали противоположным общим местом, т.е. стереотипом.

При этом попытки обвинить именно книгу «Фьефы и вассалы» в изобретении логики номинализма кажутся странным преувеличением. И традиция номинализма, и реализма придают самим своим сосуществованием некий импульс развития исследований. Теперь, когда в среде отечественных медиевистов термин «социальная история» все чаще подразумевает не «социальную историческую реальность, какой она была на самом деле», а способ или метафору изучения истории, странно не искать новые смыслы в старых «словах о главном».

В заключение отметим, что самый традиционный набор источников (как например, использованная в данном очерке источниковая выборка) может показать неоднозначность проявлений исследуемого феномена вассалитета. Но констатируем также, что отдельный исследовательский казус может потребовать совместить в исследовании сферу поземельных и личных отношений, юрисдикционные аспекты и структуры повседневности, аспекты истории общины простолюдинов и развития сеньории, крестьянский и рыцарский миры. При изучении казусов вассальных отношений в Италии необходимо держать в руках все выше названные сюжетные линии, чтобы возникла некая ткань повествования. Соглашмся, что отрицание общих понятий как заведомо несостоятельных, не решает всех проблем. И частные и узкие термины также не гарантируют стопроцентного попадания в область определения специфических черт региональных и локальных проявлений социальных феноменов. Хотя в данный момент не может быть и речи о сохранении широкого понятия «феодализм», правомерно отметить отдельные попытки частично восстановить разрушенные позиции. Видимо, после периода отхода от использования концепта, историкам предстоит обсудить возможность возрождения понятия «феодализм».

---

<sup>1</sup> Il feudalesimo nell'alto medioevo // Settimane di Studi nel Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Spoleto, 2000. Vol. 47.

<sup>2</sup> См. доклад А. Я. Гуревича, публикуемый в этом номере.

<sup>3</sup> См., например, критику концепций феодализма профессора Браун, тезисы которой в 90-е годы развила и усилила С. Рейнольдс. *Brown E.A.R. The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe // American Historical Review* 1974. Vol. 79. P. 1063-88.

<sup>4</sup> *Ganshof F.L.* Feudalism. Toronto 1996. (Medieval Academy reprints for Teaching. Т. 34). Этот пример весьма показателен, поскольку популярный обобщающий труд по истории феодализма был переведен и переиздан в последний раз – более, чем через столетие после рождения автора, человека, рожденного в девятнадцатом столетии и создавшего основные произведения до 60-х годов прошлого века.

<sup>5</sup> Достаточно, например, сравнить итальянские научные справочные издания по истории средних веков 70-80-х г. 20 в. и нач. 21 в., написанные ведущими медиевистами и предназначенные для преподавателей и студентов магистратур гуманитарных факультетов: *Storia d'Italia* /dir. da G. Calasso. 1978-1983 Vol. 1-4; *Storia d'Italia*. Einaudi. 1974. Vol. 2 и *Storia d'Italia medievale* /dir. Da Capitani O. Laterza 2004. В первом случае концепт «феодальный» играет огромную роль, а в последнем – труде под редакцией Овидео Капитани, термин совершенно не фигурирует даже в названиях мелких параграфов.

<sup>6</sup> *Alexander P.* Logic and humor of Lewis Carrol // *Proceedings of the Leeds philosophical Society*. 1951. Vol. 6. P. 551-566.

См. также подробное примечание ко 2-ому стереотипному изданию на русском языке, подготовленному Демуровой Н.М. См.: Приключения Алисы в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье. М., 1991. С. 172-173.

<sup>7</sup> *Reynolds. S.* Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted. New York and Oxford, 1994. P. 119-120.

<sup>8</sup> Отметим, например, что статья Рейнольдс по, казалось бы, частному вопросу (формированию старта профессиональных правоведов) немедленно получила три отклика-рецензии:

The Emergence of Professional Law in the Long Twelfth Century <http://www.historycooperative.org/journals/lhr/21.2/>

*Reynolds S.* The Emergence of Professional Law in the Long Twelfth Century//*Law and history Reviews*. 2003 Vol. 21. No. 2. Summer. P. 347-366;

*Górecki P.* A View from a Distance // *Ibid.* P. 366-37; *Radding. Ch.M.* Legal Theory and Practice in Eleventh-Century Italy// *Ibid.* P. 377-382; *Brand P.* The English Difference: The Application of Bureaucratic Norms within a Legal System // *Ibid.* P. 383-388.

<sup>9</sup> Что было отражено, например, в коллективном труде группы авторитетных медиевистов Италии и Франции: *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X-XI s.)*. Bilan e perspectives de recherches. Roma. 1980.

<sup>10</sup> Я выделяю рецензию, в которой четко обозначена историографическая ситуация, предшествовавшая появлению книги Рейнольдс: *Cheyette F.* // *Reynolds. S.* Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted. New York and Oxford, 1994 (Review) // *Speculum*. 1996. Vol. 71. P. 998-1006. Рецензия доступна в электронном виде на нескольких сайтах, в том числе: <http://www.fordham.edu/Halsall/source/reynolds-reviews.html>: Выделим следующий пассаж: «С. Рейнольдс, должно быть, восприняла с унынием или смиренным недоверием извещение Академии медиевистов о том, что по просьбе ученых следующим томом, который будет напечатан в академической серии, переиздающей важные для преподавания труды

мической серии, переиздающей важные для преподавания труды будет книга Гансхофа «Феодализм», так как в своей книге объемом в 500 страниц, уже не раз прорецензированной, она рьяно спорила именно с Гансхофом и выступала против него. Конечно, нападки на «классическую» книгу Гансхофа, до сих пор являющуюся предметом восхищения, не новы; они были общим местом в беседах, которые велись в кулуарах, когда я едва закончил учебное заведение, а Э. Браун, которой Рейнолдс посвятила свою книгу, подала пример в печати, опубликовав 20 лет тому назад весьма пространную и имеющую очень ясную цель статью».

<sup>11</sup> *Fasoli G. Dalla civitas al comune nell'Italia settentrionale. Bologna, 1961.*

<sup>12</sup> *Reynolds S. Kingdoms and communities in Western Europe 900-1300. Oxford, 1984. 2-nd ed. P. 179-180.*

<sup>13</sup> *Reynolds S. Fiefs and Vassals...P. 17.*

<sup>14</sup> *Reynolds S. Fiefs and Vassals...P. 17:* Историки употребляют понятие вассалитета...чтобы обозначить отношения между сеньором и его свободным или знатым сторонником – вассалом. Поскольку вассал был свободным человеком, то их отношения, хотя и неравноправные, рассматривались ими как добровольные и взаимные...»

<sup>15</sup> Именно поэтому в качестве вводного и обзорного очерка по теме приходской коммуны можно рекомендовать книгу *Reynolds S. Kingdoms and communities in Western Europe...P. 79-100.*

<sup>16</sup> *Ibid. P. 81.*

<sup>17</sup> *Reynolds S. Fiefs and Vassals... P. 119-120:* «Нельзя предположить, что такие абстрактные существительные, как *feo, fevum, feudum* имели устойчивое значение, будучи вырваны из контекста их употребления. Если даже в пределах какого-то контекста допустим определенный смысл термина, это не значит, что данное смысловое значение столь прочно закреплено за термином, что может сохраняться и в других случаях, и в других контекстах. К сожалению, применительно к периоду (900-1100 гг.) из контекста мало что можно прояснить...».

<sup>18</sup> *Cheyette F.* Рец. на кн.: *Reynolds S. Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted. New York and Oxford: Oxford University Press 1994 // Speculum 1996. Vol. 71.* электронная версия: [www.fordham.edu/HALSALL/](http://www.fordham.edu/HALSALL/)

<sup>19</sup> *Бернадская Е.В.* К истории аграрных отношений Северной и Средней Италии XIV-XVI вв. (по материалам провинций Модены и Феррары) // Из истории трудящихся масс Италии. М., 1959; *Брагина Л.М.* Общинное землевладение в Северо-Восточной Италии в XIII-XIV вв. // СВ. 1958. Вып. 12; *Ее же.* Положение крестьянства в Северо-Восточной Италии в XIII-XIV вв. // Из истории трудящихся масс Италии. М., 1959; *Котельникова Л.А.* О формах общинной организации североитальянского крестьянства в IX-XII вв. // СВ. 1960. Вып. 17; *Самаркин В.В.* Эволюция либеллярного держания в Северо-Восточной Италии в XII-XIV вв. // Вестн. МГУ. История. 1964. №3. (Разумеется, официальной мотивировкой исследований являлся интерес к «положению трудящихся масс», а такой феномен как «вассалитет простолюдинов» не мог быть оценен всесторонне).



<sup>20</sup> Reynolds S. *Fiefs and Vassals* ...P. 22 (2.2): «Ссылки на *vassi* или *vassali* не так уж часто встречаются в источниках, как можно предположить при чтении современных трудов по истории средних веков. Они часто встречаются в каролингских документах и были перенесены франкскими завоевателями на итальянскую и германскую почву... Однако начиная с X в. эти термины постепенно вышли из употребления во Франции и Германии, в то время как оба латинских слова продолжали употребляться в Италии. Начиная с XIII в. употребление этих терминов в актах, государственных документах или юридических текстах...как представляется, указывает на распространение нового академического права...». Ibid p. 23.: «Термины *fidelis* и *homo* могут в некоторых случаях употребляться для обозначения примерно того же феномена, который историки имеют в виду, когда говорят о вассалах, но могут употребляться и в другом смысле...»

<sup>21</sup> Toubert P. *Les structures du Latium medieval: le Latium méridional et la Sabina du IX a la fin du XII siècle*. Roma, 1973. P. 402-403.

<sup>22</sup> *Statuti della Provincia Romana*. V.I. Roma, 1910. P. 57: «...considerantes quod universitatis hominum castri Rocche Antiqua comitatus Sabine iam dicti fideles et devoti sancti matris Ecclesie...»

<sup>23</sup> Ibid.: «...quamvis non consueverint statutis vel scriptis legibus municipalibus gubernari...»

<sup>24</sup> Ibid. P. 58 I-II; 59 III-III; 60 VI; 69 XXXV

<sup>25</sup> Ibid. P. 58 I: «Primo quidem decernimus quod universitas predicta...prout per nos fuerit declaratum, nostrum in Roccha predicta vicarium deputandum per nos et successores nostros perpetuo reverenter recipiant...» .

<sup>26</sup> Ibid. P. 18 CXXVIII и P. 58 II.

<sup>27</sup> Ibid. P. 62 XIII. «...Statuimus et ordinamus quod quilibet posit appellare de omni gravmine ad curiam...et ad nostrum curiam Sabinensem...»

<sup>28</sup> Ibid. P. 59 III: «...qui notarius non sit vassalus neque suppositus alicui Romano seu potenti persone...».

<sup>29</sup> Ibid. P. 80 LXVII: «...statuimus quod nulla persona de rocca audeat vel presumat facere aliquod vasalagium seu homagium alicui persone, nec permittat facere alicui persone potenti, nec Romano, universitati, loco vel alicui alio, qui non sit de iurisdictione roche, nec vendat vel alienet bona sua stabilia alicui potenti...».

<sup>30</sup> Ibid. P. 97 CXXVII. «...statuimus quod census Sancti Petri...solvatur per foculare et non per libram...»

<sup>31</sup> *Statuti della Provincia Romana*.v. II. Roma 1930. P.15-25

<sup>32</sup> Ibid. P. 23: «vassalorum monasterii quos ipsum monasterium habet in castris Roiatis et Rocca Sicce...»

<sup>33</sup> Ibid. P.25: «...salvis et reservatis in hiis omnibus servitiis consuetis que monasterium a dictis vassalis recipere consuevit...»; Ibid. P. 24: «...et dicta assisa colecta et electa dicto domino abbati vel eius successoribus in festo predicto Nativitatis Virginis assignabunt...», «...si autem dictum monasterium terram vel castellum aut ecclesiam emerit dicti vassalli sine fraude et moderate de bonis propriis ipsorum ipsi monasterio adiutorium prestabunt...». (Послед-

нее условие также имеет параллели в соглашениях светских сеньоров и их вассалов.)

См. данные пункты по материалам документа из Субьяко от 1193 г.: Ibid. P. 15: «...hac die nostra bona voluntate et communi consensu totius popoli de Sublaco ... ut omnes habitatores dicti castri semper benivoles et devotes in servitio ipsius monasterii et nostro conservemus, talem assisam cum eis facimus, exceptis clericis et militibus»; Ibid. P. 16: «...si tamen nostrum monasterium emerit terram aliquam vel castellum... de bonis propriis populus ... adiutorium faciet...»; Ibid. P.17: «...salvo tamen in his dominio monasterii et nostro, et salvis consuetudinibus antiquitus constitutis in servitiis artificum et operis hominum quas semper monasterium habuit et habere debet...».

<sup>34</sup> Statuti I. Ibid P. 5: «...ad Dei omnipotentis laudem et augmentum honoris domini Francisci Napoleonis, domini Jacobi Napoleonis et domini Mathei Ursi domonorum castri vicovari et pacificum ac tranquillum statum hominum ipsius castri vassalorum eorundem dominorum, congregata universitate et hominibus ipsius castri Vicovarii ad sonum campane et voce preconia ut voris est apud palatium curie castri eiusdem in presentia venerabilis viri domini Iacobi episcopi Tyburtini, Bonicomitis domini castri Canis mortui, domini Philippi de Cellis iudicis, ... mei Raynerii iudicis et notarii et testium subscriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum...».

<sup>35</sup> Statuti II p.46 LXX. «occasione debite fidelitatis»

<sup>36</sup> Исключение зафиксированы в прологе статута Каве 1307 г. Statuti I. P. 29 и далее в специальных статьях (см. ниже)

<sup>37</sup> Статут Каве 1305 г. наиболее емко формулирует статус вассалов рода Колонна в соотношении со статусом оруженосцев, приближенных, уполномоченных этих же сеньоров:

Statuti I P. 41. LXI: «item quod si aliquis vassalorum offendit aliquem de scotiferis dominorum puniatur vice qualibet ut puniri debetur ac si offenderisset unum de aliis de terra, si vero offenderit domicellum dominorum, puniatur in duplo eius pene que imponentur si offenderisset alium de terra, si vero socium dominorum seu vicecomitem offenderit, triplicetur pena...(si) castellanum offenderit quadruplicetur pena...»

<sup>38</sup> Ibid P. 8 XV. P. 5: «... ad tranquillum statum hominum ipsius castri vassalorum eorundem dominorum».

<sup>39</sup> Ibid P. 11 XXXX: «...et lectos facere non teneantur nec occasione lectorum alicuius de familia vel alterius, aliquis pannus de domo massarii extrahatur vel auferatur, sed solum tabernarii et hospites teneantur eos hospitare et eisdem lectos facere recipiendo a curia quantum recipient ab aliis...»; p.19 IIII: «Item quod dicti nobiles non teneantur facere lectum familiaribus domini dicti castri nec lectum pro eis et aliis quibuslibet ad curiam mittere. Set si aliquis nobilis seu socii cum domino venerit quisque recipiat eum et faciat lectum, u test consuetum; et si contra fecerent solvant pro pena tres sollidos».

<sup>40</sup> Regesta chartarum. Regesto delle pergamene dell'archivio Caetani / a cura di G. Caetani. Perugia – San Casciano Val di Pesa, 1922-32., II. P. 130. Этот пример относительно статусных различий владельцев наделов на землях римских баронов подробно цитирует и разбирает С. Кароччио См.:

*Carocci S.* Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento. Roma, 1993. P. 496 (Collection de l'Ecole française de Rome, 181). P. 232. n 139.

<sup>41</sup> Statuti I P. 9 XXII. «si curia haberet aliquid vendere de rebus suis, videlicet de blado vel vino, nullus de terra interim vendere debeat quousque curia vendiderit...»

<sup>42</sup> Statuto di Olevano Romano del gennaio 1364 / a cura di V. La Mantia. Roma 1900.XXXII. P. 9.

Statuto di Campagnano del secolo decimoterzo ASRSP. № 14, 1891. P. 60.

<sup>43</sup> Statuti II, XXXXXXIII.

<sup>44</sup> Убедительный сравнительный анализ документов приводится Кароччи, в примечаниях к разделу Proprieta e gestione delle terre монографии Baroni di Roma. Особенно: *Carocci S.* Op. cit. P. 214.

<sup>45</sup> Как в случае замка Дженаццано — сеньории рода Колонна ( Statuti I. P. 131-132 XII: «si aliquis moriretur habens filios vel nepotes ... vel fratres existentes in castrum Genezani libere moriantur eis, dummodo essent vaxalli dominorum vel si non essent vaxalli ... et vellent iurare vaxalliaquum dominis possint defuncto succedere, ut dictum est».)

<sup>46</sup> Statuto di Campagnano ASRSP. № 14. 1891. P. 78-80.

<sup>47</sup> *Beloch K.I.* Bevölkerungsgeschichte Italiens. V.II. Berlin, 1937. S. 56.

<sup>48</sup> Statuti I. P. 264: «...homines Tiburis dabunt annuatim et in perpetuum comuni Urbis millenas libras provisinorum senatus vel decimam partem omnium proventuum comunis et hominu»

<sup>49</sup> Statuti I. P. 267: «...ordinamenta et statuta Tiburis per comune Urbis hactenus corecta...et si que de nuovo per comune Tiburis fierent, per comune Urbis corrigantur...»

<sup>50</sup> Statuti I. P. 153: «... infrascripta capitula statuta et ordinamenta condita et facta fuerunt per communem et populum civitatis Tyburtine in publico parlamento in platea maioris dicte civitatis ad hoc ut dicta civitatis conservetur illa ad fidelitatem et sevrutium sacri Romani populi»

<sup>51</sup> Statuti I. P. 335: «...Ad honorem et reverentiam et fedelitatem potestatis comune et consilium civitatis Viterbii et Octo de populo eiusdem civitatis et paceficum et tranquillium Castri Florentini...»

<sup>52</sup> (См., напр.: *Barthélemy D.* La théorie féodale à l'épreuve de l'antropologie: Note critique// *Annales: HSS.* P., 1997. T. LII. P. 321-341. Кроме того, существует непримиримое противоречие интерпретаций, принятых во французской и итальянской историографии. Картина формирования сеньории в представлениях итальянских исследователей несходна с различными интерпретациями процесса, принятыми во французской историографии<sup>52</sup>. Речь идет не о нескольких десятилетиях, а о веках. Итальянская историография прослеживает формирование сеньории с рубежа VIII-IX вв. до XIII-XIV вв. При этом с ранних веков ее существования исследователи отмечают черты, характерные для французского варианта развития территориальных структур организации. Подробнее об этом историографическом споре я высказывалась в краткой публикации. *Селунская Н.А.* Эта банальная банальная сеньория// *Средние века.* М., 2004. Вып. 64. С. 61-74.

<sup>53</sup> Специфика римской элиты и способов ее влияния в римской округе, на мой взгляд, лучше всего описана в серии работ Сандро Кароччи, которые мало известны российским медиевистам, как, впрочем и специалистам за пределами Италии. См.: *Carocci S. Genealogie nobiliari e storia demografica. Aspetti e problemi (Italia centro-settentrionale, XI-XIII secolo)* // *Demografia e società nell'Italia medievale* / A cura di R. Comba e I. Naso. Cuneo, 1994; *Idem. Assetto familiare, politica matrimoniale e regime successorio dei baroni romani (Duecento e primo Trecento): cenni complessivi*, in *La popolazione di Roma dal medioevo all'età contemporanea: fonti, problemi di ricerca, risultati* / A cura di E. Sonnino. Roma 1998. P. 221-227.

## **НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ ВИЗАНТИИ В ИХ СРАВНЕНИИ С ЗАПАДОМ**

Доклад А.Я. Гуревича «Феодализм перед судом историков» посвящен пересмотру некоторых аспектов (и, во всяком случае, их уточнению) понятия «феодализм». К этому автора побуждает обобщение современных исследований за последние десятилетия, а также изменение исследовательских приоритетов: больший интерес к человеку, его деятельности, менталитету. Нам хорошо известно, что в прошлые десятилетия понятие «феодализм», имевшее множество определений в рамках различных школ по теории истории, зачастую без разбору широко употреблялось для обозначения разных социально-экономических, правовых и ментальных процессов в различных регионах средневекового мира. А.Я. Гуревич называет средневековую эпоху крестьянской цивилизацией. Нам представляется, что при известной акцентировке исследовательских проблем крестьянской цивилизацией можно было бы назвать империи древности, а также античную Грецию и Рим. Очень многое здесь зависит от определения самого содержания понятия «цивилизация», которое в современной теории истории не является однозначным<sup>1</sup>.

Средневековую эпоху в наши дни называют также традиционной, доиндустриальной, а с недавнего прошлого еще и доинформационной<sup>2</sup>. О названиях, как известно, уславливаются, необходимо только четко определить их содержание и придерживаться соответствующего определения в процессе дальнейшего рассуждения.

В целом проблема, связанная с определениями, характеристикой и наименованиями, относящимися к специфическим проявлениям масштабных пространственно-временных исторических общностей, требует специального рассмотрения. Цель данной статьи более скромная. Она заключается в акцентировке некоторых проявлений социально-правовых, экономических и ментальных отношений Византийской империи, игравшей в Средние века огромную роль не только в рамках восточного христианского мира, но и во взаимоотношениях с Западом. Одновременно представляется целесообразным подчеркнуть определенные черты сходства и различия Византии и Запада. Именно, компаративистский подход к решению кардинальных исторических проблем присущ совре-

менной методологии истории. Особое внимание мы постараемся обратить на те явления средневекового Запада, которые рассмотрены в докладе А.Я. Гуревича и относятся к положению крестьян и крестьянской общине.

В докладе отмечается значительная распространенность и большая социальная роль свободного крестьянства на средневековом Западе. Констатируется отсутствие на раннесредневековом Западе той общины-марки, наличие которой признавалось в трудах многих историков XX в. Точнее, говорится о достаточно позднем появлении элементов подобной общины (X–XI вв.). Известно, что аналогичные выводы делали историки и юристы-романисты в XIX, начале XX вв. Фюстель де Куланж, а позднее Э. Леви, ссылаясь на ранние западноевропейские правовые сборники, представлявшие собой сплав местного и римского вульгарного права, в том числе на кодекс Феодосия, показывали, что отдельные казусы совместного пользования со стороны крестьян угодьями не свидетельствовали о распространении коллективной собственности, они являлись результатом добровольной кооперации, имевшей место в отдельных случаях, и регламентировались различными видами римского права на чужую землю, временными соглашениями, а иногда сервитутами<sup>3</sup>.

Если в докладе А.Я. Гуревича большое внимание уделяется ментальности средневековых крестьян, то нам хотелось бы акцентировать роль римского права на средневековом Западе. Правовые источники свидетельствуют не только о том, что крестьянская земельная собственность и крестьянское землепользование регламентировались местным и римским вульгарным правом. Римское право с его почитанием закона, который рассматривался как отражение естественного закона, основанного на высшей справедливости, а также с уважением к обычаю, приравниванием обычая к закону, способствовало (наряду с другими экономическими и политическими факторами) созданию традиционного правопорядка как на средневековом Западе, так и в Византии<sup>4</sup>. Римское право повлияло на Западе даже на формирование христианства. Представители западной патристики – Тертуллиан, Августин – внесли в веру рациональность<sup>5</sup>, что отличало западную патристику и богословие от восточного христианства, испытавшего влияние греческой эмоциональной культуры.

Чтобы показать особенности ментальных структур Средневековья, А.Я. Гуревич апеллирует к исландским источникам, где в наиболее отчетливой форме отражены те особенности, которые в более завуалированном виде существовали и в других регионах Запада. Мы позволим себе для характеристики особенностей соци-

альных структур Средневековья обратиться к истории Византии, где в силу существования сильной государственной власти, восходившей к режиму домината в Риме, преемственности римского права, причем в его классическом, а не вульгарном виде, на протяжении всей истории империи в отчетливой форме можно обнаружить существование и роль свободного крестьянства. Таковыми являлись и мелкие собственники земли, и лично свободные, но поземельно зависимые, т.е. держатели чужой земли – парики, а также арендаторы, близкие по своему правовому и социально-экономическому статусу к античным колонам. Положение этих категорий населения регламентировалось римско-византийским нормативным правом, а также в значительной мере византийским правом прецедентов. Византия, благодаря роли названных факторов, восходивших к римским порядкам, была с точки зрения аграрного строя более традиционным обществом, чем Запад, и оказалась ближе к «идеальному типу» крестьянских отношений Средневековья (если позволительно в данном случае применить понятийный аппарат Макса Вебера).

Характерно, что Византийская империя, с ее восходящей к Риму развитой фискальной системой, остро нуждавшаяся в разные периоды своей истории в налоговых поступлениях, принимала энергичные меры по сдерживанию и регламентации процесса вовлечения свободных собственников мелкого крестьянского типа не только в личную, но и в поземельную зависимость от представителей чиновной аристократии и монастырей, располагавших податным иммунитетом. Согласно Кодексу и новеллам Юстиниана, в ранней Византии запрещался частный патронат по отношению к свободным крестьянам<sup>6</sup>. Известна серия знаменитых императорских новелл X–XI вв., в которых динатам запрещалось скупать крестьянскую землю<sup>7</sup>. В этом отношении большой интерес представляет уникальный византийский источник – сборник постановлений процессуального права XI в., составленный магистром Евстафием Ромеем и известный в византиноведении под названием «Пира» (практика)<sup>8</sup>. Сборник содержит свод опирающихся на Вассилики судебных решений по поводу земельных тяжб крестьян с динамами. Примечательно, что в соответствии с требованиями императорской политики по сохранению крестьянской собственности, обязанной уплатой налогов, большая часть судебных казусов решалась в пользу истцов-крестьян. Многочисленный актовый материал, относящийся к поздней Византии (XIV–XV вв.), показывает, что множество крестьян в этот период, даже не являясь собственниками, а будучи держателями чужой земли на паричском праве, сохраняли юридическую правоспособность. Императорские

новеллы X–XI вв., т.е. эпохи расцвета империи, ярко отражающие фискальную политику властей, направленную на поддержание экономического потенциала государства, не сохранили, однако, своего статуса нормативного права в последующую эпоху усиления центробежных тенденций. Эти новеллы в дальнейшем рассматривались как право прецедентов, т.е. как постановления, отражавшие старинные законы и обычаи, к которым можно было прибегнуть в случае необходимости. Поэтому в период обострения внешней обстановки и финансового кризиса XIV–XV вв. императоры обращались именно к праву прецедентов. Так случилось, например, при отобрании фискальных привилегий у ряда владений некоторых крупных монастырей и даже конфискации этих владений. Известно, что в Римской империи фиск имел право конфисковать любую собственность. И это правило являлось имплицитной основой для развития соответствующего права прецедентов, повлиявшего и на новеллы X–XI вв., и на позднейшую практику конфискации монастырских земель<sup>9</sup>.

Итак, в условиях централизованного византийского государства лично свободное крестьянство не только существовало, но и играло огромную роль в развитии фискального права, основанного на разветвленной налоговой системе политического режима Византии. Слой лично свободных крестьян, как и в Римской империи, и на средневековом Западе, был крайне неоднороден. Среди них были непривилегированные собственники земли, уплачивавшие налоги непосредственно государству, физические владельцы чужой земли и домов на правах эмфитевсиса, хресиса, суперфиция; держатели на паричском праве земель, принадлежавших крупным привилегированным собственникам, а также арендаторы, платившие частнопроводную арендную плату. Все эти категории, лично свободные, имели прочные гарантии своих прав, обладали исковой защитой.

Византийская община – это далеко не марка с функциями обязательной регламентации систем землепользования. Община носила, безусловно, прежде всего фискальный характер. Она использовалась государством при налогообложении в целях перекалывания податной ответственности за покинутую крестьянскую землю на соседей. Случаи простой производственной кооперации при использовании крестьянами земельных угодий встречались, как в любом обществе в различные эпохи, однако они были временными, добровольными, основывались на взаимном соглашении и регламентировались обязательственным римским правом, а также иногда правом совладения и правом близости.



Что же касается крупной привилегированной земельной собственности, то, согласно нормативному римско-византийскому классическому праву, в Византии преобладала римская, так называемая «полная» собственность на землю. На практике она, как и в римскую эпоху, была отягощена рядом правовых (например, сервитуты) и социально-экономических ограничений.

Наряду с этим структура крупной, прежде всего монастырской собственности была достаточно сложной. От основного собственника зависел ряд временных и постоянных владельцев – физических и юридических лиц. Взаимоотношения всех членов этой иерархии регламентировались римским правом.

В целом Византия и Запад – это два вида средневековых цивилизаций, в разной мере восходивших к единому античному прошлому. Под цивилизацией мы подразумеваем совокупность функциональных и корреляционных связей между социально-экономическими, культурологическими и правовыми факторами. Всякое изменение тесноты названных связей или их социальных ролей – симптом развития цивилизации<sup>10</sup>. Эта теснота и эти роли, как и мера античного воздействия, отличали византийскую и западную цивилизации. Современное сравнительное изучение этих цивилизаций предполагает акцентирование актуальной сегодня проблематики.

Если в прошлые годы ученые подчеркивали преимущественно различия двух названных цивилизаций, то в настоящее время целесообразно подчеркнуть и их сходство, как проявление единой христианской цивилизации, имевшей более или менее явные античные корни, а также сходные институты, находившиеся на разных ступенях развития. Подобная научная позиция отвечает современному теоретическому глобалистскому подходу в историческом знании. В этой связи существенно то, что проблема «Запад–Византия» в своих религиозных, культурологических аспектах волнует в настоящее время широкую научную общественность, и не раз обсуждалась, например, на страницах журнала «Вопросы философии». Отдельные ее решения проецируются на современные реалии. Поэтому было бы желательным провести широкое обсуждение соответствующей проблемы в рамках исторической науки, затрагивая не только вопросы судеб восточного и западного христианства, но и акцентируя особенности повседневной жизни и права Византии и средневекового Запада в целом.

Интересный и очень содержательный доклад А.Я. Гуревича имеет два фрагмента, по поводу которых хотелось бы выразить частичное несогласие. В частности, в докладе говорится о том, что понятие классово-борьбы в эпоху Средневековья в отечественной

литературе прошлых лет переоценено. Думается, что названное понятие по отношению к средневековой эпохе отнюдь не устарело и не переоценено, хотя, может быть, заслуживает юридически более точного определения, заимствованного из области современной поведенческой науки: противостояние интересов, социальных сил, конфликт, кризис. Естественно, всякая социальная стратификация, особенно юридически оформленная, связана с явным или неявным социальным противостоянием, основанным на столкновении интересов, целей и ценностей. При известных социальных условиях подобное противостояние перерастает в конфликт и кризис. Примеров тому в средневековом обществе, как на Западе, так и в Византии, предостаточно.

Особенность Византии заключалась в том, что успехи и поражения групп в рамках названных противостояний и борьбы в немалой степени зависели от того, насколько успешно властвующая элита манипулировала политическими и социальными сознанием и силами. Внутренняя социальная политика правящей элиты в Византии, которую Иоанн Дамаскин называл практической философией, находилась в центре византийской политической теории. В эпоху X–XI вв., т.е. в эпоху расцвета византийской государственности, эта политика отличалась, как говорилось выше, значительными успехами.

Власть энергично боролась за сдерживание темпов поглощения обремененной налогами земельной собственности крестьян со стороны обладающих податным иммунитетом чиновной аристократии и монастырей. В эпоху поздневизантийского кризиса власти теряют инициативу, экономические процессы развиваются более спонтанно. Решения отдельных императоров отличаются противоречивостью. Развитие сильных центробежных тенденций характеризуется, в частности, расцветом крупного привилегированного землевладения, имевшего податные привилегии. При этом крупные чиновники и военачальники получали в качестве жалования денежные отчисления из налоговой квоты с определенной принадлежавшей фиску территории, заселенной поземельно зависимыми, но лично свободными крестьянами-налогоплательщиками. Эта практика именовалась *пронией* (попечение). Ее первоначальный социально-политический смысл заключался в стремлении властей сохранить контроль за налогообложением, воспрепятствовать частноправовой деятельности чиновников в отношении податного населения. Однако в XIV в. у *пронияров* наблюдается тенденция к расширению своих ранее ограниченных прав за счет приобретения экономических прерогатив по отношению к территории, с которой им были пожалованы налоги. Но и в эту кризисную эпоху визан-

тийские власти стремились проконтролировать и смягчить возникшее противостояние между государственными фискальными интересами, совпадавшими в данном случае с интересами крестьян, и частноправовыми интересами аристократии.

Усилия государства были отчасти успешны, прония не получила оформления в нормативном праве и регламентировалась правом прецедентов. Это означает, что права каждого прониара были индивидуальны, зависели от его личного положения и воли императоров, и определялись императорскими предписаниями. Империя, несмотря на ослабление центральной власти, как и ранее, пыталась подчинить институт пронии, не уместившийся в рамки нормативного права, традиционному фискальному, восходящему к государственной власти правопорядку.

Далее, нам представляется спорным мнение, согласно которому отечественные историки в прошлые десятилетия были склонны преувеличивать роль и размеры внеэкономического принуждения средневековых крестьян. Думается, что по преимуществу нормальной считалась следующая ситуация: представители господствующего класса изымали у крестьян часть прибавочного продукта, тогда как другая его часть и необходимый продукт оставались в распоряжении крестьян и употреблялись, с одной стороны, на воспроизводство самого крестьянского хозяйства, а с другой – на личные нужды крестьянской семьи. Подобная точка зрения высказана, в частности, в статье С.Д. Сказкина и М.Н. Меймана, опубликованной в «Вопросах истории» в 1954 г. и посвященной основному экономическому закону феодализма<sup>11</sup>.

В целом для Средневековья, как известно, было характерно преобладание слоя крестьян среднего уровня зажиточности – обладателей так называемого полного или нормального надела (манс, виргата, соха, зевгарь). При всей неопределенности средневековой метрологии соответствующие наименования призваны были обозначить надел, который крестьянская семья была способна обработать собственными силами. Понимание экономического значения такого надела, как свидетельствует 162-я новелла Юстиниана, было характерно уже для ранней Византии. При этом обнаруживается связь с аграрными порядками и экономической мыслью Римской империи. В новелле говорится, что свободные колонны, обязанные уплатой налогов и потому лишенные права свободного перемещения, могут получить это право, если приобретут землю в количестве, которое они в состоянии обработать собственными силами. Эта новелла по сути содержит экономические принципы определения свободного крестьянства.

Основываясь на собственном исследовательском опыте по применению количественных методов для измерения степени имущественного расслоения византийских крестьян XIV в., мы хотели бы отметить следующие особенности расслоения крестьян, характерные для эпохи Средневековья в целом. Процессам имущественного расслоения средневековых крестьян, в отличие от подобных процессов в Новое время, не была присуща интенсивная концентрация земли и другого имущества. Они могли покупать и продавать землю, но контрагентами зачастую выступали представители крупного привилегированного землевладения, а также горожане. Обеднение и обогащение отдельных крестьян, как отмечалось, сопровождалось прочной тенденцией к длительному преобладанию слоя крестьян средней зажиточности. Нарушение этой тенденции означало кризис средневековых порядков. Поэтому мы пришли к выводу о том, что для измерения степени имущественного расслоения средневековых крестьян нельзя применять коэффициенты, используемые в эконометрии и предназначенные для измерения степени имущественной концентрации. Их использование означало бы экстраполяцию на изучение средневековой истории научных критериев, разработанных на материале более поздней эпохи. Названные особенности расслоения средневековых крестьян побудили нас к выработке специального коэффициента, который бы их учитывал<sup>12</sup>.

Исследование, проведенное на материале византийских источников, подтвердило гипотезу, высказанную на основе качественного визуального анализа тенденций аграрных порядков Средневековья, об умеренном диапазоне такого расслоения, связанного со слабыми темпами вымывания слоя крестьян средней зажиточности. Этот слой оставался ключевой фигурой аграрно-правовых отношений эпохи в целом. Применение количественных методов позволило упорядочить огромный числовой материал, а именно – поставить каждому крестьянскому поселению в соответствие количественный аналог. Сопоставление этих аналогов позволило выявить не только тенденцию, но и темпы развития процесса во времени и пространстве, т.е. углубить сравнительный анализ соответствующего материала.

Думается, что применение новых методов не в меньшей степени, чем постановка новых проблем, должно вывести современную медиэвистику на новый путь глобальных компаративистских исследований, осуществленных в рамках серьезных исследовательских проектов.

- <sup>1</sup> Современные теории цивилизаций. Реферативный сборник ИНИОН. М., 1995; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. 1994. № 1; Huntington S. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. New York, 1996.
- <sup>2</sup> Рейман Л.Д. Информационное общество и роль телекоммуникаций в его становлении // Вопросы философии. 2001. № 3. С. 3.
- <sup>3</sup> Фюстель де Куланж Н.Д. История общественного строя древней Франции. Т. IV. Спб., 1907. С. 207 сл.; Levy E. West Roman Vulgar Law. The Law of Property. Philadelphia, 1951. P. 85.
- <sup>4</sup> Хвостова К.В. Особенности византийской цивилизации. М., 2005. С. 7.
- <sup>5</sup> Халем Ф. фон. Историко-правовой аспект проблемы Восток-Запад // Вопросы философии. 2002. № 7. С. 26.
- <sup>6</sup> Corpus Juris Civilis. Berolini, 1954, vol. II: Codex Justinianus / Rec. Krueger P. XI. S. 4; vol. III: Novellae / Rec. Schoell R., Kroll G. XXX. 5.
- <sup>7</sup> Lemerle P. The Agrarian History of Byzantium from the Origin to the Twelfth Century: the Sources and Problems. Galway, 1981.
- <sup>8</sup> Липшиц Е.Э. Законодательство и юриспруденция в Византии IX–XI вв. Л., 1981. С. 121 сл.
- <sup>9</sup> Хвостова К.В. Особенности византийской цивилизации... С. 13.
- <sup>10</sup> Там же. С. 5.
- <sup>11</sup> Сказкин С.Д., Мейман М.Н. Об основном экономическом законе феодальной формации // Вопросы истории. 1954. № 2.
- <sup>12</sup> Хвостова К.В. Количественный подход к средневековой социально-экономической истории. М., 1980. С. 70-72; Chvostova K.V. Die Theorie der Sozialökonomischen Differenzierung feudalabhängiger Bauern und das Problem ihrer teilweisen Formalisierung // Wirtschaftsgeschichte und Mathematik. Berlin, 1980. S. 15-19; Хвостова К.В. Количественные методы в истории // Вопросы философии. 2002. № 6. С. 62-63.

## **СИСТЕМА И ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ**

Доклад А.Я. Гуревича, ставший объектом внимания участников нашего научного собрания, посвящен теме, которая, по справедливому замечанию автора, не заботит или мало заботит отечественных специалистов. Подобная ситуация объясняется как общими тенденциями в развитии исторического знания, так и спецификой отечественной медиевистики, которая пока не преодолела решительного стремления уйти от тем общего характера и социально-экономической истории в проблемы духовной, культурно-политической истории и микроистории, – стремления, связанного с глубиной протеста против некогда официальной методологии «советского марксизма».

Если иметь в виду общее состояние исторического знания, то здесь, очевидно, следует отметить издержки, неизбежные при всяких существенных изменениях в подходах и объектах научного исследования, которые рождают и делают предпочтительными новые темы. Сегодня это проблемы духовной жизни и сознания средневековых людей, часто изучаемые в контексте текстологического анализа (современная интерпретация средневековой интерпретации действительности). Упомянутые нами издержки в науке связаны, естественно, не с новыми темами, обогащающими ее, но со стремлением утвердить только их право на существование. В нашей среде многие медиевисты, выбирая в широкой палитре комплексного и весьма перспективного направления исторической антропологии подобные сюжеты, в частности в рамках микроистории, к сожалению, уходят от желания не только исследовать явления общего характера, но даже признавать необходимость системного видения и системных характеристик. Интерес к ним в лучшем случае снисходительно допускается в связи с прагматическими задачами преподавания, как это случилось с толкованием явления и термина «феодализм». При этом неизбежно игнорируется философский аспект исторического анализа.

А.Я. Гуревич, известный своими работами в области исторической антропологии, которые внесли заметный вклад в оформление самого направления и способствовали переоценке ряда сущностных явлений, характерных для Средневековья, – касающихся особенностей собственности и природы социальных связей, а также

системного видения средневековой культуры, – в докладе исходит из понимания феодализма как концепт-явления, отразившего основное содержание средневековой истории. К сожалению, автор не раскрыл своего видения феодализма как целостного образования. Тем не менее, я рассматриваю доклад как призыв к новому синтезу, столь необходимому и желательному для нашей науки сегодня.

Пользуясь приглашением А.Я. Гуревича к публичному разговору, я позволю себе высказать собственное мнение относительно общей характеристики феодализма и возможности его системного рассмотрения.

Сегодня наука располагает некой суммой более или менее устоявшихся представлений об уровнях этого комплексного явления. Основные из них следующие:

1. экосистема, связанная с природой собственности и характером производства в аграрном и ремесленном секторах экономики, а также основным типом мелкого производителя, владеющего орудиями труда;

2. социосистема, со сложным переплетением реальных и одновременно персональных социальных связей – сеньориально-вассальных, протекционистских, семейных и клановых; связей личной и поземельной зависимости крестьянина от феодала, разнообразных корпоративных связей в общине, цехе, гильдиях и сословиях. Все они в той или иной мере получали правовое оформление;

3. политическая система с меняющим свою природу властным полицентризмом: авторитарная власть монарха и земельного собственника, власть-автономия корпорации и сословия. При этом последняя структура только теснила авторитарную власть сеньоров, не перекрывая ее до конца и умножая полицентризм;

4. духовная структура, с ее выраженным, хотя и не монопольным трансцендентным вектором. Важными факторами структуры были монотеистическое христианство в форме католичества; церковная организация и ее особая роль в обществе; ментальность средневековых людей и созданная ими система ценностей, в которой присутствовали как повторяющиеся общие особенности, так и особенности, отличающие сословную принадлежность общности и личности.

Приведенная нами характеристика дает вариант развинченного на отдельные детали живого организма, который может существовать только во внутренних связях составляющих его компонентов, или подсистем. Именно в этом смысле я считаю возможным говорить о феодализме как системе, но непременно в ее обновленном качестве. Его могли бы обеспечить несколько эпистемологических

достижений, получивших признание в современном историческом знании.

В их ряду я бы в первую очередь назвала новое решение вечно-го вопроса о соотношении материального и духовного начал, преодолевшее, наконец, их традиционную альтернативу, будь то в ее идеалистической или материалистической форме. Эту принципиально важную новацию, провозглашенную первыми «Анналами», А.Я. Гуревич в свое время определил формулой – «материальное в духовном и духовное в материальном»<sup>1</sup>. Она радикально изменила прежние представления о причинности и в целом о характере внутренних связей в общественной системе, усложнив понимание ее комплексности и целостности.

Заслуживает быть отмеченной легализация современной научной принципа относительности (в его взвешенной форме) применительно к историческому процессу и в эпистемологии. Этот принцип, который Л. Февр назвал «великой драмой человеческой истории», объясняет и побуждает принять факт вариативности развития и бесконечности исследовательского поиска, не позволяя догматизировать модель<sup>2</sup>.

В качестве условий корректировки системного анализа я бы подчеркнула идею разных «временных ритмов» (А. Берр и Ф. Бродель), которая позволяет ранжировать явления по их принадлежности к «долгой протяженности» или «короткому времени», определявших специфику их сущности и формы проявления этой сущности<sup>3</sup>. С этим условием связана необходимость и желательность соединения в анализе системно-стадиального и системно-цивилизационного подходов. Принадлежность последнего «долгому времени» может многое объяснить в особенностях стадиального этапа, благодаря обращению к анализу исторического наследия народа, общей динамики его развития и специфики ментальности. Цивилизационные особенности накладывали свою печать на стадиальную специфику общественной структуры.

И, наконец, последнее – необходимость признания внутренней гетерогенности общественной системы, неизбежно связанной с ее многоукладностью, – проблема, затронутая автором доклада в его характеристике «крестьянского мира», которая дополняет наше представление о феодализме.

Очевидно, что в любой общественной системе, лицо которой определяет «ведущий уклад», этот последний сопровождается шлейфом старых общественных отношений и сосуществует с новыми, которые могут в перспективе на каком-то этапе стать ведущим укладом. В характере их соотношений, в степени выраженно-



сти, в динамике и глубине изживания старого как раз и сказываются цивилизационные особенности общности.

С учетом этих поправок представление о системе как форме общественных отношений, созданное на основе позитивных данных, остается более или менее гибким результатом логической операции. Система-модель как итог обобщающей работы ума, создает образ общества в предельной форме его выражения, служит средством постижения сути этого явления и его идентификации. В таком контексте максимальное совпадение модели в целом, в нашем случае именуемой феодализмом, или ее отдельных компонентов с реальным вариантом будет демонстрировать только исключительный случай, но не типичный и, следовательно, не массовый.

Завершая эпистемологическую часть выступления, хотела бы уточнить свое отношение к тоже критикуемому, подобно системному подходу, понятию «феодализм». Оно не является ни отрицательным, ни уничижительным и не связано с желанием придумать какое-то другое понятие, или вообще обойтись без такового. Устаревает, как правило, не понятие, а толкование его содержания, которое должно обновляться. Привычный нам термин разделяет недостаток любого общего понятия, которое всегда условно. Его даже отличает известное преимущество, так как термин появляется в эпоху позднего Средневековья и, главное, восходит в своей этимологии к документальным свидетельствам социальной практики, знаменуя важный поворот в историческом знании того времени – интерес к социальной жизни, в частности, в восприятии «средних веков». Впрочем, предъявление к понятию требования быть непременно примененным или придуманным его современниками мне кажется излишним и нереальным. В этом можно убедиться, читая труды современных философов или культурологов, которые отмечают постепенность в эволюции человеческого сознания. Возможность появления в ходе эволюции автомодели, то есть осмысления системы или ее компонентов изнутри, на этом основании, лежит за рамками Средневековья.

Вторая часть нашего выступления касается главной темы доклада А.Я. Гуревича, посвященной «крестьянской цивилизации» или «крестьянскому миру». Автор поднимает значимость «нейтральной социальной страты», не подпадающей под генеральный процесс в условиях генезиса феодализма и далее, в целом для феодальной системы подчеркивает факт наличия в последней особого «крестьянского мира», который, по его словам, будучи основой всех феодальных феноменов, – отнюдь не поглощается ими и обладает собственной ипостасью. Эта позиция мне представляется чрезвычайно интересной и плодотворной. Единственное пожела-

ние сводится к более определенному выделению в тексте этих разнорядковых этапов в эволюции средневекового крестьянства. Как бы нам ни хотелось, чтобы этот мир свободных независимых общинников, трудящихся субъектов, существовал возможно дольше, он постепенно исчезал, подпадая с большей или меньшей завершенностью под генеральную линию развития.

В этой связи нельзя не вспомнить о разработках А.И. Неусыхиним проблемы «дофеодального» периода. Он корреспондировал его довольно протяженной истории соседской общины, доказывая самодостаточность этого переходного периода, чем вызвал критику со стороны «ревнителей формационного благочестия»<sup>4</sup>. Спустя много лет один из отечественных медиевистов – В.Г. Безрогов, обратившись к истории Ирландии III-VIII вв., убедительно подтвердил справедливость попытки А.И. Неусыхина<sup>5</sup>. Этот осколок кельтского мира на границах Римской империи, население которого не подвергалось римской колонизации, подобно своим собратьям галлам и бриттам, избежал этнических встрясок периода Великого переселения германских народов вплоть до конца VIII в., когда на его территории появились скандинавские завоеватели. Ирландская общность застыла в пробеге длительного времени (III-VIII вв.) на уровне бесклассового общества, с высокой степенью хозяйственного развития в области земледелия и ремесла, достигшего уровня межотраслевых и отраслевых корпораций. Не берусь судить о причинах – можно ли их сводить, в частности, только к факту изоляции этого мира, то есть внешней причине. Очевидно, было бы интересно посмотреть на действующие там правовые нормы и практику, которые могли сыграть охранительную и стабилизирующую роль. В данном контексте, однако, важен сам факт возможностей и реальной мощи мира мелкой свободной собственности.

К затронутому А.Я. Гуревичем вопросу о чувстве чести и достоинства в среде средневекового крестьянства хотелось бы добавить пример из близких мне по интересам сюжетов из истории Западной Европы XIII-XV вв. – времени активных процессов словного самоопределения в обществе, связанных с социальными изменениями и выраженным подъемом в развитии и применении права. В эти процессы с большей или меньшей выразительностью оказалось вовлеченным и крестьянство, переживая их главным образом в рамках общины, активизировавшей свои социальные функции вплоть до образования сельских коммун, и много реже поднимаемая до участия в сословно-представительных органах. Его легальная и не всегда легальная активность, но всегда реальная значимость в качестве тех, кто кормил общество «трудом рук сво-

их», побуждали депутатов даже привилегированных сословий выступать в качестве их защитников на заседаниях представительных ассамблей<sup>6</sup>.

Не желая нарушать смысл обсуждаемого доклада А.Я. Гуревича, тем не менее позволю себе дать расширительное толкование его основной позиции, связанной с крестьянством, выделив в феодализме компонент «мелкого производителя». В контексте затронутой нами проблемы системности феодализма его любопытно соотнести с темой вариативности этой структуры. Позволю себе в качестве своеобразного решения подобной задачи употребить образ артишока. Добираясь до самой главной и, следует признать, самой вкусной его части – сердцевины плода, мы будем отрывать лепестки, символизирующие варианты – форм земельной собственности – государственной и частной, условной и менее условной; более или менее выраженных и централизованных систем вассальных отношений; неодинаковых иммунитетных прав и так далее, – сердцевиной во всех случаях останется крестьянин в деревне и ремесленник в городе, то есть мелкий производитель, владелец орудий труда. Его знала античность, он останется в системе капиталистических отношений, сохранит себя как редкий случай в качестве единоличника и кустаря даже после процессов советской индустриализации и коллективизации, – но только в Средние века он приобретет значимость системообразующего элемента общественных отношений. Признание этого факта могло бы если не примирить крайние позиции в среде медиевистов и русистов, то способствовать более гибкой и открытой принципу относительности оценке интересующей нас эпохи.

<sup>1</sup> Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.

<sup>2</sup> Febvre L. Combats pour l'histoire. P., 1953.

<sup>3</sup> Berr H. La Synthèse en histoire, essai critique et théorique. P., 1911 (1953); Braudel F. Histoire et sciences sociales: la longue durée // Annales E.S.C., 1958. N 4.

<sup>4</sup> Неусыхин А.И. Дофеодалный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к раннефеодалному. Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968. Кн. 1.

<sup>5</sup> Безрогов В.Г. Хозяйственная жизнь ирландского общества III-VIII вв. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1988.

<sup>6</sup> Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII-XV вв. М., 1989.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О «ФЕОДАЛИЗМЕ» В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ФРАНЦИИ XVIII в.

Рассуждая о капитализме, Ф. Бродель в своем фундаментальном труде вспомнил слова Ф. Перру, что капитализм – это не научный термин, а «боевой клич... употребляемый где надо и где не надо»<sup>1</sup>. Правда, хотя сам он и согласился отчасти с этим мнением, отказаться от употребления пресловутого термина так и не смог. Замечание Перру не в меньшей, если не в большей мере можно отнести и к слову «феодализм». Этот термин и обозначаемое им понятие родились в битвах Французской революции XVIII в. и изначально несли в себе такую же негативную эмоциональную нагрузку, как понятия «Старый порядок» или «бывшие». «Феодализм» символизировал то проклятое прошлое, с которым надо было как можно скорее покончить, чтобы перестроить жизнь на началах свободы и разума. Такое представление о «феодальном», при всей своей революционной новизне, не возникло на пустом месте. Пусть слова «феодализм» до революции не существовало<sup>2</sup>, но термины «фьеф», или «феод» (*le fief*), «феодальный» (*féodal* – только как прилагательное, существительного «феодал» в языке того времени не было), «феодальность» (*la féodalité*) и даже «феодальная система» (*le système féodal*) употреблялись. Посмотрим, каким смыслом наделяли эти слова французские авторы XVIII в.

Выяснить это тем более важно, что, по признанию историков, XVIII в. стал решающим моментом в зарождении представлений о «феодальном» прошлом. Как пишет А. Герро, если раньше, начиная с XVI в., имели место лишь «очень частные и ограниченные суждения» на эту тему, то к середине XVIII в. появляются «глобальный подход к европейскому обществу» и «размышления над феодальной системой»<sup>3</sup>.

Все авторы того времени единодушно признавали, что это чрезвычайно сложный и запутанный сюжет. Так, например, аббат Реми в статье для изданной Панкуком «Методической энциклопедии» сетовал: «Из всех отделов юриспруденции этот самый обширный и темный. Рожденные среди анархии, феодальные права уже претерпели и возможно еще претерпят бесконечное множество перемен (*une infinité de révolutions*). Чтобы понять эту материю, надо углубиться в самые сумрачные века нашей монархии, проконсультироваться у историков, изучить наших публицистов, собрать тысячу фактов, рассыпанных по нашим капитуляриям, ку-

тюмам и хартиям, пресбывающим ныне в большем забвении, чем когда-либо; надо проследить шаг за шагом неверный ход истории нашего правления от его колыбели до пятнадцатого века... Множество писателей пытались пролить свет на этот хаос, но, к сожалению, ни один из них не разделяет взглядов другого»<sup>4</sup>. Несколько оптимистичнее был настроен Шарль-Луи де Монтескье, заявлявший: «Хотя при изучении феодальных законов я и чувствую себя как бы в темном лабиринте с бесчисленными дорогами и поворотами, мне все же кажется, что я держу в руках конец нити и могу двигаться вперед»<sup>5</sup>.

Можно выделить несколько типов дискурсов, в которых использовался термин «фьеф» и производные от него. Первый из этих дискурсов – юридический. Помимо собственно юридических трактатов, он нашел отражение в текстах словарей и энциклопедий конца XVII-XVIII вв. (статьи в словарях и энциклопедиях были написаны на основе сочинений юристов, комментировавших кутюмы)<sup>6</sup>. Как показала Р. Робен, осуществившая лексический анализ употребления термина «фьеф» в юридической литературе XVIII в., значение данного термина складывается из двух обязательных элементов. Первый из них – земельная собственность, второй – юридическое отношение зависимости<sup>7</sup>. В литературе такого рода фьеф трактовался как наследственное земельное владение, которое вассал получал от сеньора на определенных условиях, принеся ему оммаж. Подчеркивалось, что фьеф – это владение преимущественно дворянское. Владение фьефом, с одной стороны, накладывает обязанности, а с другой, – дает почетные и полезные права по отношению к крестьянам. Приведем лишь несколько примеров того, как определяли термин «фьеф» различные словари того времени.

«Словарь Французской Академии» (1694; 1762): «Фьеф. Дворянский домен»<sup>8</sup>.

«Большой исторический словарь» Луи Морери (1692): «Фьеф, наследственное владение, которое получают от Сеньора посредством оммажа (*heritage qu'on tient à foy & hommage d'un Seigneur*), при условии принесения ему клятвы верности и оказания ему некоторых услуг в мирное и военное время»<sup>9</sup>.

«Универсальный словарь» Антуана Фюретьера (1727) и «Словарь Треву» (1771): «Фьеф. Земля, Сеньория или права, которые держат от высшего Сеньора на условиях принесения оммажа или каких-либо обязательств»<sup>10</sup>.

В «Энциклопедии» Дени Дидро и Жана-Батиста д'Аламбера было целых две статьи «Фьеф». В одной из них, написанной Антуаном-Гаспаром Буше д'Аржи, фьеф рассматривался с юридиче-

ской точки зрения: «Фьеф (юриспруд.) по-латыни *feudum*, или иногда в старину *feodum*, есть недвижимость или реальное право, которое держится и находится в зависимости от сеньора, на условиях принесения ему оммажа, когда происходит передача в другие руки и смена владельца, или со стороны сеньора, от которого зависит фьеф, или со стороны вассала, являющегося владельцем фьефа»<sup>11</sup>. Автор подчеркивал, что главным признаком фьефа служит оммаж: именно принесение оммажа отличает фьеф от всех других видов владений.

Пожалование фьефа накладывало на вассала четыре типа обязательств по отношению к сеньору: 1) принести оммаж; 2) уплачивать сеньору «полезные права» (*les droits utiles*) при смене владельца или в других случаях, согласно местным обычаям; 3) подавать сеньору отчет (*l'aveu & dénombrement*) о состоянии своего фьефа; 4) по вызову сеньора являться на его суд. Владение фьефом давало два вида прав: почетные (к их числу относились сеньориальная юстиция, патронат, личные почести, почести при посещении церкви, владение голубятней, право охоты и рыбной ловли, содержание кроличьего садка, владение прудом, преимущественное право выкупа зависимых земельных держаний (*retrait féodal*) и полезные (подати при переходе зависимых владений в другие руки, ценз, шампар, терраж, десятины, корве и баналитеты)<sup>12</sup>.

Буше д'Аржи отмечал, что распространение владения землей на правах фьефа привело к установлению в империи Карла Великого «феодального правления». При «феодальном правлении» сеньор имел над своими вассалами политическую власть, прежде всего судебную: вассал должен был обращаться в суд своего сеньора<sup>13</sup>.

Заметно, что на протяжении XVIII в. тексты словарных статей претерпели определенную эволюцию. С течением времени определения становились развернутыми и все более подробными. Анализируя эти тексты, Р. Робен обнаружила свойственное юристам XVIII в. стремление «романизировать фьеф», т.е. употреблять применительно к нему заимствованное из римского права понятие собственности и уподоблять отношения между сеньором и крестьянином-цензитарием отношениям между земельным собственником и арендатором<sup>14</sup>. Смысл проведенного юристами разделения феодальных прав на «почетные» и «полезные» исследовательница видит в том, что таким образом «феодальное» «распадается на две противоположные системы; на фиктивную (так называемые личные права, не основанные на контракте) и истинную феодальность (так называемые полезные, т.е. основанные на контракте права). Происходит разлом, отделяющий феодальность как сеньориаль-

ный гнет или узурпацию публичной власти от феодальности-собственности»<sup>15</sup>. Впоследствии, в первые годы революции именно это разграничение послужило основанием для деления крестьянских повинностей на «личные» (отменявшиеся безвозмездно как пережитки феодальных порядков) и «реальные» (подлежавшие выкупу, так как за сеньорами признавалось право собственности на них).

Термин *féodal* в словарях XVIII в. встречается только в качестве прилагательного, производного от существительного «фьеф». Термин *la féodalité* имеет очень узкое значение и определяется как «зависимость от фьефа», «качество фьефа», «держание наследства на правах фьефа»<sup>16</sup>. Собирательное значение, применимое для характеристики государственного и общественного устройства в целом, в словарях не зафиксировано, хотя, как мы увидим дальше, термин *la féodalité* в таком широком значении в литературе XVIII в. уже употреблялся.

Второй тип дискурса, в котором широко использовались термины «фьеф» и «феодальный» – историко-политический. О «феодальном Средневековье» в XVIII в. писали политические мыслители и историки разных направлений. Самыми признанными и авторитетными историками феодальных порядков считались Шарль-Луи де Монтескье (две последние книги его трактата «О духе законов» целиком посвящены феодальному праву и феодальным законам) и аббат Габриэль Бонно де Мабли. На их мнение зачастую можно встретить ссылки как в энциклопедиях, так и в исторических трудах<sup>17</sup>. Авторы исторических сочинений и политических трактатов отмечали, что в Средние века фьеф давал своему владельцу не только право на получение податей, но и политическую, прежде всего судебную, власть. Пожалование фьефов лежало в основе вассально-ленных отношений и соответствующего этим отношениям типа отправления политической власти. Говоря о «феодальной системе» и «феодальном правлении», историки XVIII в. имели в виду систему вассально-ленных отношений и основанный на них тип правления.

Так, в «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера рассмотренной выше юридической статье «Фьеф» предшествовала статья «Фьеф» с пометкой в скобках «Политическое право. Литературная история», написанная шевалье Луи де Жокуром. В ней речь шла о том, как установившаяся в Средние века наследственность фьефов и связанных с ними прерогатив уничтожили власть государственную и создали феодальную власть. В статье рассказывалось об особом типе феодального правления<sup>18</sup>, установленного в Европе германцами, – правления, которое требовало, «чтобы собственность на

завоеванную область принадлежала всему составу союзников и чтобы каждый имел свою долю в том, что он помог завоевать». В результате страна была разделена на области, которые назывались «провинциями» и «графствами», а «феодальная верность вытеснила государственное или гражданское право»<sup>19</sup>.

Между историками шли споры, когда и у каких именно народов впервые возникли феодалы, как соотносились между собой феодалы и бенефиции (было ли это одно и то же, или две стадии одного процесса, или два совершенно разных института). Так, в ответе на вопрос о соотношении между бенефицием и феодалом расходились два наиболее авторитетных специалиста по «феодальным проблемам» - Монтескье и Мабли. Монтескье был в большей мере склонен усматривать черты сходства между бенефицием и феодалом, тогда как Мабли подчеркивал принципиальные различия между ними.

Расходились два автора и в вопросе о времени появления отдельных «феодальных» институтов, в частности, дворянства. Монтескье относил появление вассальных отношений ко времени завоевания франками Галлии и говорил о существовании дворянства у франков уже при Хлодвиге, в V в. При этом Монтескье четко разделял феодальные и вассальные отношения. Вассальные отношения, по его мнению, предшествовали феодальным. Так, он говорил, что сначала «у германцев были вассалы, но не было феодалов. ...Их феодалами были боевые кони, оружие и пиры»<sup>20</sup>. Впоследствии появились фьефы (Монтескье относит их возникновение ко времени Каролингов) – сначала пожизненные, потом они стали наследственными, а сеньоры получили в своих фьефах право суда и фискальную власть.

В отличие от Монтескье, Мабли утверждал, что при Хлодвиге у франков существовало не наследственное дворянство, а только личные отличия. Если сам Хлодвиг и его предшественники, чтобы отличить знатных людей (Мабли обозначал их двумя терминами: «гранды» и *Leudes*), дарили им боевых коней и оружие, то впоследствии короли стали жаловать земли своего домена в виде бенефициев. По поводу последних Мабли счел необходимым заметить, что «некоторые современные писатели ошибочно смешивают их с владениями, которые впоследствии стали называть фьефами»<sup>21</sup>. При преемниках Хлодвиги держатели бенефициев присваивали себе все новые права, включая судебную власть и сбор налогов с населения, а прерогативы королей из династии Меровингов день ото дня сокращались. Со временем бенефиции и привилегированный статус их владельцев стали наследственными, что уже дает основания, по мнению Мабли, говорить о возникновении дво-



рянства. Появление наследственного дворянства и фьефов он относил ко времени правления Хлотаря II (613-629). Зарождение дворянства, с его точки зрения, усугубило падение авторитета королевской власти и закрепило порабощение народа<sup>22</sup>.

Установление феодального правления (*le gouvernement féodal*) Мабли относил к IX в., когда Карл Лысый сделал бенефиции, а затем и графства наследственными и «между раздробленными частями государства не осталось больше никаких связей, кроме вассальной клятвы (*la foi et l'hommage*)»<sup>23</sup>. Сохранение такого порядка в течение долгого времени Мабли объяснял четырьмя причинами: полным порабощением (*l'asservissement*) народа сеньорами; принадлежавшей сеньорам высшей судебной и отчасти законодательной властью над подданными; правом сеньоров вести друг с другом войны; и, наконец, примерным равенством сил среди самых крупных сеньоров, «мешавшим одному из них стать государем и диктовать законы всей нации»<sup>24</sup>.

Монтескье, Мабли и авторы «Энциклопедии» – представители просветительской мысли. А как освещалась «феодальная проблематика» в официальной королевской историографии? В поисках ответа на этот вопрос обратимся к трудам убежденного противника просветителей, историографа Франции Жакоба-Никола Моро<sup>25</sup>. В двадцатитомной истории Франции, явившейся плодом десятилетнего труда, Моро дал критический анализ взглядов Монтескье и Мабли на историю феодальных институтов и изложил свою собственную точку зрения. Монтескье он упрекал в том, что «он парил слишком высоко над всеми Царствами Мира и видел их издалека»<sup>26</sup>. Мабли ему казался ближе своим скрупулезным методом работы с опорой на факты и документы истории. Но при этом Моро обвинял его в предвзятости, в частности, за то, что Мабли находил в империи Карла Великого черты республики с национальными ассамблеями.

По словам Моро, в результате многочисленных ошибок, совершенных сыновьями Людовика Благочестивого, и особенно Карлом Лысым (843-877), стали твориться невиданные ранее беспорядки и началась «феодальная анархия». Под «феодальной анархией» Моро подразумевал то, что государь не мог заставить знать подчиняться королевской власти и уважать ее права. В течение столетия (примерно с середины IX до второй половины X в.) родились феодальные порядки (*la féodalité*). Примечательно, что Моро употреблял этот термин уже в новом, широком значении, а не в узком, зафиксированном в словарях. Говоря о *la féodalité*, Моро имел в виду целый комплекс взаимосвязанных явлений: должности стали передаваться по наследству, графы присвоили сбор налогов,

были установлены сеньориальные цензы, экстраординарные подати, рыночные и дорожные пошлины. Всевозможные нестроения продолжались вплоть до восшествия на престол Гуго Капета (987). При первых Капетингах постепенно на смену «феодальной анархии» пришли «монархическое правление» и «феодальная система». Создание «феодальной системы» явилось результатом вмешательства королевской власти. Стали записываться кутюмы. Были установлены «феодальные принципы и нормы» (*principes et normes de la féodalité*): во-первых, применительно к дворянству, были определены взаимные обязательства сеньоров и вассалов и обязанности дворян по отношению к королю; во-вторых, применительно к народу, были определены статус и обязанности сервов, вилланов и горожан. Рассуждения Моро о *la féodalité* в широком смысле этого слова и о «феодальной системе» позволяют заключить, что именно у этого автора, в большей степени, чем у кого-либо из его современников, оформилась концепция «феодализма».

До какого же времени просуществовали феодальные порядки? Мнения историков на этот счет совпадали. Одним из решающих этапов в истории крушения «феодального правления» Мабли считал царствование Филиппа II Августа (1180-1223), который благодаря победам над Иоанном Безземельным стал гораздо богаче и могущественнее своих вассалов и сумел усилить королевскую власть. Следующий решающий этап – расширение прав королевской юстиции при Людовике IX Святом (1226-1270). Окончательное же уничтожение феодального правления на большей части территории страны произошло в конце XIII – начале XIV в., при Филиппе Красивом и его сыновьях, когда «истинная монархия пришла на смену варварской и анархической полиции фьефов в большинстве провинций, составлявших королевство»<sup>27</sup>. Но в отдельных провинциях феодальное правление еще сохранялось, так как герцоги Бургундский, Аквитанский и Бретонский и граф Фландрский признавали короля Франции своим сюзереном, но не сувереном. Присоединение Бургундии, Аквитании и Бретани к землям французской короны в XV в. и переход Фландрии под власть австрийского дома, в результате чего эта территория стала рассматриваться как иностранная, ознаменовали собой, с точки зрения Мабли, полное искоренение остатков феодального правления. Моро также относил конец феодального правления во Франции к XV в.<sup>28</sup> С ними был солидарен и Вольтер, по словам которого, «Людовик XI нанес во Франции смертельный удар феодальному господству»<sup>29</sup>.

В отличие от большинства современников, внимание которых привлекал преимущественно феодальный период в истории Фран-

ции, Вольтер видел в нем явление общеевропейское. Феодалный порядок, с его точки зрения, явился следствием человеческой алчности и стремления крупных земельных собственников быть полновластными хозяевами в своих владениях. Повсюду в Европе, от Московии до гор Кастилии крупные землевладельцы, не желая подчиняться королевской власти, объединились против нее и установили собственную власть над своими подданными. Так управлялась вся Европа на протяжении более чем пятисот лет<sup>30</sup>.

Мабли также предпринял попытку подойти к рассмотрению «феодальных» сюжетов сравнительно-исторически и поставил вопрос, почему «феодальное правление сохранилось в Германии, в то время как во Франции оно было уничтожено»<sup>31</sup>. Он предложил целый ряд объяснений этому расхождению. Феодалное правление в Германии установилось позже, чем во Франции, и потому сохранилось дольше. Германские «сеньоры» должны были постоянно воевать с подступавшими к ним с севера и с востока «варварскими народами», а это требовало поддержания порядка и субординации, поэтому взаимные права и обязанности сюзеренов и вассалов в Германии соблюдались лучше, чем во Франции. Наряду с феодалным правлением в Германии имела публичная власть в лице «генеральных ассамблей нации» (так Мабли называл рейхстаги) и императора, от которого все фьефы находились в прямой зависимости. Силы германских «сеньоров» оставались примерно равны, и ни одному из них не удавалось чрезмерно возвыситься над другими. Германские императоры, несмотря на свой авторитет, не могли подчинить себе вассалов по примеру французских Капетингов, так как имперская корона была выборной. В то же время, по мнению Мабли, у Карла V был шанс покончить с феодалным правлением, стать в Германии полновластным государем и установить там «истинную монархию», но, поставив перед собой непосильную задачу подчинить и Империю, и всю Европу, он не сумел ее осуществить. В результате эта его неудача закрепила в Германии феодалное правление<sup>32</sup>.

Можно сказать без преувеличения, что уже в XVIII в. феодалные порядки оказались перед судом историков. Особенно суровы к ним были сторонники сильной королевской власти. Сторонники ограниченной монархии относились к этим порядкам более благосклонно и отмечали в них как отрицательные, так и положительные черты.

Оценка феодалных порядков в трудах Монтескье не была однозначно отрицательной. Так, он рассуждал о феодалных законах, «которые причинили бесконечно много добра и зла; которые при передаче поместий сохраняли права их прежних владельцев, кото-

рые, предоставив многим лицам различные права на одни и те же вещи и на одних и тех же людей, уменьшили тяжесть прав в их совокупности; которые провели различные ограничения в чрезмерно обширных государствах; которые создали порядок, стремящийся к анархии, и анархию, обнаруживающую склонность к порядку и гармонии. <...> Феодалы законы представляют пре-  
красное зрелище»<sup>33</sup>.

Резкая критика «феодальной анархии» и «тирании» звучала у Вольтера. Он не пытался выяснить происхождение феодальных институтов, а давал им оценку. Вольтер писал о том, что при потомках Карла Великого на большей части Европы установилась «феодальная анархия». Такое правление «кажется несправедливым, потому что огромное большинство людей подавляется ничтожным меньшинством и простой гражданин сможет возвыситься лишь благодаря всеобщему потрясению (*par un bouleversement général*)». Феодальное правление, по мнению Вольтера, приводит к упадку городов, торговли и искусства: «Нет ни одного крупного города, нет торговли, нет изящных искусств при чисто феодальном правлении»<sup>34</sup>.

Мабли характеризовал феодальное правление как «анархический беспорядок», при котором «права всех зависели от произвола» и «каждый сеньор вершил свой суверенный суд»<sup>35</sup>. С его точки зрения, это правление «соединяло одновременно все пороки анархии и деспотизма»<sup>36</sup>. Говоря об анархии, он имел в виду отсутствие в обществе четкой иерархии и субординации, а говоря о деспотизме – безграничную власть сеньоров над народом. Мабли неоднократно противопоставлял «феодальное правление» «истинной монархии», то есть, с его точки зрения, это два принципиально разных типа правления: монархия не может быть феодальной.

С суровой критикой феодального правления выступила официальная историография в лице Моро. При этом Моро подчеркивал, что короли, от Филиппа-Августа до Людовика Святого, сделали немало, «чтобы облегчить ярмо феодальной тирании»<sup>37</sup>. «Наши Короли, установив, по крайней мере, свое верховенство над Грандами, вскоре прибегнут к единственному средству, которое у них тогда было, чтобы стать, наконец, подлинными Суверенами всей Нации: с того момента, когда они начнут видеть себя отцами Народа, они утверждают нерушимую основу Трона, дотоле вечно шаткого и столь часто попираемого; и из их полезного сообщества с бесчисленным множеством народа, порабощенного сеньорией... родятся новые отношения, которые обеспечат Франции настоящее публичное Право»<sup>38</sup>.

Мысль о том, как короли своей властью защищали народ и обуздывали «феодальную тиранию», развивал и аббат Реми в статье для «Методической энциклопедии». Говоря о происхождении фьефов, он отмечал, что многие из них представляли собой «земли частных лиц, присоединенные к доменам сеньоров либо силой, либо страхом, либо предрассудком, либо нуждой в покровительстве; ...и что в общем *фьефы* при Гуго Капете и его предшественниках представляют собой порядок вещей столь абсурдный, сколь и одиозный; что, наконец, французский народ должен быть вечно благодарен царствующей династии, за то, что она его неустанно защищала от тирании множества мелких деспотов»<sup>39</sup>. Схожее мнение выражал Мабли, согласно которому интересы как короля, так и народа, изначально противостояли интересам знати<sup>40</sup>. Эти идеи уже очень близки к тому, что в XIX в. будет писать О. Тьерри о королевской власти, боровшейся против феодалов в союзе с третьим сословием.

Во французском экономическом дискурсе XVIII в. «феодальная» терминология оказалась невостребованной. Разумеется, существовала обширная экономическая литература, в которой рассматривались и анализировались аграрные отношения Франции XVIII в. В этой литературе речь шла о тех же самых реалиях, что и в юридических текстах, посвященных «феодальным правам». Однако экономисты, описывая те же явления, использовали другие слова, такие как «земельная собственность» и «земельная рента». Так, А.-Р.-Ж. Тюрго называл существовавший во Франции порядок землепользования «отчуждением земли на условиях внесения платежей» (*aliénation du fonds à la charge d'une redevance*)<sup>41</sup>.

Экономисты, со своей стороны, тоже критиковали порядки, сложившиеся в аграрной сфере. Но их критика была не такой эмоциональной, как у авторов исторических трудов. Они оперировали не понятиями «справедливо» – «несправедливо», а «выгодно» – «невыгодно», «рационально» – «нерационально». Именно по этим показателям феодальная система, в их представлении, уступала фермерской. Существующие порядки, с точки зрения либеральных экономистов того времени, были нерациональными и не выгодными ни сеньорам, ни крестьянам. Крестьяне должны были ежегодно отдавать сеньору множество платежей, которые исчислялись по-разному (одни деньгами, другие натурой; одни в абсолютной величине, другие исходя из доли урожая). Размеры и порядок внесения этих платежей складывались исторически и не зависели от воли сеньора или крестьянина. Более рациональной и выгодной обеим сторонам, по мнению экономистов, была бы система, при которой крестьянин вместо многообразных платежей вносил бы земельно-

му собственнику фиксированную арендную плату, и размеры этой арендной платы определялись бы не многовековой традицией, а свободным волеизъявлением собственника и земледельца при заключении арендного договора<sup>42</sup>.

Наконец, с началом революции термин «феодальный» стал широко использоваться в публицистике. Публицисты называли «феодальным» нечто архаичное, отжившее, не отвечающее духу времени. В этом смысле термин «феодальный» сравним по своему значению с терминами «средневековый» или «готический», как их понимали в XVIII в. Такой смысл нашел отражение в революционных призывах уничтожить феодальный порядок, под которым подразумевались все политические и социальные институты, существовавшие во Франции до 1789 г.: монархия, церковь, дворянство, привилегии. Как показал в своей монографии Дж. Маркофф, проанализировавший дебаты в Учредительном собрании по аграрному вопросу, уже в самом начале революции понятие «феодальный порядок» обозначало некое «проклятое прошлое», с которым необходимо покончить. «Феодальным» для революционных законодателей было все то, что противостояло «современному»<sup>43</sup>.

Итак, с одной стороны, значения понятий «фьеф» и «феодальный» в юридической и историко-политической литературе заметно различались. В «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера этим двум значениям слова «Фьеф» – юридическому и политическому – даже были посвящены две отдельные статьи, написанные двумя разными авторами. Юристы употребляли «феодальную» терминологию как вполне нейтральную, лишенную эмоциональной окраски. В историко-политической литературе она была преимущественно негативно эмоционально окрашенной. Юристы отделяли феодальную собственность от узурпированных личных прав, тогда как для историков средневековые феодальные порядки являлись узурпацией.

С другой стороны, эти два значения терминов «фьеф» и «феодальный» были тесно связаны друг с другом. Корни явлений, которые рассматривали юристы, по их мнению, уходили в Средневековье, – об этом свидетельствует приведенная в самом начале (см. с. 1-2) цитата из статьи аббата Реми в «Методической энциклопедии». Феодальные порядки в поземельных отношениях Франции XVIII в. рассматривались как остатки средневекового «феодального правления». Негативное отношение к «феодальному Средневековью» распространялось и на те порядки во Франции XVIII в., которые считались «феодальными». Резкая оценка «феодального» в официальной историографии прокладывала дорогу нападкам на «феодальный порядок» со стороны оппозиционных публицистов и, впоследствии, революционеров. К 1789 г. во французском общест-

ве сложилось представление о том, что в стране существуют некие феодальные порядки, представляющие собой пережитки прошлого и нуждающиеся в реформировании или отмене<sup>44</sup>.

Р. Робен, а вслед за ней А. Герро говорили о наметившемся в XVIII в. разграничении двух сторон «феодального» внутри юридического дискурса. Вместе с тем шло и соединение юридического дискурса с историко-политическим. В сочетании этих двух противоположных тенденций скрыты истоки острых противоречий по поводу определения сферы «феодального», пришедшихся на первые годы революции.

Когда в ночь на 4 августа 1789 г. Арман де Виньеро дю Плесси де Ришелье, герцог д'Эгюийон выступал в Учредительном собрании и говорил, что «несчастный земледелец, подчиненный действующим еще во Франции варварским пережиткам феодальных законов, стонет под игом притеснений, жертвой которых он является», он фактически повторял то, что раньше писал официальный королевский историограф Моро об ужасах «феодального Средневековья». Но сразу вслед за этим д'Эгюийон добавил: «Нельзя, конечно, оспаривать, что права эти являются собственностью и что всякая собственность священна; но права эти вместе с тем тягостны для народа, и все признают вытекающие из них постоянные стеснения»<sup>45</sup>. То есть революционные законодатели на практике вплотную столкнулись с проблемой «феодальных прав» как собственности или узурпации. Выпутываться из этого противоречия они будут еще долгих четыре года, пока 17 июля 1793 г. Национальный Конвент не разрешит его самым радикальным образом, полностью отменив все феодальные и сеньориальные права.

Французская революция, породившая термин «Старый порядок», дала и определение этого порядка как «феодального». Все элементы концепции «феодального Старого порядка» существовали уже в дореволюционной Франции XVIII в., но именно в годы революции они прочно соединились вместе. Произошло это, когда Учредительное собрание приняло декрет 11 августа 1789 г. об уничтожении феодальных прав и привилегий. Он стал официальным «свидетельством о рождении» концепции «феодального общества». Декрет открывался знаменитой фразой: «Национальное собрание полностью уничтожает феодальный порядок». Далее речь шла об отмене крестьянских повинностей сеньорам, сеньориальных прав охоты, содержания голубятни и разведения кроликов, сеньориальной юстиции, десятин, а также об отмене продажи должностей, о ликвидации налоговых привилегий, привилегий провинций, областей и городов и о праве всех граждан свободно занимать любые должности<sup>46</sup>. То есть под «феодальным поряд-

ком» здесь подразумевалась не только система взаимоотношений между крестьянами и их сеньорами, но и вся система социальных привилегий. Так благодаря усилиям юристов и историков XVIII в. родилась концепция «феодального строя», которая была официально провозглашена в законодательстве Французской революции и впоследствии получила развитие в историографии периода Реставрации, в трудах Ф. Гизо, О. Тьерри и Ж. Мишле.

<sup>1</sup> Perroux F. Le Capitalisme. P., 1962. P.5; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Т. 2. М., 1988. С. 221.

<sup>2</sup> Э. Хобсбаум зафиксировал появление термина «феодализм» в 1794 г. См.: Hobsbawm E.J. Capitalisme et agriculture: les réformateurs écossais au XVIIIe siècle // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1978. N 3. P. 580-601.

<sup>3</sup> Guerreau A. Fief, féodalité, féodalisme. Enjeux sociaux et réflexion historique // Annales: Economies. Sociétés. Civilisations. 1990. N 1. P. 139.

<sup>4</sup> Encyclopédie méthodique. Jurisprudence. Dédiée et présentée à Monseigneur Hue de Miromesnil, Garde des Sceaux de France. T. 4. P.; Liège, 1784. P. 506-507.

<sup>5</sup> Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 657.

<sup>6</sup> В XVIII в. появился целый ряд юридических трактатов, посвященных феодальным правам. См., например: *Salvaing*. De l'usage des fiefs. P., 1731; *Hévin*. Questions féodales. P., 1736; *Billecoq*. Traité des fiefs. P., 1749; *Pocquet de Livonnière* C. Traité des fiefs. P., 1756; *Jacquet*. Traité des fiefs. P., 1764; *Renauldon J.* Dictionnaire des fiefs et des droits seigneuriaux utiles et honorifiques. P., 1765; *Pensey H. de*. Traité des fiefs. P., 1773; *Boutaric F.* Traité des droits féodaux et des matières seigneuriales. P., 1775; *Pothier*. Traité des fiefs. P., 1776; *Preudhomme*. Traité des droits appartenants aux seigneurs sur leurs biens possédés en roture. P., 1781; *La Poix de Fréminville E. de*. La pratique universelle pour la rénovation des terriers et des droits seigneuriaux. P., 1746-1787; *Guyot P.-J.-J., Merlin Ph.-A.* Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile et criminelle canonique et bénéficiale. P., 1784-1788. 17 vol.; *Hervé*. Théorie des matières féodales et censuelles. P., 1785-1788. 5 vol. Непререкаемым авторитетом в этих вопросах по-прежнему пользовался знаменитый юрист XVI в. Ш. Дюмулен: на его труды постоянно ссылались авторы как трактатов о феодальных правах, так и соответствующих статей в словарях.

<sup>7</sup> Robin R. Fief et seigneurie dans le droit et l'idéologie juridique à la fin du XVIIIe siècle // Annales historiques de la Révolution française. 1971. N 206. P. 556-557.

<sup>8</sup> Dictionnaire de l'Académie française. 1694. 1ère éd. T. 1. P. 453; 1762. 4<sup>ème</sup> éd. T. 1. P. 740.

<sup>9</sup> Moréri L. Le Grand dictionnaire historique, ou Le Mélange curieux de l'histoire sacrée et prophane... Utrecht; Leyden; Amsterdam, 1692. 6<sup>ème</sup> éd. T. 1. P. 519.

<sup>10</sup> Furetière A. Dictionnaire universel, Contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts. La



Haye, 1727. Т. 2; Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux. P., 1771. Nouv. éd. Т. 4. P. 137.

<sup>11</sup> Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Genève, 1778. Nouv. éd. Т. 14. P. 329.

<sup>12</sup> Ibid. P. 334-335.

<sup>13</sup> Ibid. P. 332.

<sup>14</sup> Robin R. Op. cit. P. 570-574.

<sup>15</sup> Ibid. P. 592.

<sup>16</sup> См., например: Furetière A. Op. cit. Т. 2; Dictionnaire universel françois et latin... Т. 4. P. 91; Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné... Т. 13. P. 986; Encyclopédie méthodique. Т. 4. P. 488-489.

<sup>17</sup> См., например: История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера / Пер. Н.В. Ревуненковой. Под ред. А.Д. Люблинской. Л., 1978. С. 134; Encyclopédie méthodique. Jurisprudence. Т. 4. P. 507-513; Moreau J.-N. Principes de morale, de politique et de droit public, puisés dans l'Histoire de notre Monarchie, ou Discours sur l'histoire de France. P., 1777. Т. 5. P. 265-287.

<sup>18</sup> Интересно, какую трансформацию претерпело в русском переводе собственное автору данной статьи, Л. де Жокуру чисто политическое истолкование «феодального». Постоянно встречающееся в статье словосочетание *le gouvernement féodal* было переведено как «феодальный строй», в результате чего интерпретация де Жокуром «феодального» приобрела несвойственный ей социальный оттенок (см.: История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. С. 124-134).

<sup>19</sup> История в Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. С. 127, 131; Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné. Т. 14. P. 321-329.

<sup>20</sup> Монтескье III. Указ. соч. С. 658.

<sup>21</sup> Mably G.B., abbé de. Collection complete des oeuvres de l'abbé de Mably. P., l'an III de la République (1794-1795). Т. 1. Contenant les Observations sur l'histoire de France. P. 162. (Первое изд. – 1765.)

<sup>22</sup> Ibid. P. 182-187.

<sup>23</sup> Ibid. P. 286.

<sup>24</sup> Idem. Oeuvres complètes de l'abbé de Mably. P., 1797. Т. 2. Observations sur l'histoire de France. Livres 3-5. P. 21-22.

<sup>25</sup> См. о нем: Gembicki D. Histoire et politique à la fin de l'Ancien Régime: Jacob-Nicolas Moreau (1717-1803). P., 1979.

<sup>26</sup> Moreau J.-N. Principes de morale. Т. 5. P. 265.

<sup>27</sup> Mably G.B., abbé de. Op. cit. Т. 2. P. 87.

<sup>28</sup> Это видно из его высказывания по поводу правления Генриха IV: «В его царствование Правление уже не было феодальным: за сто лет до того постепенно исчезли все препятствия, мешавшие действиям королевской власти» (Moreau J.-N. Leçons de morale, de politique et de droit public, Puisés dans l'Histoire de notre Monarchie, ou Nouveau plan d'étude de l'histoire de France. Rédigé par les ordres & d'après les vues de feu Monseigneur le Dauphin, pour l'instruction des Princes ses Enfants. Versailles, 1773. P. 123).

<sup>29</sup> *Voltaire*. Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, et sur les principaux faits de l'histoire, depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII // Collection complète des oeuvres de Mr. De Voltaire. Genève, 1769. T. 2. P. 238.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> *Mably G.B., abbé de*. Op. cit. T. 2. P. 103.

<sup>32</sup> Ibid. P. 103-112.

<sup>33</sup> *Монтескье Ш.* Указ. соч. С. 656.

<sup>34</sup> *Voltaire*. Op. cit. T. 2. P. 238-239.

<sup>35</sup> *Mably G.B., abbé de*. Op. cit. T.1. P.282.

<sup>36</sup> Ibid. T. 2. P. 19.

<sup>37</sup> *Moreau J.-N.* Principes de morale. T. 15. P. 137.

<sup>38</sup> Ibid. P. 159.

<sup>39</sup> Encyclopédie méthodique. Jurisprudence. T. 4. P. 513.

<sup>40</sup> *Mably G.B., abbé de*. Op. cit. T. 1. P. 182-187.

<sup>41</sup> *Turgot A.-R.-J.* Formation et distribution des richesses / Textes choisis et présentés par J.-Th. Ravix et P.-M. Romani. P., 1997. P. 170.

<sup>42</sup> См. обоснование такой точки зрения у Тюрго: Ibid. P. 170-174.

<sup>43</sup> *Markoff J.* The Abolition of Feudalism. Peasants, Lords, and Legislators in the French Revolution. University Park: The Pennsylvania State Univ. Press, 1996. P. 520-525.

<sup>44</sup> См.: *Robin R.* Op. cit.; *Mackrell J.Q.C.* The Attack on «Feudalism» in Eighteenth-Century France. L., 1973; *Heuvel G. van den*. Féodalité, Féodal // Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich, 1680-1820. / Hrsg. von R. Reichardt und E. Schmitt. München, 1988. B. 10; *Guerreau A.* Op. cit.

<sup>45</sup> *Buchez P.J.B. et Roux P.C.* Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815. P., 1834-1838. T. 2. P. 224-230.

<sup>46</sup> Ibid. P. 259-263.

## ФЕОДАЛИЗМ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК, ИСТОРИЯ, НАУКА: «МОДНЫЙ» ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ВЕЩИ\*

Сегодня все охотно признают, что в современном мире произошли и продолжают происходить важные изменения, затрагивающие самые разные сферы жизни людей<sup>1</sup>. Предпринимаются попытки осмыслить этот новый мир (или, по крайней мере, отдельные его стороны) с помощью концептов «постсовременности», «постиндустриального общества», «информационного общества», «эпохи постмодерна» и др. Очевидно, впрочем, что это осмысление происходит по разным векторам. Два полярных – и, по-видимому, наиболее часто встречающихся – можно обозначить как «консервативный» (основывающийся на приверженности существующим мыслительным традициям) и «радикальный» (настаивающий на необходимости революционных перемен в этих традициях вследствие их непригодности для осмысления новых реалий).

Сходное положение вещей наблюдается и в отношении к социально-гуманитарным наукам. Все так или иначе признают значимость уже произошедших в них и продолжающих происходить на наших глазах перемен, однако относятся к ним по-разному. «Консерваторы» говорят примерно следующее: «Безусловно, изменения последнего времени в этих науках важны, существенны, однако они вполне могут быть осмыслены в рамках традиционных “основополагающих” представлений о научном прогрессе, диалектике эволюционного и революционного развития, сложившейся структуре дисциплин и т.д.». «Радикалы» настаивают на революционности перемен, на их драматичном характере. Они говорят: «Изменения последних двух-трех десятилетий в них настолько значительны, что дают основания говорить о появлении принципиально новых *способов* научного познания, позволяющих лучше понять человека и общество, чем традиционные». Эти новые *способы* постепенно приобрели различные обозначения: «постструктурализм», «постмодернизм», «постпозитивистская наука» и др.<sup>2</sup>.

Становление этих принципиально новых *способов* понимания языка, общества, литературы, истории обычно относят к послед-

---

\* Работа выполнена при поддержке исследовательского гранта РГНФ № 06-01-00077а.

ним десятилетиям XX в. Вместе с ними в обиход вошли не только непривычные для русского уха термины – такие как «дискурс», «эпистема», «деконструкция», «нарратив», «интертекстуальность»<sup>3</sup>, – но и в целом новый язык научного знания, и даже новые виды научного письма<sup>4</sup>. Вполне понятно, что эти новации были восприняты большинством гуманитариев без особого восторга: в лучшем случае как нечто поверхностное, раздражающее, как дань ненужным излишества, некоей преходящей экзотической моде (отсюда и определение «модный», которое вынесено в название статьи и часто в ней используется). Но нередко и более серьезно – как угроза и вызов сложившимся основам научного знания и методам отдельных научных дисциплин: истории, политической экономики, философии, социологии, литературоведения, географии, психологии. И в современном обществе в целом отношение к этой «моде» продолжает оставаться довольно настороженным. Причем в разных странах пропорция между «консервативным» большинством и «радикальным» меньшинством может существенно различаться и меняться со временем. Так, например, «модные» направления в социально-гуманитарном знании, родившись во Франции в 60-е – 70-е гг., сегодня пышно расцвели в американских университетах. Необходимо добавить, что ни относительно признанные общие обозначения этого «радикального» направления («постструктурализм», «постмодернизм»), ни тем более соответствующие определения конкретных исследователей («постструктуралист/ка», «постмодернист/ка») явно не нейтральны в оценочном плане. Зачастую они ассоциируются с крайним релятивизмом, безнравственностью и даже с пособничеством терроризму (к счастью, пока еще не у нас)<sup>5</sup>. В общем, совершенно очевидно, что «мода» на переосмысление оснований гуманитарного знания вовсе не стала общепринятой и вызвала немало беспокойств.

Историки в данном случае не составляют исключение, хотя гораздо чаще, чем, например, литературоведы, предпочитают эту «моду» не замечать. Тем не менее, ниже я все же попытаюсь представить в самом упрощенном и лаконичном виде этот «модный» беспокоящий взгляд на такие привычные всякому историку понятия, как «феодализм», «исторический источник», «история», «наука», начав для удобства изложения с конца, т.е. с науки.

\* \* \*

## **Наука**

Начало складывания «модного» взгляда на природу научного знания, по-видимому, следует отнести к первым послевоенным десятилетиям<sup>6</sup>. Историки науки чаще всего называют это новое,

отличное от сложившегося в XVII-XIX вв., видение научного знания «постпозитивистскими представлениями». Они обычно связывают его с именами Карла Поппера<sup>7</sup>, Пауля Фейерабенда<sup>8</sup>, Томаса Куна<sup>9</sup> и Имре Лакатоса<sup>10</sup>, которые сформулировали концепции, противоречившие традиционному видению науки как прогрессирующей и самоутрачивающейся системы<sup>11</sup>. Сегодня под влиянием философии постмодерна это видение науки и ее истории еще более радикализировалось<sup>12</sup>. Как бы там ни было, совершенно очевидно: повторять привычную формулу о том, что «ученый исследует объективно существующие факты и познает вечные законы природы и общества», больше нельзя без того, чтобы не вызвать обвинения в невежестве.

Каковы, однако, основные черты этого нового взгляда на науку? Попытаюсь обозначить некоторые из них<sup>13</sup>:

1. Прежде всего, научное знание, как и знание вообще, не является «реальностью». Оно – часть общества и его культуры и потому ими определяется, «конструируется». При таком подходе то, что мы сегодня называем «научными дисциплинами» (историей, химией, астрономией), представляет собой отдельные «субкультуры», возникшие в Новое время, когда сложилась развитая система производства и распространения знания. Эти «научные дисциплины» получили обособленный статус в Западной Европе в XIX в. и в сумме составили то, что стало обобщенно называться «наукой». (Примечательно, что мы почему-то упорно не хотим помнить, что знакомая нам по школьным учебникам «наука» – феномен вовсе не «общечеловеческого», а европейского происхождения и что на протяжении тысячелетий люди как-то обходились без него (сейчас все чаще кажется, что не так уж и плохо)).

Таким образом, то, что мы обозначаем понятием «наука», представляет собой частный случай, особую форму знаний людей о мире<sup>14</sup>. К тому же, форму в известном смысле ничуть не лучшую, по сравнению с другими, ей предшествовавшими или продолжающими существовать параллельно, поскольку знания людей о мире в разных культурах определяются тем, что М. Фуко назвал «режимом истины». («Их режим истины отличается от нашего, который, нужно сказать, весьма специфичен, хотя и стал почти всеобщим. У греков был свой режим истины. У арабов и магрибинцев – свой»<sup>15</sup>.) То есть наше современное знание не обязательно лучше – оно просто другое<sup>16</sup>. Понятие «наука», таким образом, претерпело существенную историческую релятивизацию. Стало все чаще высказываться мнение о том, что науки, какими мы их знаем, вообще преходящи<sup>17</sup>, а принципиально невозможные в рамках классического понимания науки сопоставления ее с магией, религией и т.п.

как со «структурно-сходными эпистемическими конструкциями или... социальными практиками», превратились едва ли не в обычное дело<sup>18</sup>.

Признание культурной детерминированности науки лишило смысла противопоставление «реалистического» и «конструктивистского» подходов к пониманию ее сути. Можно сказать, например, что «природа» или «история» – это реальности. Однако сами наши представления о том, что такое «реальность», культурно обусловлены. «Чистого» реализма, следовательно, не может быть в принципе, поскольку мы не имеем к «реальности» прямого (т.е. не опосредованного нашим сознанием) доступа. В качестве иллюстрации этого тезиса часто приводят ньютонову физику, являющуюся краеугольным камнем науки Нового времени. В основе ее, как известно, лежит проблема взаимодействия двух тел. Однако природа не знает ситуаций, когда два тела взаимодействуют изолированно от других. Таким образом, представление о том, что для описания «реальной» вселенной можно использовать бинарную модель, является характернейшим примером культурной детерминированности знания.

Другой пример культурной детерминированности научного знания, на этот раз из биологии, – прочно закрепившееся в учебниках описание процесса оплодотворения. Совершенно очевидно, что оно целиком построено на «классическом» для европейского общества понимании «мужской» и «женской» ролей. Ученые, таким образом, описывают «объективно происходящий» процесс в понятиях, соответствующих социально сконструированным половым ролям, в результате чего складывается далекая от нейтральной («объективно-научной») драматичная картина встречи «активных» сперматозоидов и «пассивной» яйцеклетки<sup>19</sup>.

2. Так же социально и культурно детерминировано и базисное для научного знания понятие «истина» – вопреки имплицитно присутствующему в классической науке представлению о его онтологичности. Эта детерминированность рождает вопрос о легитимации «научной истины». Как, с помощью каких механизмов она происходит? Взгляд на науку как на часть исторически конкретного общественного целого приводит к заключению, что принятое в обществе «официальное» научное знание является не столько «объективным» объяснением неких реалий, сколько результатом соперничества и борьбы, «за фасадом» которых часто стоят отношения власти. То объяснение, которое по тем или иным причинам победило в этой борьбе, и стало «истиной»<sup>20</sup>.

Особая роль в признании социальной детерминированности научной истины и научного знания в целом (в особенности социаль-

но-гуманитарного) принадлежит Мишелю Фуко, настойчиво задававшего вопрос о природе истины в современном мире и о том, как она регулируется, с одной стороны, властью, а с другой – возможностью сопротивляться этой власти<sup>21</sup>. «Моя проблема – политика истины... Мне кажется... интересным исследовать, каким образом наука в Европе институционализировалась как власть», – не раз повторял он<sup>22</sup>. И дальше пояснял: «Философы или даже интеллектуалы в целом доказывают и подчеркивают свою идентичность, пытаются установить почти непреходимую черту между областью знания, воспринимаемого как область истины и свободы, и областью применения власти. Что меня поразило в отношении гуманитарных наук, так это то, что развитие всех этих областей знания никоим образом не может быть отделено от применения власти. ...Рождение гуманитарных наук происходит рука об руку с установлением новых механизмов власти»<sup>23</sup>.

В общем, согласно этому «модному» взгляду, и сам процесс производства научного знания, и научное сообщество (научные институты, исследовательские программы и т.д.) следует рассматривать как элементы и в известном смысле результаты определенных отношений власти и подчинения. Соответственно, идея автономной «объективной» науки есть «фантазия, культивируемая учеными либо в целях собственной карьеры, либо ради успокоения людей», поскольку она рисует желаемый большинством «упорядоченный образ действительности», тем самым выступая в качестве «умиротворяющей терапии»<sup>24</sup>. На самом деле, говорят те, кто придерживается «модного» взгляда, научное знание в значительной мере покоится на представлениях, доминирующих в обществе, а широко распространенное мнение о том, что референтом научных описаний является «реальное» и «универсальное», – иллюзорно.

3. Еще один поворот, определивший «модный» взгляд на науку, связан с новым пониманием характера ее развития и функционирования. В двух словах можно сказать, что эти процессы представляются теперь гораздо более сложными, чем раньше. Развитие выступает не просто как «накопление знаний», которое на определенном этапе, в соответствии с гегелевской диалектикой, приводит к качественным скачкам («открытиям») и имеет определенный вектор («прогресс»). И даже не как череда «революций», обусловленных куновской «сменой парадигм» – современные историки науки склонны считать, что Т. Кун слишком резко разграничивал научную революцию и «обычное» производство знания. В процессе производства и трансформации знаний сегодня видится больше преемственности, чем в середине 1960-х, однако сама эта преемственность предстает по-иному: в виде цепи возникающих новых

взаимосвязанных вопросов. Эти вопросы привлекают внимание к ранее невостребованным данным и ведут к разработке новых методов их получения («данные» гипотетически есть всегда, но они воспринимаются как таковые только после того, как сформулирован вопрос). Такой взгляд ведет и в целом к иному пониманию нашего когнитивного взаимодействия с миром: мы воспринимаем мир не как нечто, задающее нам вопросы, на которые у нас нет ответов, но как бесконечный источник ответов, на которые у нас пока нет вопросов. Но тогда получается, что главным критерием «научности» выступает не критерий истинности/ложности теории, а то, в какой мере она способна породить плодотворную исследовательскую программу (И. Лакатос). Новое знание, с этой точки зрения, порождает не конкретные решения проблем, а является частью динамичного процесса, в котором меняются как сами проблемы, так и их осмысление.

4. Характерной чертой «модного» представления о научном знании является проблематизация в нем субъект-объектных отношений. Принято, например, обращать внимание на то, что «научные факты» не висят на деревьях в ожидании ученых, которые их соберут и проанализируют, поскольку сам предмет науки разнороден и исторически изменчив. Так, в каждой дисциплине есть свои критерии того, что считать «фактом» и какие факты важны, а какие нет (точно так же, как и свои методы их анализа и способы аргументации – в каждой из дисциплин есть свои, наиболее предпочтительные). В этой связи нужно заметить, что эта проблематизация субъект-объектных отношений, по-видимому, вполне признается некоторой частью нашего научного сообщества. 19 мая 2005 г. в рамках Пленума Российского национального комитета РАН по истории и философии науки и техники состоялся colloquium «История научных объектов», программу которого открывала примечательная преамбула. Приведу ее начало: «История науки убеждает нас в том, что научные объекты – будь то “природа”, “клетка”, “общество” или даже “вселенная” и “время” – не даны изначально. Они – создание ученых, научного сообщества. Как любое произведение человека, научные объекты появляются на свет, живут, могут умирать и возрождаться...»

### **Историческая наука**

Столь же непривычно выглядят и «модные» представления об исторической науке. Большинство историков (как и других ученых, представляющих социально-гуманитарные дисциплины) продолжают основываться на двух основополагающих посылах относительно производимого ими знания. Во-первых, они исходят из



того, что это знание составляет достоверную истину, которая объясняет и оценивает множество жизненно важных «как» и «почему»: от «правды» истории государств и народов до «правды» человеческого бессознательного. Во-вторых, они считают, что производство такого знания является неотъемлемой частью процесса развития цивилизации и так же, как и в естественных науках, направлено единственно на то, чтобы сделать мир лучше<sup>25</sup>. «Модный» же взгляд скептически относится к этим основополагающим посылкам, упрямо доказывая, что они основаны на очевидных противоречиях, неразрешенных вопросах и культурных предрассудках<sup>26</sup>.

В историографии складывание этого подхода относят к концу XX в. и связывают с постмодернизмом, «подрывающим» два основополагающих представления об историческом знании, которые сложились в XVIII в. и благополучно дожили до сегодняшнего дня. Первое – что история это процесс, обладающий общей логикой и направленностью. Второе – что возможно объективное научное понимание этого процесса<sup>27</sup>. Г. Иггерс обозначает новейшее «модное» видение исторического знания понятием «*культуралистская* (culturalist) модель». Помимо нее, согласно его построениям, к числу основных моделей научного исторического знания XX в. относятся *историцистская* (historicist) и *научно-социологическая* (social scientific)<sup>28</sup>. *Культуралистская* модель связывается Иггерсом с теми «потрясениями», которые испытал «самодовольный мир науки» в конце XX в. Эти потрясения, считает он, не только подорвали модернистскую веру в научное знание и прогресс (Мишель Фуко, Жак Деррида), но и уверенность в «объективности» истории (Хейден Уайт). Постмодернистские мыслители бросили вызов базовым постулатам, на которых основывалось историческое знание Нового времени: о том, что в истории есть общая логика и направленность и что западный мир занимает в ней привилегированное положение.

Какое влияние оказывает этот постмодернистский вызов на современную историографию? По Иггерсу, одновременно и очень малое (если историки игнорируют утверждения теоретиков постмодерна и продолжают верить в то, что осуществляют «научную реконструкцию» прошлого – пусть неполную и частичную), и очень большое (если они принимают эти утверждения и, следовательно, признают, что объективное исследование прошлого в принципе невозможно). Во втором случае им приходится признаться в не очень приятных для коллег по «цеху» вещах. Например, что их наука, как и наука вообще, – это просто один из практикуемых в западном мире ритуалов, в такой же степени способ-

ный ответить на экзистенциальные вопросы, как и мифологическое сознание «диких» народов. А историческое сознание (в соответствии с утверждением Х. Уайта) – это «специфически западный предрассудок, с помощью которого возможно утверждение задним числом предполагаемого превосходства современного индустриального общества»<sup>29</sup>.

Впрочем, как бы отдельные историки ни относились к этому постмодернистскому вызову, продолжает Г. Иггерс, очевидно, что он «встряхнул» историографию: с 1960-х – 1970-х гг. в ней происходит очевидная переориентация как в тематике исследований, так и в теоретических подходах. Особенно отчетливо заметны в этой переориентации «возвращение рассказа» и отказ от наукообразности, в результате чего грань между историей и литературой, фактом и вымыслом, становится все более зыбкой. Находит поддержку мысль Фрэнка Анкерсмита о том, что освободить историю от его «предубежденности» и тем самым дать возможность проникнуть в прошлое, способны микроисторические подходы. Историки начинают привлекать такие сюжеты, как социальное «конструирование» в различных культурах телесности, сексуальности, семьи, знания, технологии и т.п., из этих же теоретических посылок проистекает новая «история женщин»<sup>30</sup>.

Разумеется, «модный» взгляд на историческое знание не обошел и медиевистику. Возможно даже, что именно в среде медиевистов он пустил наиболее глубокие корни. Так, согласно Габриэль Спигел, проследившей основные моменты истории изучения европейского Средневековья в США, конец XX в. составляет в ней особый период, названный ею «постмодернистским» (предшествующие два периода обозначаются ею исключительно хронологическими маркерами: конец XIX и XX вв.)<sup>31</sup>. Этот период связывается исследовательницей с появлением и утверждением феминистской историографии, «нового историзма» и конструкционизма, а также с так называемым лингвистическим поворотом. Все эти три направления, по мнению Г. Спигел, могут быть объединены призывом Мишеля Фуко «дестабилизировать позитивизм во всех его проявлениях» (*inquiéter tous les positivismes*).

Поскольку имя М. Фуко уже не раз упоминалось выше (и будет упоминаться еще), а также поскольку из всех «столпов» постмодерна именно он оказал наибольшее влияние на формирование «модного» взгляда на историческое знание, здесь уместно будет сказать вкратце о видении истории этим крупнейшим мыслителем второй половины XX в.<sup>32</sup> Это видение, относящееся, безусловно, к числу наиболее радикальных примеров «модной» историографии, связывают с практиковавшейся Фуко «критической историей на-

стоящего» и применением им «генеалогического» метода. «Я отталкиваюсь от проблемы, которая выражена в принятых сегодня терминах, – разъясняет свой метод Фуко в одном из интервью, – и пытаюсь составить ее генеалогию. Генеалогия означает, что я начинаю свое рассмотрение с вопроса, поставленного в настоящем»<sup>33</sup>.

Одна из центральных идей Фуко, восходящая к философии истории Ницше, звучит примерно так: представление о том, что можно реконструировать прошлое или что прошлое может каким-то образом беспокоить настоящее, является притворством, скрывающим отношения власти и подчинения<sup>34</sup>. Соответственно, задача исторического исследования заключается не столько в «реконструкции прошлого», сколько в уяснении настоящего. Это уяснение состоит прежде всего в проблематизации, в показе историчности вещей и понятий, кажущихся нам сегодня очевидными: «...история служит для того, чтобы показать, что то, что существует не существовало вечно; т.е. что вещи, кажущиеся нам наиболее очевидными, всегда возникают в результате стечения противоречий и случайностей в ходе непредсказуемой и преходящей истории»<sup>35</sup>. Если следовать дальше за мыслью Фуко, то сама историческая наука должна стать другой. В современном мире проблема истории, утверждает он, «состоит вовсе не в традиции и ее следах, а в разделении и ограничении, не в незыблемости развертывающегося основания, а в той трансформации, которая принимается в качестве основы обновления основ»<sup>36</sup>. Причем важно подчеркнуть, что эта «дестабилизация настоящего», по мысли Фуко, вовсе не направлена на то, чтобы нанести кому-то вред, наоборот, в конечном счете она призвана сделать мир более открытым и разнообразным, а человека – более свободным.

Очевидно, что «постмодернистское» видение исторического знания, а также рост числа приверженцев различных его направлений среди молодежи, вызвали и продолжают вызывать и глухое неприятие, и резкую критику историков, которые по-прежнему мыслят «консервативно», – как практикующих исследователей, так и теоретиков исторической науки (по моим наблюдениям, преимущественно британских и немецких). Названия работ противников новой «моды» (т.е., соответственно, защитников «подлинной научности» в истории, ее «объективного характера», «гуманистических ценностей» и т.д.) обычно достаточно красноречивы: «В защиту истории»<sup>37</sup>, «Против постмодернизма: марксистская критика»<sup>38</sup> и т.п. Причем зачастую это неприятие и критика достигает такого накала, что переходит в политические обвинения<sup>39</sup>.

Характерным примером негативного восприятия постмодернистской «моды» в историографии (нужно добавить, что в этом слу-

чае автор, в отличие от многих других критиков постмодерна, демонстрирует хорошее знакомство с основными работами его теоретиков и практиков) может послужить недавняя обзорная работа британского историка марксистского толка Вилли Томпсона «Постмодернизм и история»<sup>40</sup>. Автор начинает ее с цитаты из вышедшей еще в 1987 г. книги Питера Дьюза, в которой констатируется очевидное существенное воздействие постмодернизма (у Дьюза – «постструктурализма») на гуманитарные и социальные науки. «За последние два десятилетия, – пишет Дьюз, – стиль мышления, известный как постструктурализм приобрел огромное влияние на интеллектуальную жизнь англоязычного мира. Постструктуралистские стратегии и виды анализа, направленные на демонтаж смыслов устойчивых понятий, субъективности и идентичности, стали главными в арсенале теоретизирования и в ряде случаев вызвали преобразования в многообразных дисциплинах гуманитарных и социальных наук...»<sup>41</sup>

Однако дальше В. Томпсон добавляет к этой констатации важные дополнительные штрихи. Он отмечает, в частности, что за двадцать с лишним лет постмодернистские подходы, хотя и оказали влияние на историографию, но в меньшей степени, чем на другие гуманитарные дисциплины: «Большинство исторических журналов игнорируют их к вящему негодованию некоторых постмодернистских историков, и большинство историков продолжают идти своими неисправимо эмпирическими путями, оставляя убежденных историков-постмодернистов в некоторой изолированной обособленности»<sup>42</sup>. Здесь же во введении содержится и вполне недвусмысленная оценка влияния постмодернистского мышления на практику исторической науки: «Если бы меня попросили дать общую оценку его значения, то короткий ответ был бы, что оно негативно, враждебно рациональному мышлению и будущему исторических исследований»<sup>43</sup>.

Справедливости ради нужно отметить, что, не скрывая своего отношения к постмодернизму и в принципе соглашаясь с мнением о том, что он является «культурной практикой позднего капитализма», В. Томпсон все же не склонен считать постмодернистские изыскания злом абсолютным: эта «вредная» затея имела и отдельные полезные результаты. «Даже продукция Фуко... – признает он, – в руках истинных историков (*genuine historians*)... помогла высветить серьезные недостатки в медицинской и психиатрической практике, как в прошлом, так и в настоящем»<sup>44</sup>.

Вернусь, однако, от критики к представлению «модного» взгляда на историческую науку и в добавление к сказанному отмечу еще несколько существенных для его характеристики моментов.

1. Очевидно, что когда говорят о связи постмодернизма и историографии, постмодернистской историографии, влиянии на историческую науку постструктурализма и т.п., часто имеет место большая понятийная и смысловая путаница. Так, в качестве примера постмодернистского «сдвига» в ней обычно приводят микроисторию (как антитезу дискредитировавших себя «больших нарративов»). Скажем, упомянутый выше В. Томпсон ссылается на работы трех историков этого направления: Н. Земон Дэвис, Э. Леруа-Ладюри и К. Гинзбурга. Между тем известно, что, по крайней мере, один из этих авторов, К. Гинзбург, не раз резко критиковал постмодернистскую историографию<sup>45</sup> (в частности, он выступал против редукции исторического нарратива к риторической фигуре, на которой настаивает один из «отцов-основателей» постмодернистской историографии Х. Уайт<sup>46</sup>).

2. Мысли о социальной обусловленности исторического знания и его сконструированности приобретают под влиянием постмодернистской теории особую значимость. Речь идет не о банальной формуле влияния общественных интересов, государственной политики, личности историка и т.п. на историческую науку. Такого рода влияние историки всегда признавали (хотя, нужно заметить, гораздо охотнее в отношении своих коллег или исторической науки в целом, но никак не себя). Имеется в виду, что сам образ прошлого как таковой в историографии не столько «объективен», сколько «skonструирован». И очертания этого образа в значительной мере являются, во-первых, проекцией отношений власти и подчинения в обществе, и, во-вторых, предметом манипуляций сил, имеющих своей целью достижение тех или иных политических результатов в настоящем.

3. О все большем признании такого рода обусловленности (как и о влиянии «модного взгляда» вообще) можно судить по вторжению соответствующих тем в повестку дня крупнейших международных форумов историков. Хорошей иллюстрацией такого вторжения могут послужить материалы XIX конгресса исторических наук в Осло (2000 г.)<sup>47</sup>, где тематика докладов группировалась вокруг трех центральных тем: «Перспективы всемирной истории: концепты и методология» (Организатор Йорн Рюзен, Германия); «Тысячелетие, время и история» (Организатор Рейнхарт Козеллек, Германия) и «Использование истории, злоупотребление ею и ответственность историков, прошлых и нынешних» (Организатор Георг Иггерс, США). Примечательны не столько формулировки этих тем (на такого рода масштабных форумах историков, представляющих весь спектр теоретических «вкусов» и национальных школ историографии, они неизбежно оказываются предельно ши-

рокими и неопределенными), сколько тональность и направленность обсуждения в рамках каждой из них.

Й. Рюзенем в его вступительном слове современная эпоха в гуманитарном знании обозначается как эпоха «критического пересмотра господствующих нарративов и усиливающегося акцентирования культурных различий и межкультурных связей». Поэтому он очень осторожно говорит о всемирной истории, ставя под сомнение саму возможность ее существования. Хотя в итоге все же выражает надежду на то, что работа руководимой им сессии «приведет к новой идее всемирной истории». Примечательно, что тема доклада академика А.О. Чубарьяна (директора Института *всеобщей истории*!) на этой секции также заканчивалась вопросительным знаком: «Возможна ли всеобщая история?».

Еще более непривычны для традиционно мыслящего историка тезисы, сформулированные Р. Козеллеком. Прошное, утверждает Козеллек, это хаос, и «только человек как *homo historicus* наполняет этот хаос содержанием и делает его познаваемым, придавая ему упорядоченность, структуру и смысл». Одним из наиболее важных элементов этой упорядоченности прошлого является время – «человеческое изобретение, позволяющее осмысливать этот хаос», а не «нечто, существующее само по себе». «Среди различных понятий, отражающих категории времени, – продолжает Козеллек, – “год” является наиболее важным для организации прошлого, ибо без изобретения “года” мы даже не могли бы организовать наше прошлое как историю». И т.д.

Что касается третьей основной темы конгресса, то ее формулировка достаточно красноречива сама по себе: «Использование истории, злоупотребление ею и ответственность историков»<sup>48</sup>. Эта формулировка подразумевает не только то, что продукция, производимая историками, является не «чистым» знанием, а знанием «зависимым» от конкретных социальных и политических обстоятельств. Важно, что это знание неизбежно так или иначе «используется» властью, причем нередко во вред обществу, и может привести к самым печальным результатам<sup>49</sup>. Как быть исторiku в этой ситуации? Как не допустить, чтобы его работа была простым «инструментом» для достижения неблагоприятных целей? Возможно ли это в принципе? Г. Иггерс в своем докладе ясно показывает, что дать однозначные обнадеживающие ответы на эти вопросы очень непросто.

4. Впрочем, чаще этот взгляд на характер исторического знания историки рассматривают как «неполезный» или даже «вредный» и всячески его сторонятся. И это вполне понятно, поскольку связано с их здоровым стремлением сохранить не только «душевный по-

кой», но также «общественную полезность» (кому понадобится история без «позитивной» составляющей, кроме книгоиздателей?) и саму свою идентичность (что остается от их науки без «позитивной» составляющей?)<sup>50</sup>. Причем в большинстве случаев они склонны категорически не замечать и такую самоочевидную для «модного» взгляда вещь, как социальная обусловленность «исторической правды» и вообще «истины» в историческом знании. Речь, конечно, не идет о крайних случаях. В том, что касается признания места и роли истории в «плохих» тоталитарных обществах, больших расхождений среди историков также не наблюдается. Но когда речь заходит о современности, в особенности об обществах, частью которых они сами являются, получается, что «историческая наука» существует в стерильном пространстве борьбы идей, «профессионалов» и «любителей», «настоящих историков» и «фальсификаторов», наконец, теоретических направлений: марксизм или неокантианство, Ранке или Дройзен (у нас – «формационный подход» или «цивилизационный», «историческая антропология» или «микроистория»). Присутствие отношений власти и подчинения или политики (в широком смысле слова) в поисках историками истины упрямо не признается. Максимально допустимая социальная составляющая – соперничество национальных историографических школ (немецкой, французской, британской, американской и т.д.), профессиональных объединений или институтов<sup>51</sup>.

5. Еще одна из черт «модного взгляда» на историю, как уже отмечалось, состоит в создании и разработке новых базовых понятий когнитивного аппарата историка. Речь идет о заимствованиях не только из языкознания, литературной критики и философии («дискурс», «нарратив», «субъект» и др.), но также из общественных дисциплин, т.е. о понятиях, отражающих социальную природу представлений о прошлом. Одним из самых удачных примеров такого рода является заимствованное из социологии понятие «социальная память»<sup>52</sup>. Его осмысление и «освоение» историками в масштабном проекте П. Нора «Места памяти»<sup>53</sup>, ставшим одним из наиболее значительных событий последнего времени во французской историографии, явилось самым убедительным примером слияния «модного» видения истории с практической задачей обретения Францией новой национальной идентичности.

6. Наконец, последняя характеристика «модного» исторического знания – историзация и проблематизация привычных для большинства историков понятий, безусловно, прямо или косвенно вдохновленная фукольтианской методологией «истории настоящего». Как уже отмечалось выше, именно Фуко последовательно подчеркивал, что большинство понятий, которыми оперируют гу-

манитарные науки, сложились в Новое время в определенной эпистемологической ситуации: в какой-то момент они просто стали удобными (и потому принятыми научным сообществом) конструктами. Его интерес как раз и был направлен на выяснение того, каким образом возникают, живут и умирают эти понятия. Наиболее эпатирующим для большинства гуманитариев стало утверждение философа о том, что человек как предмет гуманитарных наук исчезает, как «лицо, начертанное на песке»<sup>54</sup>.

Это «историзирующее» направление в историографии породило большое количество исследований, из которых в качестве примера укажу лишь на три работы, мне наиболее близко знакомые. Первая – популярная монография известного американского историка Патрика Гири «Миф о нациях: Средневековое происхождение Европы»<sup>55</sup>. Согласно позиции автора, которую он убедительно доказывает, анализируя становление идеи «нации» в европейской науке XIX в. (и в историографии в особенности), то обстоятельство, что миллионы современных европейцев гордятся своим происхождением от кельтов, франков, галлов, гуннов, сербов и т.п., является с исторической точки зрения абсурдом. Главная задача работы Гири – «деконструировать» миф об онтологичности нации и представления о ней как о вечной и неизменной реальности. Вторая книга написана археологом, Флорином Куртой («Сотворение славян: История и археология в районе Нижнего Дуная ок. 500-700 гг.»)<sup>56</sup>, однако, по большому счету, и ее задача, и общее конструктивистское понимание «нации» очень схожи с подходом Гири. В книге доказывается, что появление обозначений «скламены» и «анты», которые часто трактуются как «первые упоминания о славянах», явилось результатом определенной военно-политической ситуации: византийские авторы стали применять их для обозначения своих противников, концентрировавшихся на северной границе государства. Славянская «этничность», таким образом, выступает в ней как византийское «изобретение», укорененное в средневековых реалиях и имеющее очень мало общего с понятием «нация», изобретенным в XIX в. Третья работа, монография Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу», «подрывает» одно из базовых понятий иного рода: речь в ней идет об историзации и проблематизации понятия не этнического, а географического<sup>57</sup>. Автор показывает, что в привычном делении европейского континента на Западную и Восточную Европу нет ничего «естественного»: до XVIII в. его просто не существовало. Концепция отдельной «отсталой» Европы появилась только в эпоху Просвещения, когда его деятели с высот своих знаний стали со снисходительным любопытством обозревать окружающий их мир.



В таком же «модном» конструктивистском ракурсе сегодня рассматриваются и другие привычные историкам понятия. Его приверженцы считают, что историзация и проблематизация укоренившихся в наборе исследователей «инструментов» позволяет более критично подойти к процессу производства исторического знания, взглянуть на него свежим взглядом и увидеть новые исследовательские горизонты. В результате этой новой инвентаризации складывается довольно определенная общая картина, вполне в духе «Археологии гуманитарных наук» Мишеля Фуко. По ней выходит, что большинство этих «инструментов», возникнув под влиянием идей Просвещения, укоренилось в исторической науке XIX в., затем не раз подвергалось разнообразным трансформациям на протяжении XX в., до тех пор, пока к концу столетия не стало очевидным, что они не вечны и вполне могут умереть точно так же, как и родились. На смену же этим понятиям должны прийти (или уже приходят) другие понятия, более эффективно «работающие» в изменившемся контексте гуманитарного знания, т.е. позволяющие историкам более вразумительно отвечать на те новые вопросы, с которыми они обращаются к прошлому.

### **Исторический источник**

Однако, это, так сказать, «в теории» (причем теории, принимаемой далеко не всеми) и в отношении достаточно общих понятий. Интересно посмотреть на проблему с несколько иной стороны: что думают историки-практики о тех понятиях, с которыми постоянно сталкиваются в своей повседневной деятельности, изучая конкретные свидетельства прошлого, т. е. о понятиях собственно исторических? Насколько обозначенный «модный» подход оказал влияние на их размышления? Для ответа на эти вопросы обратимся вначале к недавней статье Отто Герхарда Эксле «Что такое исторический источник?», безусловно, представляющей собой яркий пример рефлексии именно такого рода<sup>58</sup>.

На первый взгляд, можно заключить, что мы имеем дело в ней со вполне «модным» подходом, проблематизирующим (т.е. в известном смысле «подрывающим») общепринятые понятия современных гуманитарных наук в рамках фукольтианской «истории настоящего». Так, в начале статьи ее автор говорит, что цель его размышлений состоит вовсе не в том, чтобы дать определенный ответ на вопрос о том, что такое исторический источник. Он ставит себе задачу рассмотреть источник как проблему исторического знания, меняющуюся в зависимости от эпистемологического контекста: «Прежде всего я хотел бы историзировать этот вопрос, предложив ряд ответов на него, в совокупности отражающих исто-

рию данной проблемы. <...> При этом я хотел бы показать, насколько каждый из предложенных ответов зависит от стоящей за ним эпистемологии...» (с. 154).

Эти историзация и проблематизация строятся по определенному плану. Сначала автор останавливается на анализе оснований (тут так и хочется употребить «модный» термин «деконструкция») расхожей «самоочевидной» трактовки «исторического источника» и роли такой трактовки в работе историка (с. 154-156). Первое из таких оснований – допущение, что прошлое «на самом деле» существует. Второе – что существуют «факты прошлого», причем независимо от историка. Третье – что историк в состоянии, опираясь на эти факты, установить историческую истину («как это было на самом деле»). Поскольку о «фактах» сообщают «источники», историк должен «прислушиваться» к ним, заставляя их «заговорить» и т.п. При этом «источники», добавляет О.Г. Эксле, прочно ассоциируются с «истоками», подлинным и чистым первоначалом всякого познания. Наконец, четвертое, – «источники» выступают в качестве «источника жизни» историка. Без них его «ремесло» утрачивает свою идентичность.

Затем (с. 156-161) автор рассматривает известные взгляды Л. фон Ранке на задачу истории (проникнуть в «божественное знание») и работу историка («говорить, как это действительно было», «познавать, постигать и изображать факты такими, какие они есть»), обращая внимание на их удивительное (несмотря на метафизические основания) сходство с охарактеризованными выше представлениями, а также с позицией современного английского эмпиризма. Особая важность рассмотрения взглядов Ранке, по мнению О.Г. Эксле, состоит в том, что она «оказала глубочайшее воздействие на дискуссию немецких историков по поводу вопроса о том, что такое исторический источник». Автор статьи всячески подчеркивает огромное влияние подхода Ранке на современных немецких историков, вопреки очевидным отличиям их исследовательских программ. Главную причину этого продолжающегося влияния он видит в том, что «ранкеанское представление о познании “истории” целиком и полностью соответствует в каком-то смысле “естественному”, как бы само собой разумеющемуся представлению о том, что наука есть отражение внешней действительности, а историческая наука, таким образом, – отражение имевшего место фактического прошлого» (с. 159). К тому же, добавляет О.Г. Эксле, «учение Ранке притягивает тем, что обещает абсолютную объективность, т.е. истину...» (с. 160).

Следующий предмет рассмотрения автора статьи (с. 161-166) – теория исторического познания И.Г. Дройзена, «прямо противопо-

ложная метафизике Ранке, поскольку Дройзен был кантианцем» (с. 161), и не имевшая успеха в Германии. По мнению О.Г. Эксле, именно эта теория имеет центральное значение для обсуждаемой темы, поскольку она была «не только первой, но и самой значительной теорией исторического познания вплоть до начала, может быть, даже до середины XX столетия, а именно, до “‘Объективности’ социально-научного и социально-политического познания Макса Вебера” (1904) и “Апологии истории” Марка Блока начала 1940-х гг.» (с. 162). Согласно этой теории, историческое познание не является «отображением фактов прошлого», т.е. его «сущности»<sup>59</sup>. Поскольку историк имеет дело не с прошлым как «вещью в себе», а с его «феноменами», задача истории как раз и состоит в изучении этих феноменов, у Дройзена получивших название «исторический материал». «Для исторического знания, – цитирует его слова Эксле, – исходной данностью является не прошлое (*Vergangenheiten*), поскольку оно прошло, а то, что от него еще сохранилось – здесь и сейчас...» (с. 163). Таким образом, Дройзен, во-первых, говорит не об «историческом источнике», а об «историческом материале»<sup>60</sup>, и, во-вторых, исходит из того, что этот материал сам по себе без присутствия исследователя не в состоянии о чем-либо свидетельствовать. Исходным пунктом исследования, по Дройзену, является *вопрос* ученого, обращенный к имеющемуся в его распоряжении «историческому материалу». «Желанию Ранке “отстранить” свое Я, дабы дать более отчетливо проявиться историческим силам и фактам как таковым, – пишет об этой особенности дройзеновской теории О.Г. Эксле, – было противопоставлено требование Дройзена сделать существенной частью исследовательского процесса... рефлексии этого Я как познающего субъекта...» (с. 165). Причем такое вторжение личности исследователя не ведет к отрицанию объективности исторического исследования, которая «покоится на двух столпах»: эмпирическом базисе (работе с «историческим материалом») и «осмыслении познающим индивидом условий, области применения и, конечно же, границ познания поставленной проблемы» (с. 166).

В статье отмечается, что «спор» подходов Ранке и Дройзена к изучению истории и, соответственно, к пониманию эмпирической основы исторического исследования в конце XIX – начале XX в. завершился не в пользу последнего (с. 166-170). «Одновременно с исчезновением предложенного Дройзеном понятия “исторический материал”, – констатирует О.Г. Эксле, – исчезла и основанная на критицизме теория исторического познания» (с. 167). Понятие «источник», наполняясь множеством новых смыслов (Ранке подразумевал в первую очередь письменные документы), получает

«второе рождение». Главной чертой новой жизни понятия становится его расширительная трактовка. Иллюстрируя эту черту, Эксле приводит определение одного немецкого историка, относящееся к 1959 г.: «Источниками называем мы все тексты, предметы или факты, из которых можно получить сведения о прошлом»<sup>61</sup>.

Еще один поворот в судьбе понятия автор связывает с «исторической наукой о культуре» начала XX в., определившей «новый этап осмысления исторического познания», и особенно близкой ей по духу французской *Nouvelle histoire* (с. 170 – 174). «Школа ‘Анналов’», утверждает он, дала «новый ответ на вопрос об... историческом материале». Новое понимание того материала, с которым работает историк (Эксле использует дройзеновский термин «исторический материал», а не восходящий к Ранке «источник») стало поистине всеобъемлющим: «Все, поистине все, может стать историческим материалом: церковные книги, завещания, строительные расчеты, географические, лингвистические, медицинские, археологические данные, предметы из сферы истории искусства и науки о музыке» (с. 173). Далее следует важное заключение. «Таким образом, – автор переходит уже к сегодняшнему дню, – что такое так называемые “источники”, сейчас больше уже не поддается определению. “Исторический материал” – это то, что может быть привлечено к ответу на поставленный историком вопрос. Именно от самого вопроса зависит, *что* в каждом отдельном случае может и должно быть в широком смысле слова источниковой базой для ответа на него» (с. 174).

Наконец, последний поворот сюжета статьи (с. 174-180) – «происходящие в последнее время изменения в самой теории исторического познания, которая все больше обращается к субъективной стороне исследовательского процесса». Эти изменения представляются автору «поразительными». Он сокрушается о том, что сделанный И.Г. Дройзеном и впоследствии усиленный М. Вебером вывод – «историческое исследование исходит из предпосылки о том, что содержание нашего Я также является опосредованным, сформировавшимся, историческим результатом» – остался невостребованным в немецкой исторической науке в должной мере вплоть до сегодняшнего дня. В то же время О.Г. Эксле отмечает, что «с середины 1990-х гг. появились новые подходы, которые все больше выдвигают на передний план именно этот аспект исторического познания. В известной степени они не только подвергают осмыслению субъективную сторону познания, но и превращают ее прямо-таки в его основу. Таким образом, культурная память, историография и историческое исследование (будучи, согласно Дройзену, “остатком”) становятся формой “исторического

материала”» (с. 174-5). В подтверждение этого тезиса О.Г. Эксле приводит четыре группы примеров: 1) исследования «истории памяти» египтолога Яна Ассмана, в которых говорится «не о прошлом как таковом, а о том прошлом, которое вспоминают», а также свои работы о «создании» современностью (Moderne) «собственного» Средневековья; 2) изучение функционирования «наук о культуре» в период национал-социализма; 3) проблему роли «источника» в установлении «того, как это действительно было» в связи с рассекречиванием архивных документов о создании нацистами атомной бомбы; 4) вопрос о влиянии индивидуального опыта исследователя на возможность установления научной истины в связи с изучением национал-социализма.

О.Г. Эксле не ссылается на Фуко и других «столпов» «модно-го» взгляда на изучение прошлого. Однако его рассуждения, как можно судить из приведенного обзора, явно лежат в том же «русле». Он рассматривает вопрос о том, что такое «исторический источник» как *историю проблемы*, укорененной в общей эпистемологической ситуации. При этом вырисовывается очень неоднозначная и изменчивая общая картина: «Сначала был Ранке с его историей-метафизикой, предпочитавшей нарративные источники, чтобы “говорить, как это действительно было”». Затем *Historik* Дройзена, основанная на кантовском критицизме теория исторической науки, в которой понятие “источник” лишилось своего мистического компонента... В начале XX столетия под знаком исторической науки о культуре происходит универсализация воззрений на исторический материал, а затем оформляется направление исторических исследований, основывающееся на анализе субъективных условий познания». И выводы, к которым приходит автор в конце, для традиционно мыслящего историка звучат достаточно радикально: «во-первых, отказ от понятия “источник”, поскольку с ним до сих пор неизбежно и открыто связаны эмпиристские и метафизические эпистемологии; во-вторых, отказ от всякой иерархии и сегментирования исторического материала в пользу его свободного понимания; и, в-третьих, необходимость изучения субъективных условий исторического познания и признания истории памяти его органической частью» (с. 181).

Статью немецкого медиевиста вполне можно было бы отнести к разряду «модных», будь он в своей историзации и проблематизации более последователен. Этого, однако, не позволяет сделать ее главная мысль, зовущая не к новой постановке проблемы, а к замене понятия «исторический источник» на другое, «исторический материал», которое ввел в оборот сто с лишним лет назад неокантианец Дройзен... Больше того, из статьи следует, что Дройзен

«открыл» историческую обусловленность исторического познания и что это открытие в силу каких-то причин до сих пор не хотят признавать консервативные историки. Сейчас, читаем в статье, «происходит последовательная историзация самого исторического познания, которую обосновал и к которой призывал Дройзен еще в середине XIX в., но которая даже сегодня далеко не у всех историков находит должный отклик...» (Там же).

### **Феодализм**

Другое сугубо историческое понятие, о котором пойдет речь, – «феодализм». Предметом анализа станут теперь размышления о его сути в статье крупнейшего отечественного медиевиста А.Я. Гуревича «Феодализм перед судом историков или о средневековой крестьянской цивилизации».

Постановку вопроса в этой работе, так же, как и в статье О.Г. Эксле, на первый взгляд, вполне можно рассматривать в одном ряду с описанными выше «модными» подходами. «Что такое “феодализм” с точки зрения современного историка?» – спрашивает автор. И дальше делится с читателем примечательным наблюдением: «Время от времени я в ходе своих размышлений об этом предмете останавливался в растерянности: каким образом удавалось и все еще удастся (удастся ли?!) историкам, а равно и социологам, и философам, вопреки глубочайшим переменам, кои пережили мир и, в частности, научная мысль... по-прежнему придерживаться давно сложившихся исторических понятий?»<sup>62</sup>. Читатель узнает и о более конкретных причинах, вызвавших это недоумение автора: «Взгляд на историческое прошлое, те вопросы, которые ныне мы ему задаем, имеют мало общего с вопрошаниями наших научных дедов и прадедов. Поэтому казалось бы саморазумеющимся, что новое содержание исторического знания требует отказа от унаследованных от прошлого стереотипов и новой концептуализации».

Одновременно А.Я. Гуревич отмечает, что эти глубинные изменения соседствуют с удивительной преемственностью. Это справедливо как для самой «творческой лаборатории» медиевистов, так и для продукции, этой «лабораторией» производимой, – картине европейского Средневековья. «Накопление фактического материала и, главное, углубление его анализа, – пишет А.Я. Гуревич, – естественно и неизбежно приводит исследователей к пересмотру многих конкретных вопросов. И в целом, и в частности феодальное Средневековье выглядит ныне, на рубеже второго и третьего тысячелетий, отнюдь не таким, каким оно виделось предшествующим поколениям. Медиевистами проделана огромная

исследовательская работа. В старые мехи постоянно вливается новое вино, но, странным делом, оно мехов не разрывает».

Таким образом, по мнению ученого, случай с «феодализмом» являет собой пример «кричащего противоречия между самыми общими понятиями, употребляемыми поколениями историков, и эмпирическим богатством нашей научной дисциплины». Свою задачу, он видит, однако, не в том, чтобы анализировать различные концепции феодализма, «которые возникали, сосуществовали или противоборствовали в историографии на протяжении XIX и XX веков». Вместо этого он считает важным «попытаться указать на те трещины (пользуясь «модным» языком, можно было бы сказать «разрывы». – Ю.З.), которые образовались в воздвигнутом усилиями медиевистов здании». При этом автор ясно дает понять, что является далеко не первым, кто ставит перед собой эту цель. «Разве не симптоматично и даже символично то, – спрашивает он, – что вполне независимо друг от друга отдельные историки разных стран и научных направлений все более энергично высказывают сомнения относительно дальнейшей пригодности концепта “феодализм” и того содержания, которым это понятие нами заполняется?». Ссылаясь на новые работы коллег-медиевистов<sup>63</sup> и свою собственную недавнюю статью<sup>64</sup>, он говорит о «брожении умов историков, занятых проблемой феодализма», о «расшатывании устоявшихся общих категорий» и приходит к заключению, что «разрушение возведенной историками “вавилонской башни” стало необратимым» (курсив мой. – Ю.З.)<sup>65</sup>.

Этот радикализм автора, однако, сильно нивелируется, когда он сам начинает говорить о «феодализме», опираясь на прочтение различных средневековых источников (основная часть статьи этому как раз и посвящена). Точнее, его размышления переносятся в иную плоскость. Позиция А.Я. Гуревича состоит в том, что старый призыв «ad fontes!» не утратил сегодня своей актуальности: «Рассуждения теоретического характера обычно выглядят более или менее голословными и малоубедительными. Для практикующего историка решающим с точки зрения доказательности его тезисов остается вопрос об источниках». При этом А.Я. Гуревич выступает как сторонник идеи неисчерпаемости смыслов исторического источника, являющихся функцией познавательной активности исследователя: «Задавая источнику новые вопросы, он тем самым рассматривает его под иным углом зрения и ставит его в новые смысловые связи с другими источниками».

В источниках же А.Я. Гуревича прежде всего интересует «человеческая составляющая»: «Для современной стадии развития исторического знания и, в частности, медиевистики, императив-

ным является поиск человеческого содержания объективного исторического процесса. Хорошо известно, что среди сюжетов, обладающих большой привлекательностью для изучения, современные медиевисты вычленяют такие богатые содержанием и многозначные феномены, как миф и его связи с социальной практикой и память, организующая индивидуальное и коллективное сознание». Если читать средневековые тексты под указанным углом зрения, считает историк, то в них «можно было бы выявить такие пласты, которые еще сравнительно недавно не высвечивались или даже игнорировались». Этот угол зрения позволяет «преодолеть барьеры между мифологией и правом, поэзией и социальными отношениями, бытом и религиозными верованиями». Все сказанное непосредственно относится как к содержанию понятия «феодализм» и средневековому обществу в целом, так и к их становлению. Главное здесь это «уразумение человеческого содержания социальных процессов». «Было бы односторонним, – считает историк, – рассматривать социальные процессы периода раннего Средневековья исключительно или главным образом под углом зрения “генезиса феодализма”. На самом деле жизнь была несравненно более многообразной, и нет оснований ее целиком вгонять в прокрустово ложе априорных генерализаций».

Обращение в статье к разнообразным скандинавским и англосаксонским текстам вскрывает различные социальные связи и механизмы («пир», «обмен дарами» и др.), выходящие далеко за рамки традиционного понимания «внеэкономического принуждения» как господствующего механизма подчинения в феодальной Европе. «Мне кажется правильным, – настаивает А.Я. Гуревич, – рассматривать институты дара и пира... не просто как переходные состояния, но в качестве основополагающих принципов социальной и экономической организации. Не имеем ли мы дела с фундаментальной характеристикой “крестьянского общества”, над которой могла возникнуть феодальная сеньориально-вассальная система, тем не менее, едва ли одолевшая эту свою основу? Это общество и само по себе могло быть довольно глубоко дифференцированным, что, однако, отнюдь не сближало его с обществом феодальным».

В итоге, после ряда в высшей степени интересных и важных наблюдений относительно специфической роли «личных» отношений в средневековом обществе, ответ на вопрос, поставленный в начале статьи – что же нам делать с феодализмом? – оказывается достаточно неопределенным. Для решения проблемы А.Я. Гуревич предлагает использовать «новый подход к интерпретации средневековых источников» на основе исторической антропологии.



В заключительной части статьи историк пишет: «В отличие от тех медиевистов, интересы которых концентрируются на вассально-ленных отношениях, на росте церковно-монастырского землевладения, на „incastellamento“ („озамкование“) и подобных, бросающихся в глаза, явлениях, я хотел бы подчеркнуть необходимость изучения того крестьянского мира, который, будучи материальной основой всех этих феодальных феноменов, отнюдь не поглощался ими. Пред нами иной, глубинный пласт социальной действительности, жизнь коего подчинялась специфическим традициям и правилам. От этой „Атлантиды“, большая часть которой не получила и не могла получить адекватного отражения в дошедших до нас источниках, сохранились, собственно, лишь фрагментарные упоминания. *Audiat et altera pars*. Я убежден в том, что давно уже настало время обратить серьезное внимание на эту сторону средневековой жизни».

\* \* \*

Вместо заключения от размышлений известных историков-медиевистов, предназначенных в первую очередь их коллегам по «цеху», обратимся к текстам иного рода – англоязычной учебно-справочной литературе. В какой мере в них отразился охарактеризованный выше «модный» взгляд? Выбор «учебников» в данном случае исходит из представления об их репрезентативности как историографического «жанра», поскольку в них аккумулируется, усредняется и упрощается существующее разнообразие историографических подходов. Т.е. из допущения, что они в состоянии дать на наш вопрос вполне определенный ответ. Ограничимся при этом одним понятием феодализма.

Передо мной три богато иллюстрированные книги, написанные известными историками и вышедшие в крупнейших издательствах англоязычного мира. Предназначены они для студентов колледжей и начальных курсов университетов, а также, как у нас говорят, «для всех интересующихся всеобщей историей»<sup>66</sup>. Выборка, добавлю, абсолютно случайная – это те пособия, которые в разное время мне довелось приобрести (часто в спешке, по принципу «что-нибудь по истории Средних веков»), чтобы так или иначе использовать в преподавании.

Если расположить эти пособия по времени публикации, то начать следует с первого тома двухтомника «Вызов Запада: Народы и культуры от каменного века до века глобализации»<sup>67</sup>, вышедшего в 1995 году. В этом издании понятие «феодализм» упоминается дважды в основном тексте (на с. 315-316) и один раз в примечаниях. В первом абзаце дается самое общее определение понятия:

«...историки часто называют социальную и экономическую систему, созданную отношениями между вассалами, лордами и фьефами *феодализм*»<sup>68</sup>. За этим определением идет краткое изложение сути системы: «Средневековый феодализм включал институты, созданные личными обязательствами между лордами и вассалами; военизированный образ жизни и ценности, которые они разделяли; небольшие, расположенные в разных местах владения; экономическую систему, основанную на манорах и зависимых сервах, составлявших ее опору...»<sup>69</sup> Второй абзац целиком состоит из краткого описания того, как происходил оммаж. Самое интересное для нашей темы, однако, содержится в примечании. В нем говорится о многозначности понятия «феодализм» и прослеживаются основные изменения его содержания: «Термин *феодализм* имел (и продолжает иметь) много различных значений. Во Франции XVIII в. он означал систему привилегий, которыми пользовалась знать, и состояние несвободы сервов (крестьян), которое они терпели в больших поместьях, работая на нобилей. В XIX в. Карл Маркс использовал термин *феодализм* для описания системы, в которой доминировал военизированный правящий класс собственников. Многие историки в Англии продолжают использовать это понятие. В последнее время, однако, некоторые историки попытались провести различие между *манориализмом* (в том случае, когда речь идет о сервах и землевладельцах) и *феодализмом* (когда речь идет только о правящих классах). Другие же историки находят термин *феодализм* бесполезным именно потому, что он имеет так много различных значений»<sup>70</sup>.

Второе издание, иллюстрированная «Энциклопедия Средних веков», вышедшая в 1999 г. под общей редакцией Нормана Кантора<sup>71</sup>, как можно судить по названию, имеет более специальный характер. Ее отличительной особенностью является претензия на то, чтобы представить читателю «последние достижения науки»: «Эта работа, – читаем во введении, – отражает новейшие сведения о средневековом мире» (р. 5).

Нужно сразу сказать, что «феодализм», безусловно, рассматривается создателями энциклопедии как одно из наиболее важных понятий: ему посвящена отдельная содержательная статья (р. 164-166), оно довольно часто встречается в тексте, к тому же особо выделено в указателе в числе нескольких десятков главных (таких как «инквизиция», «крестовые походы», «папство», «университеты», «черная смерть» и др.). Впрочем, предоставим слово автору статьи: «С XVIII в., – читаем в самом ее начале, – историки использовали термин “феодализм” (или “феодальная система”) для обозначения социальных, военных, политических и в некоторых

случаях экономических отношений, обнаруживаемых в средневековой Западной Европе (с IX в. н.э. по 1500 г., берущих начало в IV-V вв.). Первоначально придуманный как конструкт, охватывающий определенные специфические черты средневековой жизни, он также использовался как абстрактная модель или идеальный тип, релевантный не только для средневековой Европы, но и для других времен и регионов. Хотя он олицетворяет черты, ассоциирующиеся со средневековой Европой, “феодализм” в этом смысле обозначает общую ступень социального, политического и (для Карла Маркса и Фридриха Энгельса, а также их последователей) экономического развития. Тогда как многие, включая некоторых ученых, все еще считают термины “феодальная система” и “феодализм” значимыми и полезными, другие аналогичные конструкты, имеющие еще более давнюю историю (как, например, “восточный деспотизм”), сегодня обычно отвергаются как упрощенные и вводящие в заблуждение. Множество историков считают, что такая же судьба в конце концов ждет и феодальные конструкты<sup>72</sup>.

После такой вполне однозначной констатации в статье дается объяснение обстоятельств появления этих терминов. «Повидимому, – читаем дальше, – ученые разработали конструкты “феодализм” и “феодальная система” потому, что они искали систему и порядок в истории человеческого общества. Появление этих конструктов хронологически тесно соотносится с популярностью стиля научной концептуализации, связанной с системой Коперника и “системой мира”, ассоциирующейся с именем Исаака Ньютона (1642–1727). Ученые верили, что если космос функционирует системно, непременно должны быть обнаружены системы для объяснения того, как функционирует и развивается человеческое общество»<sup>73</sup>.

В силу необходимости здесь придется опустить развернутые определения и историографические детали статьи<sup>74</sup> и обратиться к ее заключительной части, где общий подход к современному состоянию проблемы сформулирован наиболее определенно.

«Стремление к простоте и системности, характерное для XVII и XVIII вв., нигде не проявилось более отчетливо, как в изобретении в эту эпоху понятий “феодализм” и “феодальная система”. Сейчас исследователи отдают себе отчет в том, что эти конструкты в конечном счете говорят больше о мышлении, ценностях и представлениях их изобретателей XVII-XVIII вв., чем об обществе, описывать которое – а слишком долго считалось, что так оно и было – они предназначались»<sup>75</sup>. Примечательно, что этому утверждению предпослано другое, более общего характера: «Растущая терпимость к сложности, большая готовность признать наличие пробле-

лов в человеческом знании и возрастающее понимание роли, которую играют сложившиеся представления в структурировании понимания прошлого, революционизируют научное исследование средневековой Европы»<sup>76</sup>.

Наконец, третье издание – «Средневековый мир», вышедшее под редакцией Розамонд Маккиттерик в 2003 г.<sup>77</sup> Это пособие охватывает период всемирной истории, как утверждают издатели, характеризующийся культурной изменчивостью и политическим разнообразием: от распространения ислама на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Европе до открытия европейцами Америки. Средневековые при этом выступают не в своей привычной нам западноцентричной ипостаси, но как мир, включающий в себя противоречивое многообразие культур. Какое же место, спросим, в этом мире отводится «феодализму»? Увы, для его описания авторы посчитали понятие «феодализм» необязательным или даже вовсе ненужным – книга обходится без него.

\* \* \*

В итоге можно заключить: согласно «модному» взгляду, не только «наука» и «историческая наука», но также и отдельные понятия, которыми пользуются историки, воспринимаются как специфические создания европейцев XVIII – XIX вв. Что касается «исторического источника» и «феодализма», то они в этом смысле ничем не отличаются от многих других, сложившихся в это время, т.е. в тот период, когда знание стало претендовать на «научность». Если подходить к ним с теми же критериями, с которыми историки подходят ко многим явлениям прошлого, – т.е. признать, что их использование имеет начало, кульминацию и конец, – то возможность их исчезновения из современного научного лексикона оказывается вполне очевидной. Вопрос в таком случае просто переносится в иную, практическую плоскость: стоит ли «гнаться за модой» или лучше (удобнее, полезней и т.д.) придерживаться устоявшейся традиции? Но это, как известно, каждый решает сам для себя.

---

<sup>1</sup> Следует подчеркнуть, что в этом случае имеется в виду, прежде всего, «западный мир». «Во все большей степени, – писал Олвин Тоффлер (Alvin Toffler), – люди осознают, что вокруг нас формируется новая культура. И дело не только в компьютерах... Это новые установки по отношению к труду, полу, нации, досугу, авторитетам и так далее» (Тоффлер А. Раса, власть и культура // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. С. 286). О социальных результатах этих перемен см., напр.: Силичев Д.А.

Социальные последствия перехода от индустриализма и модерна к постиндустриализму и постмодерну // Вопросы философии. 2005. № 7. С. 3-20.

<sup>2</sup> В большинстве случаев с приставкой пост-, из-за чего американский антрополог Маршалл Салинз предлагает использовать для них обобщающее название «послелогия» (afterology).

<sup>3</sup> Следует добавить, что «старые» понятия при этом в ряде случаев наполнились новыми смыслами, например такие как «знание», «власть», «истина», «субъект», «действующее лицо» (actor, acteur).

<sup>4</sup> Наиболее ярким примером служит письмо Ж. Деррида. В своем последнем интервью философ объяснял это свое новаторства так: «В каждой ситуации следует создавать соответствующие способы показа, изобретать закономерности уникального события, учитывать получателя сообщения – предполагаемого или желаемого; и одновременно настаивать на том, что это письмо может оказать на читателя определяющее влияние, научить его читать то и “жить” тем, чего он до сих пор ниоткуда больше не мог получить» (Деррида Ж. «Наконец-то научиться жить» // Вопросы философии. 2005. № 4. С. 135).

<sup>5</sup> См. на эту тему горячую дискуссию С. Фиша и Э. Ротштейна по следам 11 сентября: *Fish S. Don't Blame Relativism* // The Responsive Community. 2002. Summer ([www.gwu.edu/~ccps](http://www.gwu.edu/~ccps)); *Rotshtein E. Moral Relativity Is a Hot Topic? True. Absolutely* // The New York Times. 2002. July 13.

<sup>6</sup> См.: Куренной В. Наука в современном мире // Отечественные записки. 2003. № 1 (<http://www.strana-oz.ru/?numid=10&article=21>).

<sup>7</sup> Поннер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.

<sup>8</sup> Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.

<sup>9</sup> Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.

<sup>10</sup> Лакатос И. Методология исследовательских программ. М., 2003.

<sup>11</sup> К 1970-м – 1980-м гг. взамен традиционной сложилась примерно такая картина функционирования научных теорий: «...научная теория (или когерентная группа таковых) определяет как круг возможных фактов, которые признаются научными, так и круг возможных интерпретаций (объяснений) этих фактов. В результате формируется структурный комплекс (названный Куном “парадигмой”), определяющий возможный круг проблем, разрешение которых так или иначе уже предначертано в рамках данной парадигмы. Этот круг проблем (по сути, кроссвордного, ребусного типа) остается неизменным до тех пор, пока благодаря «научной революции» на смену одной парадигме не приходит другая парадигма, на какое-то время стабилизирующая теоретический научный ландшафт» (Куренной В. Указ. соч.).

12 См. об этом, напр.: Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001; а также рецензию на это издание В.Н. Поруса: Вопросы философии. 2003. №7. С. 177–179.

13 В осмыслении и обозначении этих черт важную роль сыграл семинар в Центрально-европейском университете (Questions and Answers: Knowledge Production and the Functions of a University. Workshop at CEU Humanities Centre. 18-19 January, 2003 – <http://www.hc.ceu.hu/download/events>

/workshop.pdf), в частности выступление профессора Сэлли Хамфриз (Sally Humphreys).

<sup>14</sup> «В том виде, как она известна нам сейчас, – читаем сегодня в популярном “толстом” журнале, – наука является феноменом европейской культуры. Причем феноменом *уникальным*, поскольку ей можно найти лишь приблизительные аналоги в других культурах...» (Куренной В. Указ. соч.).

<sup>15</sup> Foucault M. Politics, philosophy, culture: interviews and other writings, 1977-1984. L., 1988. P. 223.

<sup>16</sup> См. об этом: Danaher G., Schirato T., Webb J. Understanding Foucault. St. Leonards, 2000. P. 2. Некоторые историки науки утверждают в этой связи, что в период становления в Европе «научной» медицины, доктора, вдохновленные новыми перспективами познания человека и безусловной верой в науку со стороны общества, «залечили» больше больных, чем вылечили.

<sup>17</sup> См. в отношении «социальных наук» (в современном французском понимании): «Следовательно, социальные науки преходящи. Они появились на свет в силу стечения обстоятельств и предположительно со временем умрут, как умерли схоластика или алхимия...» (Концов Н.Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005. С. 7).

<sup>18</sup> Куренной В. Указ. соч.

<sup>19</sup> См. об этом: Трубина Е.Г. Нарратология: Основы, проблемы, перспективы. Екатеринбург, 2002. С. 73-77. Автор ссылается на работы: Tomlinson B. Phallic Fables and Spermatic Romance: Disciplinary Crossing and Textual Ridicule // Configurations. 1995. Vol. 2. P. 105-134; Martin E. The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-Female Roles // Signs. 1991. Vol. 16. P. 485-501.

<sup>20</sup> «Важным результатом постпозитивистской теории науки был перенос доминант, определяющих развитие науки, из сферы внутринаучных критериев в область ее социального и институционального контекста функционирования» (Куренной В. Указ. соч.).

<sup>21</sup> По мнению Ж. Делеза, разработка этого вопроса Фуко составляет суть его наследия как мыслителя (См.: Kritzman L.D. Introduction: Foucault and the Politics of Experience // Foucault M. Politics, philosophy, culture. P. XXIV).

<sup>22</sup> Foucault M. Politics, philosophy, culture. P. 118, 106.

<sup>23</sup> Ibid. P. 106. Нужно подчеркнуть, что Фуко все же был далек от отождествления «истины» и «власти». В одном из своих интервью он разъяснял: «...когда я читаю – и я знаю, что это приписывают мне – высказывание “знание это власть” или “власть это знание”, я начинаю смеяться, поскольку изучение их *отношений* как раз и есть моя проблема. Если бы они были идентичны, мне не нужно было бы ими заниматься... Сам факт, что я ставлю вопрос об отношении между ними, ясно доказывает, что я не *идентифицирую* их» (Ibid. P. 43).

<sup>24</sup> См. об этом: Трубина Е.Г. Указ. соч. С. 92.

<sup>25</sup> Разумеется, при этом допускается (но только в качестве исключения), что бывают и «политически ангажированные» ученые, и «злые силы», которые их знания могут использовать «не по назначению».

<sup>26</sup> В этой связи уместно заметить, что продолжавшееся в течение десятилетий обсуждение различий между «науками о природе» и «науками о духе», которые были обозначены неокантианцами сто лет назад и до сих пор занимают почетное место в учебниках, у современных исследователей вызывает преимущественно архивный интерес. Они стали все чаще и все настойчивей подчеркивать, что между гуманитарными и естественными науками существует гораздо больше общих черт, чем различий. «Я придерживаюсь взгляда, – пишет Роджер Смит, – что историческое знание является одной из разновидностей знания в гуманитарных науках, то есть в такой же степени наука (в континентально-европейском смысле понятия), как и естественные и социальные науки. Этот взгляд, как мне представляется, предполагает, что эпистемологические условия существования исторического знания принципиально не отличаются от условий существования других форм знания...» (*Smith R. Reflections on the historical imagination // History of the Human Sciences. 2000. Vol. 13. № 4. P. 107*).

<sup>27</sup> См.: *Iggers G. Historiography in the 20<sup>th</sup> Century // The Misuses of History. Oslo, 2000. P. 9-22*. Более подробно: *Idem. Historiography in the Twentieth Century: from scientific objectivity to the postmodern challenge. Hannover; L., 1997*.

<sup>28</sup> Возникновение *историцистской* модели Г. Иггерс относит к 1830-м гг. и связывает с семинаром в Берлинском университете под руководством Л. фон Ранке, который практиковал систематическое применение методов филологической критики к документальным источникам. Впоследствии эта ранкеанская модель распространилась по всей Германии, в 1870-1880-е гг. она была воспринята с некоторыми модификациями во Франции и США, еще позднее – в России, Испании и Великобритании, наконец, в бывших колониальных странах (*Iggers G. Historiography in the 20<sup>th</sup> Century. P. 12*). Эта модель оставалась доминирующей и на протяжении XX в., хотя с конца XIX-го ее стали критиковать представители социальных наук, претендовавшие на большую «научность». *Социологическая* модель означала прежде всего смещение исследовательского интереса от описания политических событий к описанию структур; одним из наиболее ярких свидетельств этих изменений стало «Феодальное общество» Марка Блока (1939-1940). В первые послевоенные десятилетия наблюдается стремление приблизить историю к точным наукам, увлечение количественными методами. В это время появляется исследование Э. Ле Руа Ладюри «Крестьяне Лангедока» (1966), второй том которого целиком состоит из таблиц и графиков – в полном соответствии с позицией его автора: «история, которая не подлежит количественному анализу, не может претендовать на научность» (*Ibid. P. 13*). Соответственно, раздаются голоса о том, что новая «научная» история, подобно естественным наукам или экономике, не может рассчитывать на широкую читательскую аудиторию.

Г. Иггерс подчеркивает, что все три модели, несмотря на заявления их приверженцев об «объективности» и «строгой научности» (в случаях с *историцистской* и *социологической* моделями), так или иначе политически ориентированы и нередко вполне успешно использовались политиками для достижения определенных целей. В первом случае – чаще всего консерваторами (для оправдания бисмарковского решения «германского вопроса» и легитимизации расовой дискриминации в США). Во втором – либералами, рассматривающими историческое развитие как процесс модернизации, который достиг своего пика в послевоенном мировом порядке и нашел наиболее законченное политическое воплощение в образе Соединенных Штатов Америки. В третьем – «новыми левыми» с их обостренным чувством социальной справедливости и критикой модернистской веры в науку и прогресс. Главная опасность, по мнению Иггерса, состоит в том, что историки, опираясь на эти модели в своих трудах, не хотят признавать их идеологическую «подкладку».

<sup>29</sup> Ibid. P. 17.

<sup>30</sup> Ibid. P. 19. В самое последнее время, по мнению Иггерса, происходит слияние социальной и культурной истории, причем социальная история как бы подготавливает почву для культурной истории (P. 23).

<sup>31</sup> Имеется в виду доклад Г. Спигел (Gabriele Spiegel) «Changing Faces of American Medievalism» на конференции «Uses and Abuses of the Middle Ages: 19<sup>th</sup>–21<sup>st</sup> Century» (Будапешт, 30 марта – 2 апреля 2005 г.; <http://medstud.ceu.hu/index?id=10&cikk=106>), а также рукопись неоконченной работы докладчика об истории медиализма в Америке, любезно предоставленная вниманию участников конференции.

<sup>32</sup> В гуманитарных науках по индексу цитирования Фуко занимает первое место на протяжении почти 30 лет.

<sup>33</sup> Foucault M. Politics, philosophy, culture. P. 262.

<sup>34</sup> См. подробнее: Hamilton P. Historicism. L.; N.Y., 1996. P. 139 et passim.

<sup>35</sup> Foucault M. Politics, philosophy, culture. P. 37.

<sup>36</sup> Фуко М. Археология знания / Пер. с фр. С. Митина и Д. Стасова под общ. ред. Бр. Левченко. Киев, 1996. С. 9.

<sup>37</sup> Evans R.J. In Defence of History. L., 1997.

<sup>38</sup> Callincos A. Against Postmodernism: A Marxist Critique. Cambridge, 1992.

<sup>39</sup> О.Г. Эксле приводит примечательный в этом отношении пример из современной немецкой жизни. В 1995 г. один из его коллег в связи с двухсотлетием со дня рождения Л. фон Ранке выступил со следующим заявлением: никакое очернение «понимания науки» и «идеала объективности» недопустимо, поскольку «окончательный отказ от исторической объективности» был сформулирован ни кем иным, как Гитлером. Таким образом, всякому, кто спорит с объективизмом Ранке, следует отдавать себе отчет в том, кто был его «научным предшественником». «Если бы такой отчет имел место, – с горькой иронией добавляет Эксле, – то сейчас, под знаком постмодернизма, “позитивистское стремление к объективности” Ранке обрело бы “легитимность”, даже очевидность» (Эксле О.Г. Что такое исторический источник? // Munuscula. К 80-летию Арона Яковлевича



Гуревича. М., 2004. С. 160-161). Имеется в виду доклад: *Demandt A. Ranke unter den Weltweisen // Vorträge anlässlich der 200. Wiederkehr des Geburtstages Leopold von Rankes*, 14. Dezember 1995. Б., 1996. S. 7-25.

<sup>40</sup> *Thompson W. Postmodernism and History*. Basingstoke, 2004.

<sup>41</sup> *Dews P. Logics of Desintegration: Post-Structuralist Thought and the Claims of Critical Theory*. Л., 1987. P. XI.

<sup>42</sup> *Thompson W. Op. cit.* P. 1.

<sup>43</sup> *Ibid.* P. 5. В категоричности подобного вывода, заметим, нет ничего удивительного, поскольку сам В. Томпсон остается непоколебимым марксистом. «На сегодняшний день, – убежден он, – подход Маркса по-прежнему дает наиболее информативную и эффективную перспективу рассмотрения долговременных исторических изменений и способов анализа отдельных исторических формаций» (*Ibid.* P. 118).

<sup>44</sup> *Ibid.* P. 126-127.

<sup>45</sup> См.: *Ginzburg C. History, Rhetoric, and Proof*. Л.; Hanover, 1999. Книга представляет собой переработанный вариант трех лекций, которые историк прочитал в Иерусалиме в декабре 1993 г.

<sup>46</sup> См. любопытные разъяснения Х. Уайтом его видения истории, данные для российских читателей: Интервью с Хейденом Уайтом // *Диалог со временем*. Альманах интеллектуальной истории. М., 2005. Вып. 14. С. 335-346.

<sup>47</sup> См.: [www.oslo2000.uio.no](http://www.oslo2000.uio.no).

<sup>48</sup> См. также публикацию докладов и выступлений симпозиума «Facing misuses of history» (Осло, 28-30 июня 1999 г.), организованного Советом Европы: *The Misuses of History*. Oslo, 2000. Другой пример аналогичного подхода – недавняя представительная конференция в ЦЕУ о Средневековье – см. прим. 32.

<sup>49</sup> Наиболее часто приводимый пример этого рода – активная роль историков XIX в. в формировании идеологии национализма.

<sup>50</sup> Примечательно, что повестка дня, тематика секций/докладов, да и сама тональность XX конгресса, проходившего в июне 2005 г. в Сиднее заметно отличается от XIX конгресса в Осло 2000 г. (см: [www.cishsydney2005.org](http://www.cishsydney2005.org)). История в материалах XX конгресса в значительной мере предстает как наука позитивная и инструментальная. Очевидно, что это самым непосредственным образом связано с изменениями политической конъюнктуры в мировом сообществе после 11 сентября 2001 г. «Модные» постмодернистские сюжеты отошли на конгрессе на задний план, на передний же выступили «злободневные» вопросы, напрямую связанные с вызовом современности: отношения Запад-Восток, христианского и мусульманского миров, диалог культур, мультикультурализм, война, не-западная история в глобальном контексте (Китай, Индия и др.). Одна из трех центральных тем красноречиво обозначена как «Война, мир, общество и международный порядок в истории». В изменившихся условиях у исторической науки появляется возможность доказать свою общественную полезность, а у историков – укрепить свой авторитет, об-

щественный статус и то влияние, которое они еще не утратили окончательно.

<sup>51</sup> Между тем имеется множество свидетельств того, что установление «научных истин» в гуманитарных науках сегодня, как и вчера, происходит вовсе не в «стерильном» пространстве «борьбы идей». Как, например происходит «соперничество разных точек зрения» по поводу споров о подлинности «Слова о полку Игореве»? Более чем «ненаучно», если говорить о принятых критериях открытого научного спора. Одна из центральных позиций в этой дискуссии, аргументировано оформленная более 40 лет назад (монография А.А. Зимина), остается до сегодняшнего дня доступной немногим избранным специалистам. В предисловии к недавно вышедшей книге известного российского лингвиста в этой связи обнаруживаем любопытную «проговорку»: «Приношу благодарность... В.Л. Янину за возможность воспользоваться его экземпляром книги А.А. Зимина (полученным от автора)...» (*Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: Взгляд лингвиста. М., 2004. С. 4.*) (А.А. Зимин, как известно, являлся (до сих пор является?) одним из самых авторитетных сторонников идеи неподлинности «Слова».) По-видимому, убежденность в том, что к «чистой науке» почти пятидесятилетний запрет на издание монографии одного из крупнейших советских историков-русоведов не имеет отношения, заставляет автора воздержаться от комментариев по поводу такого странного «соперничества научных мнений», в котором критика позиции оппонента происходит на основании недоступного «научной общественности» «самиздатского» труда (сейчас он, правда, все-таки готовится к публикации).

<sup>52</sup> См. об этом: *Гири П. История в роли памяти? // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2005. Вып. 14. С. 106-120.*

<sup>53</sup> *Les Lieux de mémoire / Ed. Pierre Nora. P., 1984-1992. Vol. 1-7. Сокращенный русский перевод: Франция-память / Пер. Д. Хапаевой. СПб., 1999.*

<sup>54</sup> *Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977. С. 404.*

<sup>55</sup> *Geary P.J. The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe. Princeton, 2002.*

<sup>56</sup> *Curta F. The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region, c. 500-700 A.D. Cambridge, 2001.*

<sup>57</sup> *Wolf L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization in the Mind of the Enlightenment. Stanford, 1994. Рус. пер: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.*

<sup>58</sup> См. выше прим. 39.

<sup>59</sup> «В разговорах об объективных фактах, – писал Дройзен, – проявляется полное непонимание природы вещей, которыми занимается наша наука. У нашего исследования нет объективных фактов в их реальности» (*Дройзен И.Г. Историка. СПб., 2004. С. 210.*)

<sup>60</sup> Понятие «источник» в теоретических построениях Дройзена, впрочем, тоже присутствует, однако как второстепенное, выступая в качестве одного из видов «исторического материала».

<sup>61</sup> Kirn P. Einführung in die Geschichtswissenschaft. B., 1959. 3. Aufl. S. 29f.

<sup>62</sup> Гуревич А.Я. Феодализм перед судом историков, или о средневековой крестьянской цивилизации. Здесь и далее статья цитируется по электронной версии, опубликованной на сайте [www.orbis-medievalis.nm.ru](http://www.orbis-medievalis.nm.ru).

<sup>63</sup> Reynolds S. Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted. Oxford, 1994; Die Gegenwart des Feudalismus - Présence du féodalisme et présent de la féodalité – The Presence of Feudalism / Hg. von N. Fryde, P. Monnet & O.G. Oexle. Goettingen, 2002; Kuchenbuch L. "Feudalismus": Versuch über die Gebrauchsstrategien eines wissenschaftspolitischen Reizwortes // Die Gegenwart des Feudalismus; Дубровский И.В. Как я понимаю феодализм? // Конструирование социального. Европа V-XVI вв. М., 2001. С.172; Он же. Феод // Словарь средневековой культуры. М., 2003. С. 561-567.

<sup>64</sup> Гуревич А.Я. «Феодалное Средневековье»: что это такое? Размышления медиевиста на грани веков // Одиссей. Человек в истории. 2002. М., 2002. С. 261–294.

<sup>65</sup> «Что касается отечественной историографии в ее нынешнем виде, – замечает автор, – то приходится констатировать: проблема феодалного Средневековья – понятия и предмета исторического исследования – весьма мало тревожит наших медиевистов, вследствие чего многие продолжают придерживаться довольно-таки заскорузлых взглядов и суждений» (Гуревич А.Я. Феодализм перед судом историков...).

<sup>66</sup> Следует заметить, что это не учебники в нашем смысле слова, ибо такого рода изданий по истории для студентов университетов («у них» нет – и быть, добавлю, не может в силу определенных обстоятельств, о которых тут нет возможности говорить. Обычно в западных университетах их относят к категории «справочной литературы» (reference books).

<sup>67</sup> The Challenge of the West: Peoples and Cultures from the Stone Age to the Global Age / Ed. L. Hunt et al. Lexington (MA), 1995.

<sup>68</sup> Ibid. P. 315.

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid. P. 314 n.

<sup>71</sup> The Pimlico Encyclopedia of the Middle Ages / Ed. N.F. Cantor. L., 1999.

<sup>72</sup> Ibid. P. 164.

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Исключение, пожалуй, следует сделать для одного утверждения: «С исчезновением коммунизма как политической системы в большинстве частей мира, эти идеи (имеется в виду марксистская трактовка феодализма как общественно-экономической формации, предшествующей капитализму. – Ю.З.) в значительной мере утратили свою популярность. В ближайшие десятилетия по мере роста знаний о средневековой Европе другим интерпретациям “феодализма” и “феодалной системы”, по-видимому, уготованы такой же упадок и в конечном счете исчезновение как удовлетворительных описательных инструментов» (Ibid. P. 166).

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> The “Times” Medieval World / Ed. R. McKitterick. L., 2003.

## **ПРАЗДНИК, ПИР И ВЕЧЕ: К ВОПРОСУ ОБ АРХАИЧЕСКИХ ЧЕРТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН\***

В своём докладе А.Я. Гуревич ещё раз обратил внимание на значение пира в европейском средневековом обществе как одного из важнейших традиционных «институтов». Богатую, и что самое существенное, не опосредованную римской культурой, с её политико-правовыми понятиями и риторикой, информацию о нём дают, как показал автор, скандинавские и, в меньшей степени, англосаксонские источники. А.Я. Гуревич убедительно показал и то, что пир являлся, в частности, формой взаимодействия власти и т.н. рядового населения. Отметил исследователь (в связи с другим традиционным «институтом» — обменом дарами) и значимость календарного цикла, в том числе праздников, в социальной жизни средневековой Европы.

Между тем, из поля зрения медиевистов зачастую ускользает не только север Европы (Скандинавия и англосаксонская Англия), но и её восток — балто-славянский мир. Бесспорно, однако, что архаические явления сохранялись там существенно дольше, чем на западе, и некоторые из них были зафиксированы источниками. Особенно это характерно для западнославянских народов, у которых так и не сложились государства (поморские и полабские славяне, сербы-лужичане и др.). У восточных же славян, как известно, в Средние века языком письменности был язык, близкий к народному, что, естественно, сближает этот регион со Скандинавией и англосаксонской Англией и отличает от всей остальной Европы, где безраздельно господствовала латынь. А это как раз и даёт возможность того «обходного манёвра», о котором применительно к северу Европы пишет А.Я. Гуревич; манёвра, позволяющего «несколько ближе подойти к сознанию носителей народного языка»<sup>1</sup>. Историография проблемы крайне бедна. О пирах и дарениях в домонгольской Руси писал И.Я. Фроянов, отметивший некоторые их

---

\* Статья подготовлена при поддержке РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд), проект №05-01-01074а и Фонда содействия отечественной науке.

упоминания в летописях (в чём его несомненная заслуга), однако, трактовал он их в русле своей концепции древнерусского общества как «общинного без первобытности»<sup>2</sup>. В реальности это привело его к очень рискованным и, согласимся с М.Б. Свердловым<sup>3</sup>, бесплодным сопоставлениям обычаев раннесредневекового русского социума с феноменами, свойственными папуасам Новой Гвинеи, эскимосам и индейцам Северной Америки, племенам Полинезии и Меланезии, а почему-то не с явлениями, характерными для обществ, близких к древнерусскому в социокультурном отношении.

Ценная информация о западных славянах, живших в Средние века на побережье Балтийского моря, содержится в житиях «апостола поморян» немецкого епископа Оттона Бамбергского, написанных в 40-50-е гг. XII в. О его миссионерских путешествиях в 1124 и 1128 гг. имеются обстоятельные повествования в посвящённых ему трёх текстах. Автор одного из них, Херборд, свидетельствует, что, когда миссионеры прибыли в один из небольших поморских городков Пыжице — первое, с чем они столкнулись, был как раз праздник: «...мы увидели... что там со всей провинции вдруг собралось до четырёх тысяч человек. Был же какой-то праздничный день у язычников, отмечая который игрой, огнями и пением, неистовый народ оглушал нас громкими криками»<sup>4</sup>. В историографии отмечалась связь как пыжичского собрания, так и других собраний у поморян с культовыми мероприятиями<sup>5</sup>. Обращает на себя внимание и то, что праздник этот сопровождался пиром, или, скорее, пир находился в центре этого праздника: в результате благочестивым проповедникам «не казалось полезным и осмотрительным приближаться к бурлящей от питья и веселья толпе»<sup>6</sup>. По мнению польского историка К. Модзелевского, «сообщение Херборда указывает на связь между вечем и культовым праздником, соединённым с потреблением на общем обрядовом пире... животных, предложенных в жертву богам». И, хотя это предположение кажется всё-таки слишком смелым (в источнике ни о каких жертвоприношениях не говорится), в принципе, исследователь совершенно прав. Прав, думается, К. Модзелевский и в том, что мы имеем дело не с чем-то исключительным, а с «обычной нормой: народ, который собрался на праздник на следующий день остался на месте в ожидании начала веча»<sup>7</sup>.

Выясняется, однако, что речь идёт не просто о приятном времяпрепровождении жителей Пыжице и окрестных территорий («провинции»), а мероприятии, в ходе которого принимаются и политические решения. После того, как совет пыжичской знати («конклав») принял решение о принятии новой веры, его члены «вышли к народу, который собрался как будто на праздник, не

расходясь, по воле Божьей, против обыкновения оставался на месте и не рассеялся по сёлам»<sup>8</sup>. В результате собравшаяся толпа, выслушав *primates*, согласилась с их решением<sup>9</sup>.

Связь политических собраний с языческим культом становится ещё более очевидной из рассказа другого агиографа, Эбона, об «общем собрании» (*generale colloquium*) жителей крупнейшего поморского города Щецина, которое должно было окончательно решить, «принимают ли они бремя Христово или полностью отрекаются (от него. – П.Л.)». По словам Эбона, «в установленный день первосвященник Господа взошёл на гору Триглава в центре города, где находилась резиденция князя, и вошёл в большой дом, подходящий для этого собрания. Присутствовали там знатные со жрецами и старшими по происхождению...»<sup>10</sup>. По-видимому, гора Триглава, т.е., очевидно, центр поклонения местному божеству, была избрана не случайно. Эбон отмечает и роль жрецов (*sacerdotes*) на этом собрании; они указаны чуть ли не в качестве главных участников, наряду со знатью (*natu maiores*) и народом (*plebs*). В научной литературе обсуждался вопрос о составе участников собрания. Основываясь на показаниях Херборда о решающей роли «старших и мудрейших» (*maiores natu et sapientiores*<sup>11</sup>), немецкий исследователь В. Визенер предположил, что это было совещание достаточно узкого круга лиц<sup>12</sup>. Однако наиболее ранний и достоверный агиографический текст об Оттоне Бамбергском – т.н. «Прюфенинское житие», автором которого, по-видимому, был библиотекарь монастыря св. Георгия в Прюфенинге Вольфгер<sup>13</sup>, однозначно свидетельствует о противоположном: «...первые в городе, воссев вместе с остальной толпой, посовещавшись друг с другом, постановили подчиниться епископу и уверовать во Христа...»<sup>14</sup>. Следовательно, и здесь собрание имело достаточно широкий характер.

Однако и совещания элиты поморянского общества также могли быть связаны с культовыми сооружениями, как например, в Щецине, о чём подробно рассказывает Херборд в главе своего «Диалога», посвящённой четырём т.н. «континам» (*cóntine*) – зданиям, связанным с культом местных божеств, прежде всего, упомянутого выше Триглава. В одной из них, которая, по словам агиографа «была главной», хранились «захваченные богатства и оружие врагов и всё, что было приобретено из добычи во время войны на море или же на суше в соответствии с законом отчисления десятины», но также «золотые и серебряные сосуды, которые обычно служили знатым и могущественным для гадания, пира и питания; в праздничные дни их должны были выносить как бы из святилища». Вообще в этом языческом храме наличествовала вся, так ска-

зять, инфраструктура для пиров: «огромные рога диких быков, позолоченные и покрытые драгоценными камнями, пригодные для питья, и рога, пригодные для музыки», а вместе с тем хранились и культовые принадлежности: «многочисленная ценная, редкая и красивая на вид утварь для украшения и почитания их богов...»<sup>15</sup>. Наконец, главное место занимал главный объект культа – «трёх-главое изображение, которое, имея на одном туловище три головы, называлось Триглавом...»<sup>16</sup>. В высшей степени существенно, что три другие континты использовались лидерами щецинского общества для, условно говоря, более светских занятий: «Три же другие континты пользовались меньшим почтением и были меньше украшены. Внутри по окружности были установлены только сиденья и столы, так как там они имели обыкновение проводить свои собрания; а именно, если они желали или пить, или развлекаться, или обсуждать свои важные дела, они сходились в определённые дни и часы в эти же здания»<sup>17</sup>. Связь здесь между такими социокультурными феноменами, как праздничная религиозная церемония, пир и политическое собрание совершенно очевидна<sup>18</sup>.

Интересно, что западнопоморский князь Вартислав – верховный правитель славянских городов-«республик» на Балтийском море, уже обратившийся в христианство, «назначил собрание знатных и выдающихся людей всей области и правителей городов»<sup>19</sup> (Херборд; согласно Эбону, «повелел [созвать] общее совещание первых лиц своего королевства», в котором приняли участие «первые лица города Дымина и других городов»<sup>20</sup>) в городе Узнаме именно на праздник Пятидесятницы, используя, вероятно, ещё языческую традицию совмещения религиозного празднества и политического собрания.

О том, насколько важно было участие в пире в архаическом славянском обществе, сохранилось прекрасное свидетельство немецкого хрониста Хельмольда, относящееся, правда, уже не к поморским, а к полабским славянам – ваграм. В январе 1156 г. немецкий епископ Герольд побывал в гостях у князя вагров Прибислава. В свите епископа находился и Хельмольд, рассказывающий об этом удивительном для него визите следующее: «...Прибислав пригласил нас зайти в его дом, который находился в далёком селении. И он принял нас с большим радушием и устроил для нас роскошный пир. Стол перед нами был заставлен 20 блюдами. Здесь я на собственном опыте убедился в том, что до тех пор знал лишь понаслышке, а именно, что в отношении гостеприимства нет другого народа более достойного [уважения], чем славяне; принимать гостей они, как по уговору, готовы, так что нет необходимости просить у кого-нибудь гостеприимства. Ибо всё, что они получают

от земледелия, рыбной ловли или охоты, всё это они предлагают в изобилии, и того они считают самым достойным, кто наиболее расточителен. Это стремление показать себя толкает многих из них на кражу или грабёж. Такого рода пороки считаются у них простительными и оправдываются гостеприимством. Следуя законам славянским, то, что ты ночью украдёшь, завтра ты должен предложить гостям». Пир, угощение, предлагаемое гостям, оказывается здесь в определённой мере средоточием социальной и хозяйственной жизни, важнейшим звеном в иерархии ценностей, средством поддержания и укрепления социального престижа. Естественно, отсюда следует, что человек, отказывающийся «играть по правилам» данного социума, нарушающий законы гостеприимства и покушающийся на «святое» – пир, моментально утрачивает свой статус и может даже подвергнут суровому наказанию. Согласно Хельмольду, «если же кто-нибудь, что случается весьма редко, будет замечен в том, что отказал чужеземцу в гостеприимстве, то дом его и достатки разрешается предать огню, и на это все единодушно соглашались, считая, что кто не боится отказать гостю в хлебе, тот – бесчестный, презренный и заслуживающий общего посмешища человек»<sup>21</sup>. К. Модзелевский полагает, что «возможно, Хельмольд не в полной мере отдавал себе отчёт в том, что он описывал. Обращение коллектива против индивидуума, который нарушал правила гостеприимства, было здесь чем-то значительно более ощутимым, чем моральное осуждение. Сожжение дома было одним из строжайших наказаний, которые применяли племенные общества»<sup>22</sup>. Действительно, сам способ наказания, заметим, совпадает с тем, который, по словам ещё одного немецкого хрониста Титмара Мерзебургского, писавшего в начале XI в., применялся другими полабскими славянами – лютичами – в отношении тех, кто нарушал «правила поведения» на ином, не менее важном общественном мероприятии славянского архаического социума – «народном собрании»: «И всеми теми, которые вместе называются лютичами, никакой властитель единолично не управлял. Разбирая важные дела на собрании путём единодушного осуждения, они все приходили к согласию для принятия решений. Если же кто-либо из соотечественников на собрании против них возражает, того бьют палками и, если вне (собрания. – П.Л.) оказывает открытое сопротивление, он либо всё теряет в результате поджога (курсив мой. – П.Л.) и безостановочного разграбления, либо он в их присутствии выплачивает в зависимости от своего состояния необходимую денежную сумму»<sup>23</sup>.

Не стоит, думается, вслед за поражённым гостеприимством вагров Хельмольдом считать, что мы имеем дело с какими-то при-



сущими исключительно славянам социальными феноменами. Ведь и у балтского народа пруссов, сохранившего вплоть до конца XIII в., когда они были покорены немецкими крестоносцами, очень архаичные черты общественного строя, мы сталкиваемся с подобными явлениями. По свидетельству орденского хрониста Петра из Дусбурга, собрания (*placita, parlamenta*) у них были тесно связаны с культовыми церемониями, а центром социально-политической жизни был пир (*potacio*)<sup>24</sup>. По-видимому, эти социокультурные феномены были в той или иной мере свойственны всей т.н. варварской Европе или её значительной части. Вопрос этот, впрочем, требует, несомненно, отдельного изучения.

Однако, на первый взгляд, тут можно возразить, что всё сказанное имеет отношение только к задержавшимся в своём развитии архаическим, традиционным обществам, у которых не сложилось развитой государственности и т.п.

Но вот на Руси, в XII-XIII вв., где уже более 200 лет существует государственность, фиксируются явления, поразительно схожие с отмеченными выше у поморских славян.

В литературе хорошо известны древнерусские пиры. Однако предметом внимания были в основном те, в которых участвовала исключительно социальная верхушка: князья и дружинники, а, значит, они при отождествлении элитарной группы древнерусского общества с «феодалами», могут быть охарактеризованы как «феодальные» церемонии. Но есть и другие пиры, которые явно не вписываются в «феодальную» модель.

По материалам гораздо более поздним, относящимся к XVII в., известны ритуальные пиры-братчины (преимущественно на Русском Севере). Сопоставлялись они и с засвидетельствованными в житиях Оттона Бамбергского «собраниями» в храме Триглава в Щецине<sup>25</sup>. Однако русские братчины позднего времени — это собрания прихожан погостского храма, т.е. почти сплошь крестьян. Естественно, никакого специально политического значения они не имели.

Однако есть и существенно более раннее русское свидетельство о братчине, хронологически близкое к зафиксированным в житиях епископа Оттона рассказах о поморянах. Под 6667 (1158<sup>26</sup>) г. в Ипатьевской летописи сообщается о «братщине» в Петров день в Полоцке, переросшей в «вече на князя», в результате чего Рогволод Борисович вернул себе полоцкий стол: «...свѣтъ золь свѣща на князя своего Полочане на Ростислава на Глѣбовича... и начаша Ростислава звати лъстью оу братщину к святѣи Богородици к Старѣи на Петровъ днь, да ту имуть и. Он же ѣха к ним,

изволочивъся в бронѣ подѣ порты, и не смѣша на нь дѣръзнути». На следующий день полочане снова стали приглашать князя к себе, однако, приехавший из города «дѣтський» Ростислава сказал ему: «Не ѣзди, княже, вѣче ти в городѣ, а дружину ти избиваютъ, а тебе хотять яти»<sup>27</sup>. Несмотря на то, что по поводу полоцкой «братъщины» в историографии высказывались разные соображения, бесспорно, как нам представляется (особенно с учётом поздних сведений), её понимание как «праздничного пира»<sup>28</sup>. Таким образом, и здесь, как и в поморской Пыжице, политическое собрание совпало с праздником (правда, в Пыжице – с языческим, в Полоцке – с христианским) и пиром.

При этом действующие в летописном сообщении полочане – участники «совета злого», «братъщины» и веча, собранного с целью изгнать Ростислава из Полоцка, однозначно отделяются от княжеских дружин. Дружина Ростислава, к которой принадлежал явившийся к князю в Белцицу детский (т.е. младший дружинник), хотя и находилась в Полоцке (по крайней мере, её часть), в вече явно не участвовала и в число «полочан» данной статьи не входила; наоборот, «полочане» её избивают. Дружина же Рогволода Борисовича, в это время, естественно, была со своим князем в Друцке. Следовательно, полочане, полоцкие вечники этой летописной статьи – представители недружинной части населения, разных категорий полоцких горожан. Но можно ли себе представить пир, столь широкий по составу, и не в языческом Поморье, а в русском средневековом городе?

Под 6656 (1149)<sup>29</sup> г. в Ип. описывается вече в Новгороде, составленное прибывшим туда князем Изяславом Мстиславичем. «...и тако в Новѣгород приде (Изяслав. – П.Л.) с великою честью и въ день недѣльный, и тоу оусрѣте сынъ его Ярославъ с боярь Новгородыцкыми и ѣхаста к святой Софьи на обѣдную. Изяславъ же [с] сыномъ Ярославом и посласта подвоискѣи и биричѣ по оулицамъ кликати, зовучи къ князю на обѣдъ от мала и до велика, и тако обѣдавшѣ, веселишася радостью великою, честью разидошася въ своя домы. На оутрии же день пославъ Изяславъ на Ярославль дворъ, и повелѣ звонити, и тако Новгородци и Псковичи снисдошася на вѣче»<sup>30</sup>.

И здесь бросается в глаза взаимосвязь веча и пира («обеда»). Среди новгородцев, бесспорно, выделяются новгородские бояре. Именно они вместе с князем встречают Изяслава. Однако состав участников и пира, и, очевидно, веча шире. На «обед», по приказу князя, зовут всех новгородцев «от мала до велика», т.е. не только бояр. При этом биричей и подвойских рассылают по новгородским улицам, а не по волости или сѣлам, что говорит об участии в этом

пиршестве именно горожан. Такой же состав, надо думать, имеет и вече, созданное наутро после того, как новгородцы повеселились на «обеде» «радостью великой» и разошлись по домам. Ведь, когда летописец имеет в виду новгородских бояр, он их в этой статье и называет боярами, а вечников он именует новгородцами, т.е. более общим понятием. Подтверждает это предположение и указание Московского летописного свода конца XV в., сохранившего во многих статьях, как показал А.Н. Насонов, «очищенный текст южнорусского источника», близкого к Ип., но дающего в ряде случаев лучшие чтения<sup>31</sup>; согласно ему, на вече «снидошся Новгородци вси»<sup>32</sup>. В вече участвуют и представители «пригорода» – псковичи. Вполне вероятно, что такое же по существу явление подразумевается в статье Новгородской Первой летописи под 6747(1249/50<sup>33</sup>) г.: «Оженися князь Олександръ, сынъ Ярославъ в Новѣгородѣ, поя в Полотыскѣ у Брячслава дчерь, и вѣнчася в Торопчи; ту кашю чини, а в Новѣгородѣ другую»<sup>34</sup>. Пирь в Торопце и Новгороде называются не «обедами», а «кашами», что совершенно не удивительно: ведь и в XVII в. главными продуктами, потребляемыми на приходских братчинах были пиво и каша<sup>35</sup>. Поводом для пира здесь стал не церковный праздник, а женитьба княжича, будущего Александра Невского, что, конечно, принципиального значения не имеет.

В Киеве мы тоже встречаемся с «политическими» пирами. Под 6659 (1151<sup>36</sup>) г., в Ип. рассказывается об участии в «обеде», данном Изяславом Мстиславичем, уже «всех киян»: «Оуведѣ Изяславъ стрѣя своего и отца своего Вячслава оу Киевѣ. Вячславъ же оуѣха в Киев, и ѣха к святѣѣ Софѣи, и сѣде на столѣ дѣда своего и отца своего, и позва сына своего Изяслава к собѣ на обѣдѣ, и Кияны всѣ, и королевы мужи, и Оугры, и с их дружиною, и пребыша в величи любви»<sup>37</sup>. Примечательно, что и здесь в пире участвуют не только князья и дружина, но и «все кияне», т.е. киевские горожане. Их присутствие на пиру не должно смущать, так как, видимо, действительно, это было весьма масштабное мероприятие: в нем участвовали не только «мужи» венгерского короля, т.е. знать, но и «Угры» – рядовые члены венгерского войска. Конечно, о политическом значении этого пира прямо в летописи не говорится.

Но в той же летописи ниже, под 6703 (1195<sup>38</sup>) г. мы видим уже развёрнутую картину традиционных социально-политических отношений в киевском социуме. Речь в ней идёт о заключении договора между двумя могущественными русскими князьями того времени, братьями Ростиславичами: Давыдом смоленским и Рюриком киевским: «Посла Рюрикъ по брата своего по Давыда къ Смоленскоу, река емоу: «И поиде Давыдъ и-Смоленска в лодяхъ [с]

Смолняны, и приде Вышегородъ во средю роусалной недѣлѣ. И позва и Рюрикъ на обѣдъ. Давыдъ же приѣхъ ко Рюрикови на обѣдъ, и быша в любви велици и во весельи мнозѣ, и даривъ дары многими, и отпусти и. И оттолѣ позва сыновѣцъ его Ростиславъ Рюриковичъ к собѣ на обѣдъ к Бѣлоугородоу, и тоу пребыша в весельи велицѣ и в любви мнозѣ. Ростиславъ одаривъ дары многими и отпусти. И Давыдъ же позва великого князя Рюрика на обѣдъ к собѣ брата своего и дѣти его, и тоу пребыша в весельи и в любви велицѣ. И одаривъ Давыдъ брата своего Рюрика дарми многими и отпусти и. Потомъ же Давыдъ позва монастыря вся на обѣдъ, и бысть с ними весель, и милостыню силноу раздава имъ и нищимъ, и отпусти я. Потомъ же позва Давыдъ Чернии Клобоуци вси, и тоу попишася оу него вси Чернии Кло[боу]ци, и одаривъ их дарми многими, и отпусти их. Кыянѣ же почаша звати Давыда на пирь, и подаваючи емоу честь великоу и дары многи. Давыдъ же позва Кыянѣ к собѣ на обѣдъ, и тоу бысть с ними в весельи мнозѣ, и во любви велици, и отпусти их»<sup>39</sup>. Выясняется, что соглашение между князьями в этот период требовало урегулирования отношений этих князей с влиятельными в Киевской земле силами: князьями и их окружением; духовенством («монастырями»); находившимися на службе у русских князей тюрками-федератами («чѣрными клобуками»); киевскими горожанами, образовывавшими во время войны, по выражению летописца, «сильный полк Киевский» («кыянами»). И тем механизмом, который обеспечивает это, оказывается не что иное, как целая серия *пиров*, сопровождающаяся *обменом дарами*. Самые ранние свидетельства об одаривании как об элементе социальной жизни, играющем важную роль в отношениях между князем и населением зафиксированы в упоминавшейся выше «Хронике» Титмара Мерзебургского и русском начальном летописании в повествованиях о борьбе за власть после смерти князя Владимира Святославича<sup>40</sup>. Согласно Титмару, когда союзник Святополка «Окаянного» Болеслав Храбрый вторгся на территорию Руси, он «с желанным успехом преследовал рассеявшихся врагов, и его принимали все жители и почтили многочисленными дарами»<sup>41</sup>. В добровольности этих «многочисленных даров» можно, конечно, сомневаться, но то, что термин *munera* (дары), по-видимому не является чисто риторическим, а отражает некий реальный церемониал в отношениях между польским князем и русским населением, выясняется из данных начального летописания, в соответствии с которыми ещё раньше, в 1015 г., первой акцией Святополка, стремившегося укрепиться в Киеве было одаривание местных жителей: «Святополкъ сѣде в Киевѣ по отци, и съзва кыянѣ и нача даяти имѣние имѣ...»<sup>42</sup>. Ниже в ПВЛ сооб-

щается (этого известия нет в НПЛ) следующее: «Святополкъ же оканьныи нача княжити Киевѣ. Созвавъ люди, нача даяти овѣмъ корзна, а другимъ кунами, и раздая множество»<sup>43</sup>. Аналогичное сообщение есть и в «Сказании о Борисе и Глебе»: «Святопълкъ же сѣдя Киевѣ по отци, призвавъ Кыяны, много дары имѣ давъ, отпусти»<sup>44</sup>. Здесь, как видим, используется даже тот же термин: «дары». Разница в том, что Болеслава одаривало русское население, а Святополк сам одаривал киевлян, что объясняется, конечно, разным положением князей: Болеслав выступал как удачливый завоеватель, и люди были заинтересованы в его благосклонности, Святополк же, напротив, сам зависел от благосклонности киевлян, поэтому дары, очевидно, ожидались от него. М.Б. Свердлов резонно замечает, что «это была обычная для средневековья форма “щедрости” как средства привлечения князьями (королями) симпатий прежде всего городского населения на свою сторону»<sup>45</sup>.

В событиях же 1195 г. существенно то, что в случае с киевлянами мы имеем дело не просто с одариванием правителем подвластных ему людей, но именно с церемонией, где в роли дарителей выступают обе стороны.

Нельзя исключать того, что столь же масштабное по составу участников торжественное мероприятие имеет в виду и проезжавший в 1247 г. через южную и юго-западную Русь на обратном пути из Каракорума францисканец Джованни дель Плано Карпини: «Киевляне же, узнав о нашем прибытии, все радостно вышли нам навстречу, именно они поздравляли нас, как будто мы восстали от мёртвых... Даниил и Василько, брат его<sup>46</sup>, устроили нам большой пир и продержали нас против нашей воли дней с восемь»<sup>47</sup>. Слово *festum*, которое используется в оригинале, означает одновременно и пир и праздник, т.е., по-видимому речь идёт именно о торжественном праздничном пире. Либо в ходе него, либо сразу после состоялось совещание, на котором, если верить католическому монаху, обсуждался вопрос о признании южнорусскими землями покровительства Римской церкви: «Тем временем они совещались между собою с епископами и достойными уважения людьми о том, о чём мы говорили с ними, когда ехали к Татарам, и единодушно ответили нам, говоря, что желают иметь господина Папу своим преимущественным господином и отцом, а святую Римскую Церковь владычицей и учительницей...»<sup>48</sup>. В самом совещании, вполне возможно, участвовали только представители социальной элиты (хотя точно установить, кто скрывается за понятием *probi viri*, сложно), но связь его с торжественной встречей почётных гостей и последовавшим за ней праздничным пиром, прослеживается достаточно ясно.

Итак, несмотря на заметные различия между рассмотренными явлениями у поморян и в Древней Руси (так, например, в собраниях поморян иногда участвуют не только горожане, как это характерно для древнерусского вече, но и сельское население из «провинции» — явное свидетельство более архаического характера социально-политических структур у поморских славян), очевидны и общие, весьма существенные черты. Мы видим, что свойственное для многих историков XIX в. (да и более позднего времени) стремление чётко определить сущность и функции «институтов» раннесредневековых или архаических обществ здесь не работает. С чем мы имеем дело? С праздником, языческим или христианским? С пиром, который становится центром социальной жизни данной территории? С собранием «народа», принимающим важнейшее политическое решение и признаваемым в качестве легитимного «института» властными структурами (князем и знатью)? По-видимому, и с тем, и с другим, и с третьим. Обращает на себя внимание ещё и то, что зачастую в собраниях участвует отнюдь не только элита, но и широкие слои населения, что выводит эти явления за рамки традиционного представления о «феодальных» ритуалах. Очевидно, именно здесь, на праздничном пире-собрании и происходит выявление, манифестация единства данных политикотерриториальных общностей.

Может возникнуть вопрос: какое эти, безусловно, лишь предварительные наблюдения, требующие дальнейшего анализа, имеют отношение к проблеме «феодализма», русского или общеевропейского? На первый взгляд, это отношение — чисто негативное. Действительно, А.Я. Гуревич многократно и в т.ч. в обсуждаемом докладе отмечал, что для историков, придерживающихся, условно говоря, феодальной концепции, рассматривавшихся выше явлений либо вообще не существует, либо они объявляются маргинальными (их могут относить к сфере малопочтенных в системе традиционного научного дискурса разделов истории, таких, как быт, нравы, повседневная жизнь), либо, если это невозможно, их пытаются насильно втиснуть в рамки господствующей концепции. В историографии Древней Руси это произошло соответственно с пиром (практически ускользнувшим из поля зрения «серьёзных» историков»), праздником (монополия на его изучение, в том числе как явления социального принадлежит этнографам) и вече (которое, будучи ещё в XIX в. вырвано историками государственно-правовой школы из контекста аналогичных социальных явлений традиционного общества и, приобретя сомнительную честь называться «институтом», в историографии советской пострадало ещё больше: именно в связи с вече были сформулированы самые

своеобразные теории древнерусского социально-политического строя – от идеи узкословной «феодальной демократии» до концепции общинного народовластия, аналогичного древнегреческому полисному устройству<sup>49</sup>). Если же мы дадим этим (и многим другим, не затрагивавшимся в этой работе) явлениям право на существование, они, на наш взгляд, не смогут быть адекватно объяснены лобой формой «феодальной концепции»: как истматовской, так и модифицированной – теорией «государственного феодализма». В этом смысле эвристическая модель феодализма не способствует изучению этих явлений (разумеется, автор этих строк отнюдь не собирается столь же догматически отрицать, что для каких-то *других* проблем она может быть полезной и является таковой).

Однако, в действительности, очень часто споры о «феодализме» маскируют, как кажется, совершенно иную проблему – места Руси (России) в Европе (или отсутствия оно). Это ясно видно по появившимся в последние годы публикациям. Так, например, А.Л. Юрганов, не обнаружив на Руси свойственных вроде бы для классического западноевропейского феодализма явлений (вассально-ленных отношений и т.д.) ставит вопрос об особом цивилизационном пути России и даже о русско-монгольском синтезе. С другой стороны, в недавней монографии М.Б. Свердлов, отметив другие феномены, напоминающие, по его мнению, западноевропейские аналоги, делает на этом основании противоположный вывод; одновременно эти схожие явления последовательно объявляются «феодальными»<sup>50</sup>.

Иными словами, мы видим, что «феодализм» стал этикеткой, эмблемой других, более глубоких проблем, для изучения которых требуется, на наш взгляд, перемена самой исследовательской точки зрения (от абстрактных теорий к реальности) и включение в контекст сравнительно-исторических исследований проблематики, иррелевантной для традиционных дискуссий о «феодализме». В этом смысле чрезвычайно полезной и потенциально плодотворной кажется недавняя попытка польского медиевиста К. Модзелевского рассмотреть целый ряд характерных для архаических и раннесредневековых обществ явлений в рамках модели «варварской Европы». Под «варварской Европой» историк понимает этнические группы, которые в течение долгого времени либо не испытывали влияния средиземноморской культуры, либо такое влияние было слабым (германцы, славяне, кельты, балты, угро-финны). Тем самым у них в течение длительного времени сохранялись важнейшие особенности традиционного общественного строя. С другой стороны, К. Модзелевский вслед за немецким учёным

Р. Венкусом<sup>51</sup> полагает, что устоявшаяся в науке ещё со с первой половины XIX в. и основанная на свойственных для романтического периода историографии представления о «национальном духе» традиции рассматривать социальные структуры указанных народов в отрыве друг от друга принципиально неверна. Напротив, справедливо, думается, возражая против такой «сегрегации», он соглашается с Р. Венкусом в том, что славяне и балты, германцы и кельты относятся, несмотря на все отличия, относятся в широком смысле к одному «культурному кругу, в пределах которого традиционные общества были организованы на близких принципах»<sup>52</sup>. В своей монографии К. Модзелевский на основе такого подхода рассматривает некоторые важнейшие, с его точки зрения, из этих принципов, в том числе и вече<sup>53</sup>.

Попыткой наметить некоторые пути такого подхода и является данная работа.

<sup>1</sup> См. статью в настоящем сборнике: *Гуревич А.Я.* Феодализм пред судом историков или о средневековой крестьянской цивилизации.

<sup>2</sup> *Фроянов И.Я.* Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 137-149.

<sup>3</sup> См., например: *Свердлов М.Б.* Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII вв. СПб., 2003. С. 189.

<sup>4</sup> «...Illic hominum ad quatuor milia ex omni provincia confluisse ... aspeximus. Erat enim nescio quis festus dies paganorum, quem lusu, luxu cantuque gens vesana celebrans vociferacione alta reddidit attonitos» (Herbordi Dialogus de vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis / Monumenta Poloniae Historica. Series Nova. Rec. et ann. J. Wikarjak, praef. et comm.. est K. Liman. Warszawa, 1974. T. VII. Fasc. 3. II. 14. [далее – Herbordus] S. 84). Х. Ловмянский считает, что речь идёт о русалиях — языческом празднике, сопровождавшемся «совместным потреблением пожертвованной пищи, обрядовыми пенями, плясками, общим весельем». См.: *Ловмянский Х.* Религия славян и её упадок. VI-XII вв. СПб., 2003. С. 187.

<sup>5</sup> См., например: *Zernack K.* Die burgstädtischen Volksversammlungen bei den Ost- und Westslaven. Studien zur verfassungsgeschichtlichen Bedeutung des Veče. Wiesbaden, 1967 (Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des Europäischen Ostens. Bd. 33). S. 227-228, 231, 235.

<sup>6</sup> Ibid.: «...nobis visum est... in turbam potu leticiaque ferventem nos... advenire».

<sup>7</sup> *Modzelewski K.* Barbarzyńska Europa. Warszawa, 2004. S. 377, 378.

<sup>8</sup> Ibid. S. 86: «...ad populum egressi, qui sicut ad festum confluerat, contra morem indispersus Dei nutu in loco manebat nec in rus discesserat».

<sup>9</sup> См. у Херборда: «...omnis illa multitudo populi auditis primatum verbis in eandem sese convenienciam inclinaverit» (Ibid.).

<sup>10</sup> «Indicitur ergo generale colloquium post quatuordecim dies, in quo certa diffinitione sacerdotes cum plebe iugum Christi aut susciperent, aut penitus abdicarent. Statuta igitur die antistes Domini montem Trigelawi in media



civitate, ubi sedes erat ducis, ascendit, magnamque domum, huic colloquio opportunam, intravit. Assunt principes cum sacerdotibus natuque maioribus...» (Ebonis Vita S. Ottonis episcopi Babenbergensis / MPH. S. N. Rec. et ann. J. Wikarjak, praef. et comm. est K. Liman. Warszawa, 1969. T. VII, Fasc. 2. III. 16. S. 123-124; далее: Ebo). См. об этом: Dzieje Szczecina. T. 2. Wiek X – 1805. Warszawa; Poznań, 1985. S. 34.

<sup>11</sup> Herbordus. III. 20. S. 182.

<sup>12</sup> См.: Wiesener W. Die Geschichte der christlichen Kirche in Pommern zur Wendenzeit. B., 1889. S. 103.

<sup>13</sup> См.: Wikarjak J. Żywoty Ottona jako źródło historyczne // Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona. Warszawa, 1979. S. 22-23.

<sup>14</sup> «...Principes civitatis cum reliqua multitudo consedentes, habita secum deliberatione, obtemperare episcopo et Christo credere decreverunt...» (S. Ottonis episcopi Babenbergensis Vita Prieflingensis / MPH. S. N. Rec. et ann. J. Wikarjak, praef. et comm. est K. Liman. Warszawa, 1966. T. VII, Fasc. I. III. 10. S. 68).

<sup>15</sup> Herbordus. II. 32. S. 122-123: «Erant autem in civitate Stetinensi contine quatuor. Sed una ex his que principalis erat, mirabili cultu et artificio constructa fuit... In hanc edem ex prisca patrum consuetudine captas opes et arma hostium et quicquid ex preda navali vel etiam terrestri pugna quesitum erat, sub lege decimationis congregabant. Crateres etiam aureos vel argenteos, in quibus augurari, epulari et potare solebant ac potentes in diebus sollempnitatum quasi de sanctuario proferendos ibi collocaverant. Cornua etiam grandia taurorum agrestium deaurata et gemmis intexta, potibus apta et cornua cantibus apta, mucrones et cultros, multamque suppellectilem preciosam, raram et visu pulchram, in ornatu et honorem deorum suorum ibi conservabant...»

<sup>16</sup> Ibid. S. 124: «Erat autem ibi simulacrum triceps, quod in una corpore tria capita habens Triglaus vocabatur...»

<sup>17</sup> Ibid.: «Tres vero alie contine minus venerationis habebant minusque ornate fuerant. Sedilia tantum intus in circuitu exstructa erant et mense, quia ibi conciliabula et conventus suos habere soliti errant; nam sive potare sive ludere, sive seria sua tractare vellent, in eadem edes certis diebus conveniebant et horis».

<sup>18</sup> См. Об этом также: Boron P. Słowiańskie wiece plemienne. Katowice, 1999 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. #1841). S. 88.

<sup>19</sup> «...Baronibus et capitaneis totius provincie ac prefectis civitatum in festo pentecostes conventum indixit...» (Herbordus. III. 3. S. 152).

<sup>20</sup> «Statimque in festivitate penthecostes generale principum regni sui colloquium in eodem loco indixit. Ubi convenientibus Timinensis civitatis aliarumque urbium primoribus, sapienter eos ad suscipiendum christiane fidei iugum provocabat» (Ebo. III. 6. S. 104).

<sup>21</sup> Гельмольд. Славянская хроника. М., 1963 / Пер. Л.В. Разумовской. С. 184-185. В оригинале: «...rogavit Pribizlaus ut deverteremur in domum suam, que erat in oppido remotiori. Et suscepit nos cum multa alacritate, fecitque nobis convivium lautum. Mensam nobis appositam viginti fercula cumularunt. Illic experimento didici, quod ante fama vulgante cognovi, quia nulla gens honestior Sclavis in hospitalitatis gratia; in colligendis enim hospitibus omnes quasi

ex sentential alacres sunt, ut nec hospitium quondam postulare necesse sit. Quicquid enim in agricultura, piscationibus seu venatione conquirunt, totum in largitatis opus conferunt, eo fortiorem quemquam quo profusorem iactantes. Cuius ostentationis affectatio multos eorum ad furta vel latrocinia propellit. Que utique vitiorum genera apud eos quidem venialia sunt, excusantur enim hospitalitatis palliatione. Sclavorum enim legibus accedens, quod nocte furatus fueris, crastina hospitibus disperties. Si quis vero, quod rarissimum est, peregrinum hospitio removisse deprehensus fuerit, prius domum vel facultates incendio consumere licitum est, atque in id omnium vota periter conspirant, illum inglorium, illum vilem et ab omnibus exsibilandum dicentes, qui hospitii panem negare non timuisset (*Helmold von Bosau*. Slawenchronik / Neu übertragen und erläutert von H. Stooß. Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. B., 1963. Bd. XIX. S. 286)).

<sup>22</sup> *Modzelewski K.* Barbarzyńska Europa. S. 30.

<sup>23</sup> «Hiis autem omnibus, qui communiter Liutici vocantur, dominus specialiter non presidet ullus. Unanimi consilio ad placitum suimet necessaria discucientes, in rebus efficiendis omnes concordant. Si quis vero ex comprovincialibus in placito hiis contradicit, fustibus verberatur et, si forinsecus palam resistit, aut omnia incendio et continua depredatione perdit aut in eorum presentia pro qualitate sua pecuniae persolvit quantitatem debitae (Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon)» (*Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum. Nova Series. B., 1935. T. IX. Hg. von R. Holtzmann. VI. 25 (18). S. 304*). См. об этом: *Zernack K.* Die burgstädtischen Volksversammlungen... S. 212-213; *Łowmiański H.* Początki Polski. Warszawa, 1970. T. IV. S. 90-91.

<sup>24</sup> *Petri de Dusburg.* Chronica Terre Prussie / Übersetzt und erläutert von K. Scholz und D. Wojtecki. Darmstadt, 1984. III. 5. S. 104, 106; 210. Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Bd. XXV.. S. 324, 326 (русский перевод: *Пётр из Дусбурга.* Хроника земли Прусской / Изд. В.И. Матузова. М., 1997. С. 52-53; 134).

<sup>25</sup> См.: *Флоря Б.Н.* Отношения государства и церкви у восточных и западных славян (Эпоха средневековья). М., 1992. С. 85.

<sup>26</sup> См.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. М., 1963. С. 170.

<sup>27</sup> ПСРЛ. Т. 2. Стб. 494-496.

<sup>28</sup> См.: *Тихомиров М.Н.* Крестьянские и городские восстания на Руси XI-XIII вв. М., 1955. С. 212; *Рыбаков Б.А.* Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982. С. 520; *Фроянов И.Я.* Древняя Русь. Опыт исследования истории социальной и политической борьбы. М.; СПб., 1995. С. 526; *Mühle E.* Die städtischen Handelszentren der nordwestlichen Ruß. Anfänge und frühe Entwicklung altrussischer Städte (bis gegen Ende des 12 Jahrhunderts). Stuttgart, 1991. S.236, 236 Anm. Ср., например, мнения М.В. Довнар-Запольского, полагавшего, что «братыщина» — это церковное братство при храме св. Богородицы (см.: *Довнар-Запольский М.В.* Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия. Киев, 1891. С. 47) и В.Т. Пашуто, считавшего братышину купеческим объединением, возглавившим выступление полочан (см.: *Пашуто В.Т.* Черты политического строя Древней Руси // Древнерусское государство и его междуна-

родное значение. М., 1965. С. 28; см. также: *Штыхов Г.В.* Древний Полоцк. IX-XIII вв. Минск, 1975. С. 18-19). Эти тезисы не подтверждены данными источников.

<sup>29</sup> См.: *Бережков Н.Г.* Хронология... С. 61, 147-148, 312

<sup>30</sup> ПСРЛ. Т. 2. Стб. 369-370.

<sup>31</sup> *Насонов А.Н.* История русского летописания XI – начала XVIII в. М., 1969. С. 288.

<sup>32</sup> ПСРЛ. Т. 25. С. 45.

<sup>33</sup> См.: *Бережков Н.Г.* Хронология... С. 262.

<sup>34</sup> ПСРЛ. Т. 3. С. 77.

<sup>35</sup> См.: *Флоря Б.Н.* Указ. соч. С. 85.

<sup>36</sup> 6659 г. в Ип. мартовский, а «описываемые события происходили ... в конце марта или, во всяком случае, не позже самого начала апреля» (*Бережков Н.Г.* Хронология... С. 141, 151).

<sup>37</sup> ПСРЛ. Т. 2. Стб. 418-419.

<sup>38</sup> Это известие находится в первой части статьи Ип. под 6703 г., которая, согласно Н.Г. Бережкову, относится к соответствующему же мартовскому году. Давыд Ростиславич прибыл в Вышгород в среду «русальной недели» (т.е. седмицы после праздника Св. Троицы), которая в тот год приходилась на 17 мая. (См.: *Бережков Н.Г.* Хронология... С. 207). Следовательно, описываемые события происходили в 1195 г. от Р.Х.

<sup>39</sup> ПСРЛ. Т. 2. Стб. 681-682.

<sup>40</sup> Подробнее о социально-политических аспектах проблемы см.: *Лукин П.В.* Киевляне XI века в русских источниках и «Хронике» Титмара Мерзебургского // *Древняя Русь*. 2003. № 4 (14). Декабрь. С. 94-96.

<sup>41</sup> В оригинале: «...optata prosperitate inimicos palantes insequitur et ab incolis omnibus suscipitur multisque muneribus honoratur» (*Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon*. VIII. 31 (16). S. 530).

<sup>42</sup> ПСРЛ. Т. 3. С. 169. В ПВЛ читается содержательно такой же текст: «Святополкъ же съѣде Киевѣ по отци своемъ, и съзва Кыяны и нача даяти имъ имѣнье» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 132).

<sup>43</sup> ПСРЛ. Т. 1. Стб. 140.

<sup>44</sup> *Абрамович Д.И.* Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916. С. 31-32.

<sup>45</sup> *Свердлов М.Б.* Указ. соч. . С. 320.

<sup>46</sup> Имеются в виду Даниил Романович Галицкий и его брат Василько Романович.

<sup>47</sup> *Джиованни Плано дель Карпини.* История монголов // Путешествия в восточные страны Плано дель Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 81. В оригинале: «Kiovienses autem quando adventum nostrum perceperunt omnes occurrerunt nobis letanter. Congratulabantur enim nobis, quasi nos a mortuis surgeremus... Daniel et Wasilco frater eius fecerunt nobis magnum festum et tenuerunt nos contra voluntatem nostram bene octo dies» (*Sinica franciscana*. Vol. I. Itinera et relations fratrum minorum saeculi XIII et XIV / Ed. P. Anastasius van den Vyngaert O.F.M. Ad Claras Aquas (Firenze: Quaracchi), 1929. P. 127).

<sup>48</sup> *Джиованни дель Плано Карпини*. Указ. соч. С. 87. В оригинале: «Medio tempore inter se et cum Episcopis et aliis probis viris consilium habentes super his que locuti fueramus eisdem, [quando] ad Tartaros procedebamus, nobis res ponderunt communiter dicentes quod dominum Papam vellent habere in dominum specialem et in patrem, et sanctum Romanam Ecclesiam in dominam et magistram...» (Sinica franciscana. Vol. 1. P. 127). О сути обсуждавшегося вопроса см.: *Флоря Б.Н.* У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII век). СПб., 2004. С. 155.

<sup>49</sup> Ещё 1930-е гг. С.В. Юшков в общих чертах сформулировал, а в 1960-70-е гг. В.Т. Пашуто, а особенно В.Л. Янин (на материалах Новгорода) и П.П. Толочко (на материалах Киева) развили концепцию, согласно которой в вече преимущественно или исключительно играли роль представители «господствующего класса», «феодалов», к которым в Древней Руси причисляли бояр и дружинников. В конце 1970-х–начале 1980-х гг. в трудах ленинградского исследователя И.Я. Фроянова и его учеников, опиравшихся отчасти на земско-вечевую теорию, популярную в русской историографии XIX в., отчасти на различные «неклассические» марксистские концепции (идеи «дофеодального периода», «общинности без первобытности» и др.), нашёл отражение «альтернативный» подход к общественному строю Древней Руси, в центре которого находилось представление о вече как о народном собрании «демократических слоёв населения города и деревни», типологически близкого к народным собраниям древнегреческих полисов (см. об этом подробнее: *Лукин П.В.* Город и вече: социальный аспект (историографические заметки) // *Cahiers du Monde Russe* (в печати).

<sup>50</sup> См.: *Лукин П.В.* Рец. на: Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М.: Мирос, 1998. 448 с., илл. // *Средневековая Русь*. М., 2001. Вып. 3; *Лукин П.В., Стефанович П.С.* Рец. на: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси VI – XIII в. СПб., 2003. 736 с. // *Средневековая Русь*. Вып. 6 (в печати).

<sup>51</sup> *Wenskus R.* Probleme der germanisch-deutschen Verfassungs- und Sozialgeschichte im Lichte der Ethnosoziologie // *Historische Forschungen für Walter Schlesinger*. Köln, 1974.

<sup>52</sup> *Modzelewski K.* Op. cit. S. 12.

<sup>53</sup> *Ibid.* S. 356–401. При этом, как оговаривается автор, концепция «варварской Европы» является не конкретной задачей, а общей программой исследований. Так, сам он ограничивается характеристикой лишь некоторых принципов на основе германских и славянских данных. Как скромно подчёркивает К. Модзелевский, «отсутствие компетенции не позволило мне заняться исторической антропологией ни балтских народов, ни островных кельтов, ни даже балканского славянства» (*Ibid.* S. 12).

## **БОЯРСКАЯ СЛУЖБА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ**

Служба бояр князю – один из первых примеров, на который обычно ссылаются, утверждая о существовании феодализма в средневековой Руси. При этом она интерпретируется как вассалитет, основанный на землевладении («вассально-ленные отношения»): бояре-вассалы вступают в служебный договор с князем-сюзереном, и судьба их вотчин и поместий так или иначе оказывается в зависимости от этой службы. В таком духе высказывался уже Н.П. Павлов-Сильванский, первый историк, который последовательно и систематически пытался доказать, что Древняя Русь представляла собой феодальное общество; в советской историографии эту мысль развивали С.В. Юшков и В.Т. Пашуто<sup>1</sup>.

Однако, есть целый ряд явлений, связанных с боярской службой, которые не укладываются в эту интерпретацию или плохо согласуются с ней. В историографии уже обращалось внимание на её наиболее уязвимое место – в источниках не прослеживается прямая связь службы с землевладением. Вообще, землевладение сеньориального типа вплоть до XIV в., если и существовало на Руси, то в любом случае не имело первостепенного значения; основные доходы знать в Древней Руси извлекала не из эксплуатации земельных владений (вотчин), а из военной и административной службы князю (то есть обогащалась военной добычей и доходами от исправления должности – так называемыми кормлениями). Поборниками идеи «русского феодализма» не принимался во внимание также тот факт, что бояре в средневековой Руси нередко вступали в отношения с князем корпоративно как представители «земли», принимавшие его в качестве правителя на определённых условиях. Такого рода порядок получил наиболее яркое выражение в русских средневековых городах-«республиках» (прежде всего, в Новгороде и Пскове), однако он обнаруживает себя также и в других древнерусских землях, особенно в эпоху, непосредственно предшествовавшую монгольскому нашествию (конец XII – начало XIII вв.). Коллективизм и связь боярства с городской организацией – явления, которые с феодализмом ничего общего не имеют.

Мои исследования обрядовой стороны взаимоотношений князя и знати в средневековой Руси показывают, что и в этом аспекте прямые аналогии с западноевропейскими порядками не обнаружи-

ваются. Древнерусские ритуалы вступления на службу князю и оставления её не могут быть сопоставлены, вопреки утверждениям Н.П. Павлова-Сильванского<sup>2</sup>, ни по сути, ни формально с западно-европейскими (оммаж, инвеститура и т. д.). Более того, присягу верности служилые люди стали приносить государю только в относительно позднее время – не ранее сер. XIV в., и она носила не частноправовой, а публичный, государственно-служебный характер, то есть в сущности это была присяга подданных, а не вассалов. До этого времени, утверждая (или подтверждая по какому-то случаю) отношения верности и службы с князем, бояре и служилые люди лишь произносили некоторые условные формулы общего содержания («готовы за тебя голову положить» и т. п.)<sup>3</sup>.

Разумеется, нельзя отрицать существование некоего вассально-договорного начала в отношениях князя и знати, но, очевидно, нельзя также постулировать его принципиально определяющий характер и строить на этом фундаменте какие-либо «феодальные» конструкции.

В целом вырисовывается довольно сложная картина отношений правителя и знати в Древней Руси и, в частности, организации боярской службы, в которой распознаются как некоторые аналогии явлениям, известным в других частях средневековой Европы, так и явные черты своеобразия. Конечно, эти аналогии можно более или менее удобно разместить в «феодальной модели» древнерусского общества, но проблема в том, что всегда будет оставаться некие черты, заставляющие говорить о «не вполне развитом характере» этого общества, «упущенных возможностях» и т. д. А из этого следуют утверждения об «отставании» исторического развития Руси, или, наоборот, о «забегании вперёд» или «пробегании» определённых этапов<sup>4</sup>. В итоге, хотя, кажется, никто не сомневается, что древнерусское общество развивалось по своим собственным законам и путям, целостного и внутренне связанного представления об этих законах и путях не складывается. Такого рода проблемы интерпретации ясно обнаружатся, если мы посмотрим, как в существующих концепциях истории средневековой Руси трактуются вопросы, связанные с боярской службой.

В концепциях «закрепощения сословий» и «вечевых оснований» древнерусского строя, которые господствовали в досоветской историографии, подход к оценке отношений князя и служилого класса был задан идеей о трансформации дружинного строя в самодержавный – от «вольности» к «подданству». Впрочем, этим отношениям вообще не придавалось принципиального значения – основными действующими лицами на исторической арене были правители и «народ»; с исчезновением дружинной организации

знать представляла лишь инструментом в руках власти. Такой подход подразумевал резкое противопоставление России Европе (откуда потом выросла теория «русского деспотизма») и не давал внятной оценки периоду XIII – XV вв.: ведь поскольку к концу XII в. фиксировались явные признаки распада дружинного строя, период до образования московского самодержавия (кон. XV в.) представлял каким-то переходным (так называемый удельный период, когда, по выражению Н.М. Карамзина, Русь «гибла от разнo-властья»). Во многом именно этим объясняется, почему вопрос о «русском феодализме», впервые серьёзно поставленный Н.П. Павловым-Сильванским, приобрёл такую остроту.

Прямолинейное сопоставление организации служилого класса Руси с западноевропейской вассально-ленной системой, принятое среди советских историков, как уже сказано, вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. В настоящее время в изучении древнерусской истории существуют три подхода. Два из них пытаются «спасти» «феодализм» на Руси, предлагая расширить само это понятие: в одном случае говорится о «государственном феодализме», во втором (этот подход предложил петербургский историк М.Б. Свердлов) – о феодализме, основанном на «неземельных фьефах». К сожалению, на деле это расширение мало что даёт: само понятие феодализма выхолащивается, и феодальным при желании уже можно объявить едва ли не любое общество в истории человечества<sup>5</sup>. Если же посмотреть, как осмыслиется наша тема, то мы увидим, что просто повторяется старая идея: развитие шло от «вольной» дружины к схеме «государь-подданные», а как характеризовать строй отношений правителя и знати *после* разложения дружины и *до* формирования самодержавного строя – неясно (ср. выше высказывания В.Д. Назарова о «смазанных» явлениях). Эти вопросы не существенны для третьего подхода, представленного так называемой «школой И.Я. Фроянова». Этот историк отказывается в объяснении древнерусского общества домонгольской эпохи от «феодальной модели», потому что она подразумевает существование классов и классовых антагонизмов. Согласно теории «общинности без первобытности» (термин А.И. Неусыхина) это общество являлось монолитной «общиной»; отношения власти и подчинения описываются как «потестарные», то есть не вполне государственно-классовые, и они отступают на самый задний план. В этой «общинности» знати или элите места не отводится, а вопрос о том, куда и как дальше шло развитие в XIII – XV вв., вообще не ставится. Стремление И.Я. Фроянова обозначить «особый путь» Руси представляет собой, очевидно, реакцию на попытки вписать историю России в европейские схемы, однако удовлетво-

рительной его теорию – единственную на сегодняшний день альтернативную «феодальной модели» – признать нельзя, во всяком случае, для объяснения интересующих меня вопросов.

Тенденцией, господствующей сегодня в историографии, является не противопоставление России и Западной Европы, но, напротив, их сближение. В то же время, поскольку «феодальная модель» не оправдала себя, наблюдается явный дефицит интерпретаций, которые бы ясно и конкретно обозначали единство исторических путей России и Европы. В этой ситуации, как мне кажется, новый взгляд на средневековое общество, предложенный А.Я. Гуревичем, особенно ценен для историка-русиста.

Хотя А.Я. Гуревич концентрирует внимание на слое «рядовых свободных домовладельцев» и крестьянском мире, но общий вывод, что средневековая европейская цивилизация не исчерпывается «феодальной ипостасью», с нашей точки зрения, позволяет по-новому взглянуть и на элиту. Высвобождая из «феодальных пут» основную массу низших слоёв – свободное крестьянство, – было бы неправильно оставить в них элиту и властные сферы. Мир элитных слоёв средневекового общества и их образ жизни тоже совсем не ограничивался вассально-ленными отношениями и эксплуатацией зависимых крестьян. Русский материал демонстрирует это ещё более отчётливо, чем европейский: вассалитет здесь выражен слабее, зато большее значение сохраняют дары, пиры и некоторые другие явления (о которых дальше) в качестве, как выражается А.Я. Гуревич, «важнейших узлов межличностных связей». Для отношений князя и знати и принципов боярской службы этот момент социального общения и взаимной связи дарами и услугами оказывается, с моей точки зрения, чрезвычайно важным. В разных местах и в разное время он мог облекаться в разные формы, в том числе такие, которые можно трактовать и как «вассальные», но его архаическое происхождение и в то же время живучесть на протяжении всего Средневековья заставляют говорить о его структурообразующем, «архетипном» характере. Эти «узлы межличностных связей» работали в качестве факторов социально-культурного объединения не меньше политических и экономических на единство элиты, создавая из неё реальную общность и способствуя её организации.

Я выделил несколько такого рода «узлов», которые обнаруживаются на русских материалах, наверное, не все, но наиболее бросающиеся в глаза; перечислю их с некоторыми примерами.

Прежде всего, пир – наиболее естественный и традиционный, уходящий корнями в глубокую древность, институт, который обеспечивал социальное общение и служил укреплению межлич-



ностных связей. Совместные трапезы как форма общения и взаимодействия разных социально-политических сил обнаруживаются практически на всех уровнях и во всех социально-культурных сферах: город, волость, отношения князей, внешние сношения, монастырь, но также и придворная жизнь, тон в которой задавали князь и его бояре. В наших источниках не так много упоминаний и тем более описаний дружинных или позднее придворных пиров, но важно, что эти упоминания сохраняются на протяжении всего Средневековья и однозначно свидетельствуют о большом значении этого института в жизни элиты. Наиболее известны древнейшие красочные описания пиров Владимира Святославича, крестителя Руси, которые он устраивал для дружины и киевлян<sup>6</sup>. Эти совместные трапезы служили средством укрепления единства элиты и решения внутренних конфликтов, формирования «общественного мнения», проявлением заботы власть предержащих о «сырых и убогих» и т. д.

Но есть и более поздние примеры. В начале XIII в. в летописи рассказывается об оскорблении князя Даниила Романовича одним из галицких бояр Молибоговичей, нанесённом во время пира – оскорблении, ставшим не только ярким эпизодом, но и своего рода символическим выражением борьбы боярства с Даниилом за власть в Галиче<sup>7</sup>. К 1433 г. относится известная история о золотом поясе, который принёс на пир, устроенный по поводу свадьбы великого князя Василия Васильевича, будущего Тёмного, его двоюродный брат Василий Косой. Этот пояс, бывший во владении одного из виднейших московских боярских родов и якобы подмешанный в своё время тысяцким Вельяминовым, стал поводом ссоры между князьями и боярами на пиру, с которого, как писал летописец, «много зла ся почало», то есть началась грандиозная смута в Северо-Восточной Руси второй четверти XV в.<sup>8</sup> Таким образом, события существенные для судеб князей и представителей древнерусской знати, а также и для политического развития русских земель, происходят именно в моменты собрания и общения элиты на пиру; поведение участников этих событий определённым образом фиксируется в общественном сознании и осмысливается в культурной традиции.

О значении пиров в истории древнерусской знати говорит происхождение такого известного явления, как местничество. Хотя как институт оно сформировалось только в XV – XVI вв., но понятие «место» уходит корнями в древность, и есть основания связывать его происхождение с тем местом, которое должен был занимать согласно своему достоинству и заслугам дружинник во время дружинного пира. Конечно, позднее имелось в виду уже в более

широком смысле место при дворе, то есть позиция, статус, «чин» боярина и его рода. Но в художественном мире былин, отразивших и древнейшие реалии, когда общественная жизнь складывалась не под влиянием строгих юридических норм, а общих условий быта, «место» – это прежде всего место на пиру<sup>9</sup>.

Сложению и укреплению «межличностных связей» между правителем и знатью, конечно, способствовали и дары. Обмен дарами и, шире, услугами выступает фактором социального объединения и общения, как и пиры, в самых разных сферах и на разных уровнях, но также и между князем и знатью. Правда, одаривание носило в данном случае скорее односторонний характер: от князя боярину, и смысл его был в том, чтобы не только вознаградить дружинника, но и привязать его к себе силой (иногда воспринимавшейся даже как магическая) тех этических обязательств, которые накладывал дар на его получателя<sup>10</sup>. Со своей стороны, дружинник предоставлял князю услуги, и тем самым их отношения приобретали двусторонний и даже в каком-то смысле взаимный характер. Отличие Руси от Западной Европы в том, что этот момент взаимности, изначально общий для славянской и германской (по-видимому, также и кельтской) дружин, на Руси столкнулся не с частноправовым началом подчинения (коммендация, патронат), а с государственным, подкреплённым определёнными христианскими идеями. Западноевропейский вассалитет сложился из сочетания договорного принципа с началом господства и подчинения (ср. возможную этимологию слова *vassus* – от древневаллийского *guas*, «слуга»), а на Руси в отношениях князя и знати это начало проявляется только приблизительно с кон. XII в. и сразу включается в христианскую парадигму в связи с идеей богоустановленности власти<sup>11</sup>. Бояре иногда называют себя холопами, а князя, которому они служат, господином, но это надо понимать не как патронат или вассалитет, а как выражение подданства<sup>12</sup>.

Любопытно, что в средневековой Руси тогда, когда речь шла о боярской службе, дары упоминались вместе с «честью». В древнейших летописях неоднократно повторяется мысль, что «любовь» князя к его дружине должна выражаться в «чести и дарах», и это выражение становится почти формулой. Понятие чести было многозначно, но главным и исходным было обозначение социального статуса и достойного поведения в глазах общества<sup>13</sup>. Думаю, что его сопряжение с понятием дара неслучайно – совместным употреблением этих слов выражалась мысль, что дар князя верно служащему ему боярину – это не только признание заслуг последнего со стороны первого, но и обеспечение социального статуса боярина, подтверждение его выдающегося, приближенного к князю, а

значит к власти и богатству, положения. Неслучайным также кажется и вытеснение в этом контексте понятия «честь» словами «милость» и «жалование» к XIV – XV вв. – в княжеском вознаграждении теперь важен сам акт милости правителя к подданному. Таким образом, в древности боярская служба нацелена на обретение «честь», а позднее – на пожалования или милости.

В отношении элиты важным фактором социального общения и объединения была также, с нашей точки зрения, военная деятельность. Для средневековой знати эта деятельность была собственно её главной «профессией», в этом прежде всего состояла её служба, это приносило и основной доход. Однако, не менее, а может быть и более, важно также то, что война для знатных людей была и образом жизни, а для многих, наверное, даже смыслом жизни. Я думаю, совместные военные предприятия разного рода, объединявшие самых разных людей, но в наибольшей степени и на регулярной основе именно представителей высших слоёв, можно с полным правом причислить к основным «узлам межличностных связей» эпохи Средневековья, таким же, как пиры и обмен дарами. Не стоит распространяться по поводу того, что война была образом жизни знати и особым социо-культурным феноменом традиционного общества, – об этом в историографии писалось много, в том числе и на русских материалах (правда, всё-таки скорее с точки зрения политической или институциональной<sup>14</sup>). Приведу только одно наблюдение, которое у меня сразу появилось, когда я сопоставил войну с пирами и дарами в указанном смысле.

Удивительно и в то же время весьма показательно, что пир и война сближались самими древнерусскими людьми в художественно-метафорическом языке образов, символов и понятий. Хорошо известны слова уже упоминавшегося Владимира Святославича, сказанные болгарскому проповеднику ислама. Последний говорил, что его религия требует «вина не пить», на что русский князь ответил: «Руси есть веселье питье, не можем бес того быти»<sup>15</sup>. Конечно, речь здесь идёт не об «алкогольной зависимости» русского народа. Главное в этих словах – признание необходимости и важности совместной трапезы для русских; очевидно, пир выступает и фактором, и манифестацией единства дружинной Руси. Но обратим также внимание на характеристику Владимиром совместного «пития» как «веселья» и перенесёмся на двести лет вперёд в конец XII в. То же самое слово появляется в «Слове о полку Игореве», но уже совсем в другом контексте. Здесь передаётся речь бояр киевскому князю Святославу Всеволодичу, которые объясняют его сон и рассказывают о поражении Игоря; в конце они предупреждают князя о предстоящей борьбе с половцами и заканчивают: «а мы

уже дружина жадни веселия»<sup>16</sup>. Очевидно, этими словами бояре выражают свою горячую готовность к новым ратным подвигам, причём прямо говорят, что предстоящая война должна стать для них «веселием». Такое понимание военной деятельности далеко не случайно. Оно связано с одним из ведущих образов в художественном мире «Слова» – сравнение битвы с пиром. Так, например, описывается печальный исход сражения Игорева войска с половцами: «Ту кровавого вина не доста. Ту пир докончаша храбрии Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую»<sup>17</sup>. В данном случае картина кровавого пира конкретизируется указанием на то, что этот пир был свадебный, – и это также имеет своё обоснование и развитие в сложной сети символов и метафор, которую плетёт автор «Слова»<sup>18</sup>. Но для нас важно отметить, что в принципе – как в приведённых цитатах, так и в других местах – битва уподобляется пиру, кровь – вину, исступление в бою – утолению жажды, а настроение, которое оказывается общим для обоих предметов сравнения, описывается как «веселье». Мне кажется, в этом уподоблении, которому также находятся параллели в более поздних памятниках древнерусской литературы и в фольклоре, сказывается не только художественная смелость автора «Слова», но и глубокое родство пира и битвы как социо-культурных явлений средневекового общества. За «весельем», которое сближает пир и битву, стояло не просто удовольствие, но радость самовыражения и самоутверждения личности в обществе людей, близких по образу жизни и духу. Если людьми той древней эпохи, носителями архаического сознания, родство этих явлений осмыслялось образно-ассоциативно, то задача современного историка лишь в том, чтобы почувствовать это родство и продемонстрировать его с помощью рационально-систематических методов.

В целом, мне близка мысль о том, что средневековое общество функционировало благодаря определённым формам социального общения. Я бы особенно подчеркнул, что они обнаруживают себя на разных уровнях: не только в среде рядовых свободных людей или между ними и правителем, но и внутри элиты и в отношениях между ней и правителем, свободными и зависимыми людьми. Поиск и описание этих форм – «узлов межличностных связей» – дадут возможность увидеть другое, не феодальное или далеко не только феодальное, Средневековье. Явления, которые можно характеризовать как такого рода «узлы», оказываются чрезвычайно многосторонними и многофункциональными, и в них как в «магическом кристалле» отражаются разные грани общественной жизни эпохи Средневековья. Мне кажется, речь должна идти не только о пирах и дарах, хотя значение совместной трапезы или дара, неред-

ко освящённых религией или традицией, трудно переоценить. Таковыми же «узлами» были и другие жизненные сферы и ситуации, в которых так или иначе происходило взаимодействие отдельных личностей и социальное общение между ними, верификация, легитимизация и обновление человеческих связей и отношений: разного рода другие, кроме пиров, собрания, обмен не только дарами, но и информацией, услугами и т. д. В случае с элитой (знатью), как мне кажется, особенно в этом смысле велико значение военной деятельности.

Такой подход, как я попытался показать здесь на нескольких примерах, оправдывает себя и на русских материалах. Абстрагируясь от «феодальной гипотезы», которая и без того слабо обнаруживает себя в сфере отношений князя и знати в средневековой Руси, благодаря этому «антропологическому» подходу мы не только находим новое измерение в оценке этих отношений, но и по-другому – и как кажется, более перспективно – можем сравнить исторические пути России и Европы: не с точки зрения наличия или отсутствия «феодальных» институтов, а в поиске конкретно-исторического выражения (каждый раз своеобразного и уникального) общих принципов и форм отношений между людьми («узлов межличностных связей»).

---

<sup>1</sup> См.: Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. М., 1988; Юшков С.В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.-Л., 1939; Пашуто В.Т. Черты политического строя древней Руси // Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н. Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965.

<sup>2</sup> Павлов-Сильванский Н.П. Указ. соч. С. 97-104, 429-441.

<sup>3</sup> См.: Стефанович П.С. Отношения правителя и знати в Северо-восточной Руси в XIV – нач. XVI в.: крестоцелование как клятва верности? // Cahiers du Monde Russe (в печати).

<sup>4</sup> Ср., например, выводы, к которым пришёл В.Д. Назаров, задавшись вопросом о том, существовало ли рыцарство на Руси: по его мнению, «феномен рыцарства западноевропейского типа так и остался в истории России нереализованной возможностью»; одной из причин этого было то, что «Россия, по-видимому, слишком быстро “пробежала” дистанцию от ранних стадий средневекового общества (особенно с учётом фазы регенерации в конце XIII – начале XIV в.) к эпохе единой национальной монархии. В результате промежуточные этапы и характерные для них социальные явления оказались “смазанными”» (Назаров В.Д. Нереализованная возможность: существовало ли рыцарство на Руси в XIII – XV веках? // Одиссей: Человек в истории. 2004. М., 2004. С. 126).

<sup>5</sup> См.: Лукин П.В., Стефанович П.С. Рецензия на книгу: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. Князь и княжеская власть на Руси: VI – XIII вв. СПб., 2003 // Средневековая Русь. Вып. 6 (в печати).

<sup>6</sup> Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 1. Л., 1926. Стл. 125-126.

<sup>7</sup> ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1908. Стл. 763.

<sup>8</sup> ПСРЛ. Т. 25. М.-Л., 1949. С. 250. О свадебном пире и событиях вокруг него см.: Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 335 – 344.

<sup>9</sup> См.: Мрочек-Дроздовский П.Н. О древнерусской дружине по былинам. М., 1897. С. 75 и след.

<sup>10</sup> См.: Гуревич А.Я. Избранные труды. Т. 1: Древние германцы. Викинги. М.-СПб., 1999. С. 234. Ср. также попытку развить эту мысль на русских материалах: Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX – XII вв.). М., 1998. С. 115-125.

<sup>11</sup> См.: Стефанович П.С. Религиозно-этические аспекты отношений знати и князя на Руси в X – XII веках // Отечественная история. 2004. № 1.

<sup>12</sup> Флоря Б.Н. Исповедные формулы о взаимоотношениях церкви и государства в России в XVI-XVII вв. // Одиссей. Человек в истории. 1992. М., 1994. С. 213. Ср.: Горский А.А. О происхождении «холопства» московской знати // Отечественная история. 2003. № 3.

<sup>13</sup> См.: Стефанович П.С. Древнерусское понятие чести в памятниках литературы домонгольской Руси // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2004. № 2.

<sup>14</sup> Так, например, писал М. Грушевский о византийских и других внешних походах Руси IX–XI вв.: «эти походы, которые были венцом тогдашней дружинной организации, соединяли в один организм всю дружинную организацию, раскинутую по всей территории государства, давали чувствовать единство государства и тем самым были для неё очень важны» (Грушевский М.С. История Украины-Руси. Вид. 2. Т. I. Львів, 1905. С. 428).

<sup>15</sup> ПСРЛ. Т. 1. Стл. 85.

<sup>16</sup> Ироическая песнь о походе на Половцов удельного князя Новгорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие. М., 1800. С. 26.

<sup>17</sup> Там же. С. 18.

<sup>18</sup> См.: Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000. С. 70-80.

## **«РУССКИЙ» ФЕОДАЛИЗМ В СВЕТЕ РЕВИЗИИ ФЕОДАЛИЗМА «ЗАПАДНОГО»**

Доклад А.Я. Гуревича, равно как и книга С. Рейнольдс, показывают, что эволюция представлений о «феодализме» на западноевропейском материале идет по тому же пути, что и на материале русском. В середине XX в. предпринимались попытки подогнать средневековую Русь к господствовавшей в историографии западноевропейской модели феодализма (вассально-ленная система, сеньориальный строй с зависимым от крупных землевладельцев крестьянством). Но фактический материал не вписывался в схему. Конкретные исследования выявляли иное<sup>1</sup>: отношения рядового лично свободного населения непосредственно с главой государства, окруженным дружиной (позже двором); эксплуатация путем «полнодья», позже системы «кормлений», передаваемых князем боярам (верхнему слою служилой знати); слабое (до XIV-XV вв.) развитие крупного индивидуального землевладения; сохранение большинством рядового населения личной свободы. Во второй половине XX столетия такие представления об общественном строе средневековой Руси утвердились в науке. При этом исследователи приходили к разным выводам: 1) то, что было на Руси – не феодализм<sup>2</sup>; 2) феодализм следует понимать шире – он мог существовать не только в сеньориальной, но и в государственной (корпоративной) форме, при которой в качестве «феодала» выступали не отдельные собственники земли, а государство в лице корпорации знати во главе с правителем (т.н. концепция «государственного феодализма»)<sup>3</sup>. При этом сторонники обоих выводов исходили из того, что на Западе существовал «классический» феодализм и отталкивались в своих суждениях именно от традиционного о нем представления, расценивая указанные черты общественного строя Руси как местную, восточноевропейскую специфику. Между тем типологическое сходство с общественным строем, выявляющимся на русском материале, было обнаружено в странах Центральной и Северной Европы<sup>4</sup>. Позволю себе вспомнить также работу Ю.Л. Бессмертного 1980 г., оставшуюся малоизвестной специалистам по западному Средневековью, так как она была опубликована в издании, посвященном русской истории. Ю.Л. Бессмертный сопоставил Русь XIV-XVI вв. с Францией (т.е. регионом «классического» феодализма!) IX-XV вв., Англией и Германией X-XV вв. и пришел к выводам о «переплетении» и «глубоком взаимопроник-

новений» сеньориальных и государственных форм общественных отношений как на Востоке, так и на Западе Европы<sup>5</sup>.

Сегодняшний доклад А.Я. Гуревича является констатацией того, что Западная Европа, включая регионы «классического феодализма», в традиционную схему не вписывается. Сущностные черты общественного строя, отмеченные А.Я. Гуревичем, обнаруживают значительное сходство с древнерусскими реалиями: «вейцле» и сходным с ней институтам соответствует русское «полюдь», понятие «кормление», употребляемое в докладе – термин, и вовсе взятый из русского Средневековья, сохранение широкого слоя «рядовых свободных» – также черта, которую русисты ранее расценивали как маргинальную для «классического» феодализма. Таким образом выясняется, что ситуация с безраздельным господством сеньорий с зависимым от индивидуальных крупных собственников крестьянским населением во всей Европе выглядит скорее исключительной, чем тривиальной.

Из сказанного следует, во-первых, вывод, что развитие общественных отношений на Руси и в Западной Европе в Средневековье шло по принципиально одному пути. Во-вторых, встает вопрос, как быть с понятием феодализма. В отличие от двух ответов, давно сформулированных на русском материале (1 – «это не феодализм», 2 – «феодализм нужно понимать шире»), А.Я. Гуревич предлагает третий – «с феодализмом сосуществовало аграрное общество». У меня возможность оторвать «феодальную ипостась» от иной вызывает сомнение. Не берусь судить, возможно ли это на западноевропейском материале, но на русском гипотеза о «двух обществах в одном» точно не находит оснований из-за указанного выше тесного переплетения государственных и сеньориальных элементов в отношениях между знатью и рядовым населением (кормленщики и вотчинники были одними и теми же людьми, крестьяне могли переходить как из числа зависимых от государства в вотчинную зависимость, так и в обратном направлении, зависимость от вотчинников могла сочетаться с элементами зависимости от государственной власти).

Представляется, что основой деления на социальные слои в Средневековье следует считать не экономический фактор (собственники земли и лишенные собственности), а функционально-сословный: знать (военно-служилое сословие) противостоит рядовому населению. Часть последнего могла зависеть от отдельных представителей знати, часть – только от главы государства (за которым стояла корпорация знати, в чьей среде он распределял тем или иным способом доходы, получаемые от рядового населения). Государственные и сеньориальные элементы общественных отно-



шений существовали в неразрывной связи и могли выступать в разных пропорциях. Противопоставление вторых, как «феодалных», первым, как «нефеодалным», оправданным не выглядит.

Как называть это общество – вопрос чисто терминологический. Если термин «феодализм» признать «надоевшим», нужно договориться о другом. Но мне представляется, что если перестать настаивать на понимании феодализма как исключительно сеньориальной системы с разветвленными вассально-ленными отношениями, то в качестве условного термина вполне может подойти и понятие «феодалное».

---

<sup>1</sup> Речь идет о периоде до установления крепостного права в конце XVI в.

<sup>2</sup> Работы И.Я.Фроянова и его учеников.

<sup>3</sup> См.: Черепнин Л.В. Русь. Спорные вопросы истории феодальной земельной собственности в IX – XV вв. // Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма. М., 1972; Янин В.Л. Новгородская феодальная вотчина: историко-генеалогическое исследование. М., 1981; Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983; он же. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII вв. СПб., 2004; Горский А.А. Древнерусская дружина. М., 1989; он же. Русь: От славянского Расселения до Московского царства. М., 2004. С. 95-114.

<sup>4</sup> См.: Гуревич А.Я. Роль королевских пожалований в процессе феодального подчинения английского крестьянства // Средние века. Вып. 4. М., 1953; он же. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967; Флоря Б.Н. Государственная собственность и централизованная эксплуатация в западнославянских странах в эпоху раннего феодализма // Общее и особенное в развитии феодализма в России и Молдавии. Проблемы феодальной государственной собственности и государственной эксплуатации (ранний и развитый феодализм). М., 1988; Жемличка И., Марсина Р. Возникновение и развитие раннефеодальных централизованных монархий в Центральной Европе (Чехия, Польша, Венгрия) // Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI – XI вв.). М., 1991.

<sup>5</sup> Бессмертный Ю.Л. Сеньориальная и государственная собственность в Западной Европе и на Руси в период развитого феодализма // Социально-экономические проблемы российской деревни в феодальную и капиталистическую эпохи. Ростов н/Д, 1980.

## **О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕШСКИХ И ГЕРМАНСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ X-XII вв.: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ**

Правовые аспекты чешско-германских отношений эпохи Средневековья – давний и широко обсуждаемый сюжет, актуальный в первую очередь для чешских историков и немецких ученых, связанных с историографической традицией судетских немцев<sup>1</sup>. Этот вопрос рассматривается в нескольких контекстах, к числу которых могут быть отнесены международные отношения в Центральной Европе, система политической и культурной коммуникации в регионе, влияние «восточной политики» на формирование средневековой Германии<sup>2</sup>, наконец, политическая и политико-правовая история чешских и германских земель. Если с точки зрения политической истории Германской империи «чешский вопрос» имеет более или менее маргинальный характер, выступая в качестве частного элемента становления Германской империи, то политическая история чешских земель неизбежно упирается в изучение процесса интеграции Чехии в политическую систему империи и анализ генезиса и трансформации чешско-германских правовых отношений<sup>3</sup>.

Первые бесспорные свидетельства формально-правового статуса Чехии в качестве имперского лена и четкое определение обязательств ее правителей зафиксированы в официальных юридических документах, появившихся не ранее конца XII – начала XIII в.<sup>4</sup> Хотя современная историография отказалась от характерного для традиционных историко-правовых исследований взгляда на эти документы как на вполне ясные и четкие формально-правовые установления, тем не менее, они сохраняют статус первых официальных документов, безусловно описывающих чешско-германские отношения в категориях вассально-ленного права<sup>5</sup>. Предшествующий период исторически зафиксированных чешско-германских контактов, включая эпоху Каролингов, отражен почти исключительно в нарративных источниках<sup>6</sup>, фрагментарность и литературность которых открывает широкий простор для историографических интерпретаций.

Спор о характере и смысле чешско-германских правовых отношений в эпоху Средневековья исторически облечен в форму чешско-германской историографической контроверзы. Вместе с

тем, строгая дифференциация суждений в соответствии с национальной принадлежностью спорящих была бы искусственной<sup>7</sup>. В качестве общего пункта расхождения «национальных» традиций можно указать различие исходных точек наведения фокуса. Немецкие историки в большей степени сосредоточены на проблемах становления средневековой германской государственности и влияния Германии в центральноевропейском регионе. Чешские ученые, напротив, заняты поисками самобытности этнического и политического развития Чехии, их интересуют процессы становления институтов управления и политической консолидации чешских земель, проходившие параллельно и во многом независимо от процессов интеграции в германский политический мир, как бы ни оценивался этот процесс в ходе эволюции чешской исторической мысли<sup>8</sup>.

Следует признать, что именно в «немецких» работах наиболее последовательно отстаивается тезис о включении Чешского государства с самого начала его становления в политический и культурный мир Германской империи, а в историко-правовом плане отмечается эволюция от весьма аморфных отношений трибутарной зависимости до отношений вассальной-ленного подчинения и включения Чехии в состав Средневековой империи в качестве одной из имперских территорий<sup>9</sup>. Чешские историки, напротив, подчеркивают такие аспекты, которые свидетельствуют об ограниченности и даже случайности правовых форм чешского подчинения Империи. Зависимость чешских правителей трактуется либо как чисто личное подчинение германским государям, либо как не имеющая государственно-политических последствий практика правового оформления вынужденного подчинения (чисто формальный вассалитет), либо как более или менее укорененная в истории взаимных отношений традиция артикуляции взаимных, по существу партнерских, отношений чешских и германских правителей в категориях ленного права и вассалитета<sup>10</sup>. Иначе говоря, правовые формы (каким бы образом они не характеризовались) по возможности лишаются семантики политико-правового подчинения, а на первый план выходит актуализация факторов военно-политического принуждения или политической целесообразности<sup>11</sup>.

Следует отметить, что академические суждения о характере чешско-германских отношений находились и находятся в прямой взаимосвязи с идеологическими трендами той или иной эпохи или социальной среды. Эти «внешние» влияния были неоднородны и не всегда прямолинейны в своем воздействии на работу историков<sup>12</sup>. В исторической последовательности, например, можно говорить о таких факторах, как задачи исторического обоснования на-

циональной и политической идентичности, порожденных эпохой европейского национализма и специфическими процессами политического развития германских и австрийских земель в XVIII-XIX вв., борьба за политическую автономию и создание первого суверенного государства в Чехии, поиски исторической легитимности собственных культурных и политических устремлений судетскими немцами, обострение антинемецких и антизападных фобий в периоды Второй мировой войны и социалистического строительства, характерные для либеральной интеллигенции и приобретенные политическую актуальность идеи о глубоких корнях специфической центрально-европейской идентичности как особой формы включенности в процесс становления Европы<sup>13</sup>.

Кроме того, следует назвать и воздействие больших концептуальных и теоретических построений, разработанных в классическую эпоху немецкой позитивистской и историко-правовой историографии (таких, как «народный дух», определение характерных особенностей политического развития германских земель через процессы федерализма и территориализации государственной власти, ленное право и вассально-ленная система как универсальные механизмы политического взаимодействия и государственного управления, важность правовых институтов и конституционных актов для развития политических структур и коммуникационных моделей), многие из которых до сих пор определяют дискурс и понятийный инструментарий исследователей<sup>14</sup>.

Для характеристики чешско-германских отношений в период раннего и классического Средневековья используется ряд понятий, отсылающих в равной степени к вокабулярию как средневекового, так и современного историописания, многие из которых, несмотря на явную претензию стать классификационными категориями, сохраняют природу аморфных в смысловом отношении терминов-метафор. К их числу можно отнести трибунт, дружбу и союзничество, подчинение притязаниям или силе, зависимость с самым широким спектром уточняющих определений (правовая, формальная, вынужденная, традиционная, необременительная и пр.), признание авторитета империи и ее главы, включение в семью христианских народов<sup>15</sup>. Широко используется концепт германской гегемонии в центрально-европейском регионе<sup>16</sup>, подразумевающей претензии германских правителей на своего рода патронат по отношению к соседям и исполнение им роли «судьи» в решении внутрдинастических и междинастических конфликтов, и основанной на явном превосходстве военной силы.

В этом ряду ключевое место занимает концепт вассально-ленной зависимости<sup>17</sup>. Без его использования не обходится прак-

тически ни одна работа по чешской истории, равно как и исследования, так или иначе затрагивающие вопрос о германской политике в регионе<sup>18</sup>. Вассально-ленное право выступает и как идеально-типическая модель и как устойчивая и целостная, несмотря на вариативность, совокупность правил и принципов, разделяемых средневековыми людьми и позволяющих им упорядочивать и регулировать свое поведение в рамках иерархического и политического подчинения. Концепт вассально-ленного права предполагает существование устойчивого и универсального механизма регламентации политического поведения, позволявшего поддерживать порядок в обществе, лишенном четко выстроенной институциональной и правовой системы господства<sup>19</sup>. Вместе с тем, как аналитическая категория этот концепт весьма удобен для современного нормативного сознания в его усилиях систематизировать и объяснить в высшей степени пестрые, разнообразные и хаотичные формы поведения и взаимодействия социальных элит. Вассально-ленное право – это та надежная точка опоры, отталкиваясь от которой можно рассуждать об эволюции, разнообразии, изменчивости, расхождениях в истолковании и применении правовых норм, наконец, о девиациях или простом игнорировании тех или иных конкретных правил в повседневной практике.

Критика концепций вассально-ленного (или вассально-феодального) права исходит из отрицания презумпции устойчивости и нормативности средневекового правового сознания (по крайней мере, в пределах значительного периода т.н. феодальной эпохи) и считает ее малопригодным инструментом для оценки конкретных событий, явлений и практик<sup>20</sup>. В частности, задолго до т.н. «атаки на феодализм», знаменем которой стала книга С. Рейнолдс, высказывались предположения о том, что значительная часть актов политической коммуникации и господства-подчинения не может быть объяснена нормами вассально-ленного права, если отказаться от априорной гипотезы о реальном существовании оногo<sup>21</sup>. Наличие устойчивых вербальных и ритуальных компонентов в моделировании отношений господства, внешнее сходство поведенческих моделей не означает преемственности и неизменности лежащих в их основе смыслов и мотиваций<sup>22</sup>. Ритуалы оммажа и подчинения, присяги верности и покорности, передача «должности», прав или земельного владения одним лицом другому в качестве *beneficium*, участие в военных походах или аристократических собраниях могут интерпретироваться как индикаторы вассально-ленного соглашения, включая процедурные аспекты и последующую реализацию предусмотренных прав и обязанностей сторон. Однако их можно объяснить и иначе, а

именно как отражение гораздо более разнообразной, подвижной и изменчивой совокупности представлений о власти, иерархии, собственности, об исторически сформировавшихся традициях взаимодействия членов аристократического сообщества с носителями королевской власти<sup>23</sup>. Юридически точная артикуляция главных элементов вассально-ленного права (собственно, вассалитета и феода), равно как и фиксация связанных с ними прав и обязательств была осуществлена учеными-юристами, однако, можно ли предполагать аналогичную смысловую унифицированность и формализованность правового сознания участников политической коммуникации предшествующего периода? Используя им понятия едва ли носили характер четко зафиксированных юридических терминов, ведь и в эпоху существования письменного феодального права взаимоотношения в рамках аристократического сообщества регулировались отнюдь не только легальными соглашениями и нормами правовых сводов.

Исследование механизмов и форм политической коммуникации показывает неустойчивость и изменчивость используемых правовых понятий, их прямую обусловленность конкретными обстоятельствами и соотношением сил и, наконец, взаимосвязь представлений о подчинении, свободах и обязанностях с практикой живого и непосредственного общения.

Все эти сомнения относительно адекватности историографического концепта вассально-феодального (ленного) права имеют прямое отношение к пониманию историко-правовой традиции изучения чешско-германских связей. В частности, в историографии уже более двух столетий ведутся споры о возможности описывать историю чешско-германских взаимоотношений в целом или отдельных ее эпизодов и явлений в категориях вассально-ленной зависимости. В конечном счете, речь идет о том, в какой степени вассально-ленное право можно считать устойчивым, непрерывным и определяющим фактором эволюции процесса взаимодействия Чешского княжества и Германской империи, обусловившим процесс включения чешских земель в политическую структуру Империи.

Акты признания подчинения чешскими правителями, принятие ими «княжества» в лен, участие в военных походах немецких королей и императоров, присутствие на собраниях имперской знати, в том числе и связанных с выборами короля, вмешательство и прямой диктат германских королей при решении внутривидионастических споров о наследовании власти или конфликтов с соседями, официальные постановления германских монархов, прямо фиксирующие ленный статус и обязанности чешских адресатов, - все эти

явления описываются либо как реализация норм ленного права, эволюционировавшего в своих конкретных проявлениях, но неизменно детерминировавшего практику политического поведения, либо как факты чисто политического поведения, имеющие конкретно-политическую, а не правовую обусловленность и лишь использующие (нередко, в результате прямого насилия со стороны Империи) язык вассально-ленного подчинения.

Правовой детерминизм, с одной стороны, и «чисто политическая» обусловленность, с другой стороны, - это два крайних полюса суждений, между которыми расположен широкий спектр рассуждений о «правовых» и «политических» аспектах отдельных событий и их месте в общей цепи развития чешско-германских отношений<sup>24</sup>. Анализ реалий, нюансы истолкования тех или иных событий и сведений источников показывают, насколько сложно выстроить убедительную иерархию правовых и конкретно-исторических аргументов, насколько противоречивы и неоднозначны суждения современников о правовом смысле событий<sup>25</sup>, насколько анахронистично представление о нормативной и регулирующей силе отдельных соглашений и правовых актов<sup>26</sup>. Тем не менее, начиная с Добнера и Палацкого и вплоть до последних работ, никто из исследователей не ставит под вопрос сам концепт вассально-ленного права, обсуждая лишь конкретные возможности его применения к чешско-германским отношениям. Нередко, однако, само понятие «вассально-ленной зависимости» употребляется вполне формально, как привычная классификационная дефиниция, конкретное содержание которой либо не проясняется, либо раскрывается через иные описательные или интерпретационные модели<sup>27</sup>.

Следует рассмотреть некоторые наиболее характерные и устойчивые суждения по таким вопросам, как хронология и динамика эволюции двух взаимосвязанных явлений: интеграции Чехии в политические и государственные структуры, существовавшие на территории средневековой Германии, с одной стороны, и природа правовых норм, регулировавших этот процесс, - с другой.

Истоки правовой зависимости Чехии от Германии традиционно относят к эпохе Каролингов, при этом в историографии не существует единства не только по вопросу о характере этих отношений, но и непрерывности франкской традиции подчинения «чехов» германским правителям в посткаролингскую эпоху<sup>28</sup>. Источники по раннему периоду чешской истории крайне скудны, а их сведения, касающиеся отношений с франкскими правителями, с трудом могут быть вписаны (и соответственно интерпретированы) в сколько-

сколь угодно ясный и конкретный контекст развития как самих чешских племен, так и их взаимоотношений с соседями<sup>29</sup>.

Франкские источники упоминают факты поражения чехов и их подчинения в качестве трибутариев Карлу Великому (805 г.), включение чехов в ряд других народов в состав Франкской империи и, конкретно, их принадлежность к сфере территориально-политического господства баварских правителей. В источниках второй пол. IX в. связь чехов с Восточно-франкской империей опосредована правом владения и господства «баварского племени», что на рубеже IX-X столетий приводит к трансформации традиции подчинения франкской империи, основанной на завоевании Карла Великого, в практику признания верховенства баварских герцогов, сохранявшуюся вплоть до поражения чешского князя в 929 г. в столкновении с первым саксонским королем Германии Генрихом I. Чешско-баварские отношения, как правило, интерпретируются в контексте или в связи с проблемой политических связей чешских князей с правителями т.н. Великой Моравии, причем чешская сторона оказывается в ситуации младшего партнера, вынужденного лавировать между двумя крупными игроками.

Большинство исследователей признает реальность фактов столкновения и взаимодействия чехов с франкскими императорами (или представляющими их лицами), равно как и тесные связи с Баварией, в которых пересекались политические и церковно-религиозные аспекты, последовательно замещавшиеся, начиная с первой трети X в., контактами с Саксонией<sup>30</sup>.

Предметом для дискуссии, однако, были и остаются вопросы, связанные с историко-правовой интерпретацией чешско-германских отношений эпохи Каролингов, равно как и роль в последующей истории двусторонних контактов. Весьма туманные перспективы имеет и ответ на вопрос о субъектах взаимных контактов как с немецкой, так и с чешской стороны<sup>31</sup>.

Основные модели интерпретации франкских «истоков» чешско-германских отношений были сформулированы уже в историографии второй половины XIX – первой трети XX в. и с незначительными модификациями воспроизводятся современными историками<sup>32</sup>. Также как и для последующих периодов, можно говорить об отчетливой «национальной» дифференциации историографических суждений: немецких и чешских историков разделяет набор более или менее устойчивых языковых штампов и аргументов, а также различие ракурсов рассмотрения проблемы. Вместе с тем, наличие полярных точек зрения, радикально разводящих «чешскую» и «немецкую» позиции, не исключает существования



достаточно широкого пространства пересечения историографических дискурсов.

Говоря о сходных элементах, следует отметить общее стремление обозначить франкскую эпоху как своего рода начало, краеугольный камень всей последующей традиции развития чешско-германских отношений (каким бы образом эта традиция ни оценивалась в ее характерных особенностях)<sup>33</sup>. Это восприятие, во многом являющееся своего рода «нарративной иллюзией», порождается фундаментальными историческими сочинениями позитивистской историографии, связывает воедино разведенные во времени факты и явления и делает их звеньями непрерывного исторического процесса<sup>34</sup>. Не случайно, и немецкие и чешские историки, и современные исследователи и их предшественники одинаково азартно ищут подтверждений реального сохранения тех или иных элементов политико-правовой практики взаимоотношений чехов с франкской империей в посткаролингский период<sup>35</sup>.

«Немецкий взгляд» позволяет заподозрить латентную уверенность в принадлежности чешских земель с начального момента становления в них государственности к германскому культурно-политическому пространству. Франкский период, несмотря на невозможность дать точные правовые дефиниции отношений чешских и германских правителей<sup>36</sup>, трактуется как начальный период установления отношений личной зависимости (трибутарные обязательства, полу-вассалитет и т.д.)<sup>37</sup> и формирования государственно-правовой традиции включения «чехов» в сферу политического господства Каролингов и их преемников<sup>38</sup>. Эта традиция получает свое развитие в последующей истории, а франкский период становится своего рода первым этапом на пути эволюции Чехии от одной из зависимых пограничных территорий в полноценное имперское княжество<sup>39</sup>. Развитие Чехии рассматривается не просто в связи с германским влиянием и доминированием, но как «локальный» вариант политической эволюции германских земель<sup>40</sup>. Примечательно, что немецкие историки охотно используют при объяснении смысла и динамики чешско-германских отношений аналогии с процессом включения отдельных немецких земель в состав франкской Империи<sup>41</sup>.

Чешская историография традиционно отказывается видеть основной смысл и содержание чешского развития в процессах политико-правовой интеграции в систему германской государственности. Франкский период характеризуется более или менее расплывчатыми определениями, такими как втягивание чешских племен в сферу политических притязаний каролингов и их преемников, признание в той или иной степени зависимости от центральных или

региональных правителей<sup>42</sup>. Понятие зависимости, как правило, лишается четкого правового содержания и институциональной устойчивости, более или менее отчетливо редуцируется к чисто личным, временным и ситуативно обусловленным формам подчинения. Вне зависимости от того, используют ли исследователи парадигму чисто политических, «международных» отношений (с явной тенденцией акцентировать национальное и политическое противостояние)<sup>43</sup>, или признают уместность формально-правовой модели описания германского влияния, общей чертой чешской историографии можно считать особое внимание к процессам внутренней этнополитической интеграции чешских племен, равно как и значимость иных геополитических процессов, нефранкского происхождения. В ряду последних центральное место бесспорно занимает история т.н. первой великой славянской империи, называемой Великой Моравией, - история которой загадочна и темна в свете аутентичных свидетельств, однако укоренена в историографической традиции как развернутое нарративное и аналитическое описание<sup>44</sup>.

В работах чешских историков последнего времени без труда обнаруживается традиционная концептуальная парадигма – зависимость чешских князей и интенсивное взаимодействие с франкскими правителями не имели серьезных правовых последствий. В частности, примечательны с точки зрения сходства и расхождения в общих оценках «франкского» периода чешско-германских отношений работы З. Фиалы и Д. Тржештика.

Первый полагает, что обязательства чешских князей (и представляемого ими сообщества чехов) ограничивались выплатой дани, не были постоянными и возобновлялись в связи с конкретными обстоятельствами, прежде всего, такими как поражение в войне. З. Фиала считает, что традиция выплаты трибута германским правителям была заложена Карлом Великим и стала итогом первых упомянутых франкскими историками поражений чехов в военных компаниях 805 и 806 гг. Память об этом, равно как и признание трибута единственной формой обязательств перед немецкими королями, по мнению историка, сохранялись в чешском политическом и историческом сознании нач. XII в., о чем свидетельствует первая чешская хроника<sup>45</sup>. Трибут был распространенным финалом военных столкновений отдельных народов и государств средневековой Европы и сам по себе не означал вступление побежденных в отношения правовой зависимости от победителей. Выплата дани воспринимается ученым как чисто прагматический способ завершения войны и «выкупа мира» у более сильного противника, а потому «трибут» чешских князей не создавал устойчивых право-

отношений и не был постоянным обязательством<sup>46</sup>. Трибут был, по мнению Фиалы, не только основной, но и единственной формой «обязательств» со стороны Пржемысловцев германским правителям вплоть до середины XI в., не несшей никакого политико-правового содержания и остававшейся чисто ситуативной и прагматической по своему происхождению. Фиала, вместе с тем, вынужден признать наличие таких ситуаций, когда чешские князья признавали зависимость от германских правителей<sup>47</sup>. Однако, эта зависимость в его понимании не имела никакого конкретного правового значения и была не более, чем вынужденным политическим маневром, терявшим какой-либо смысл по мере изменения реальной политической ситуации<sup>48</sup>. Опровергая традиционный «немецкий» тезис о вассалитете как юридическом основании всей системы чешско-германской политической коммуникации, З. Фиала дает самый радикальный ответ: отсутствие каких бы то ни было механизмов правового регулирования редуцирует понятие «права» до уровня чистой политической целесообразности. Континуитет франкской традиции в последующем развитии чешско-германских отношений фактически сводится к преемственности определенной модели политических отношений – агрессии и гегемонистских претензий со стороны Германии и противостояния этим претензиям, иногда и путем вынужденного подчинения, со стороны Чехии<sup>49</sup>.

Позиция Д. Тржештика, отраженная в его последней большой работе по ранней истории Чешского княжества<sup>50</sup>, наряду с собственными индивидуальными и в высшей степени оригинальными воззрениями на самый темный период чешской истории, безусловно фиксирует и изменения в общих подходах к проблемам «средневековой политики», которая все больше изучается не через призму «государственного» и «правового» подхода, а как отражение истории эволюции традиций, форм и методов социальной коммуникации<sup>51</sup>. Д. Тржештик, в частности, считает, что походы Карла Великого положили начало не только традиции выплаты «трибута» чешскими князьями<sup>52</sup> как периодически возобновляемого обязательства, но и формированию во франкской политической и исторической мысли представления о «Чехии» как одном из «королевств» (*regnum*), входящем в состав территорий, подчиненных Империи, и конкретно – в сферу политического господства Баварии<sup>53</sup>. О существовании традиции включения Чехии в состав Франкской империи свидетельствуют письменные источники, в которых в той или иной форме фиксируется подчинение Чехии франкским правителям<sup>54</sup>. Эта традиция пережила как фактическую дезинтеграцию Восточнофранкской империи на рубеже IX-X вв., трансформировавшись в идею зависимости от Баварского герцог-

ства<sup>55</sup>, так и формирование новой системы политического единства германских земель при Людольфингах, к которым «право» на Чехию перешло от признавшего Генриха I королем последнего Лиутпольдинга герцога Арнульфа<sup>56</sup>.

В выстроенной Д. Тржештиком линии преемственности смущает тот факт, что она формально воспроизводит институционально-эволюционистскую схему позитивистской и историко-правовой историографии. Однако, смысл этой схемы чешский историк значительно расширяет и в конечном счете размывает его до полного исчезновения исходного содержания<sup>57</sup>. Достигается это за счет смысловой релятивизации правовых понятий (подчинения, господства, включения в границы «империи» или имперского княжества), используемых франкскими источниками<sup>58</sup>.

Кроме того, ученый предельно расширяет представление о субъектах политической деятельности, выводя его за пределы условного понятия устойчивой государственно-политической общности и его официальных представителей, и говорит о множественности нередко действующих автономно участников политического процесса<sup>59</sup>. Тржештик включает в обсуждение проблемы чешско-франкских отношений проблему взаимодействия чешских князей с локальными германскими аристократическими династиями, которые, особенно в периоды ослабления королевской власти, выступали как самостоятельные субъекты политической деятельности. В частности, он опирается на достаточно популярную, работанную в немецкой историографии концепцию активного включения «чехов» в весьма запутанную и сложную историю противостояния баварских и саксонских правящих династий на рубеже IX-X в., что было связано как с борьбой за влияние в рамках собственно франкского политического мира, так и в славянских землях, бывших традиционной зоной каролингской экспансии<sup>60</sup>. Спор о государственно-правовом характере чешской зависимости теряет в этой связи всякий смысл: он неизбежно трансформируется в выяснение весьма запутанных и неочевидных для современного сознания вопросов о соотношении идеологий, правовых принципов, политических и социальных практик в их трансформациях, преемственности и затухании<sup>61</sup>.

В работе Тржештика характеристика правовых аспектов включает в себя следующие элементы: притязание на господство, покровительство и помощь в борьбе с врагами со стороны Германии и необременительное подчинение, вассалитет и выплата трибута со стороны Чехии<sup>62</sup>. При этом он отвергает представления о ленной зависимости чешских князей, равно как и реальное включение Чехии в состав имперских земель<sup>63</sup>. Многое в этой характеристике

кажется произвольным, лежащим скорее в области индивидуальных представлений и предпочтений исследователя<sup>64</sup>. Почему обязательства чехов определяются исключительно понятием трибута, насколько достоверно определение периодов выплаты трибута (с 805/806 по 817 и с 895 гг. до середины или конца XI в.) и утверждение об устойчивой ассоциации обязательства Чехии в отношении правителей Империи с трибутарными обязательствами? Немецкие источники не позволяют выстроить такую линию преемственности, а утверждение Козьмы Пражского, постулирующего это, могли быть всего лишь литературной конструкцией ученого клирика начала XII в., вкладывавшего в понятие трибута совсем иной смысл, чем тот который подразумевался франкскими или саксонскими источниками IX и X вв.<sup>65</sup>

Признавая факт принесения вассальной присяги чешскими князьями, Тржештик решительно опровергает справедливость утверждения В. Новотного (и других ученых, строго придерживавшихся буквы источника и конвенциональных историографических понятий) об их ленных обязательствах. Считает ли он формулировки франкских хронистов простым литературным клише и способом выражения определенной идеологической и правовой претензии или полагает, что само понятие вассально-ленных отношений не подходит для характеристики существа изучаемого явления? Используемый термин «вассалитет» не расшифровывается в своем содержании: простая присяга верности, необходимая для заключения союза, или признание неких обязательств перед немецкими правителями? Связаны ли факты участия чехов в некоторых совместных акциях (придворных собраниях, военных экспедициях), акты взаимной вражды или приязни с процессом формирования каких-то устойчивых правоотношений? Наконец, на чем основано утверждение, что чехи воспринимали союз с франкскими и баварскими правителями как исключительно удобный и необременительный в правовом отношении?

Большая часть из этих вопросов не может быть решена с какой-либо определенностью, однако, очевидно, что использование конвенциональных понятий и историографических клише для истолкования высказываний источников и мотивов поведения средневековых людей создает лишь симулякры аутентичных смыслов.

В течение последних десятилетий в историографии достаточно определенным стало представление об особой роли X в. в истории Чехии и всего центрально-европейского региона. Прежде всего, речь идет о появлении новых значимых субъектов политического действия – династий, подчинивших своей власти значительные территории и племенные объединения и в исторической перспек-

тиве определивших институциональные, территориальные и этнические параметры центрально-европейских государств. Значительные изменения претерпела и система государственного управления в посткаролингской Восточно-франкской империи, равно как и германская политика на восточных границах Империи<sup>66</sup>. Именно с этого времени можно проследить тенденции и более или менее предметно обсуждать методы взаимоотношений между Германской империей и центрально-европейскими государствами, обращаясь и к конкретным явлениям и к длительной перспективе. Непрерывность исторического развития как Чехии, так и Германии, их более или менее полное и достоверное отражение в сохранившихся источниках, достаточно ясная линия правопреемственности субъектов политической коммуникации позволяет ученым рассматривать историю чешско-германских связей X-XII вв. (равно как и в более широкой перспективе) как непрерывный и обусловленный логикой внутренней преемственности процесс.

Исследуя правовые аспекты взаимоотношений Чешского княжества с Империей X-XII вв., ученые, как правило, обсуждают следующие проблемы: время возникновения вассально-ленных обязательств; соотношение практики вассалитета и тенденции включения чешских князей в круг «князей империи», а Чехии – в состав имперских княжеств; конкретное содержание вассальных обязательств чешских князей и сеньориальных прав германских правителей. Именно ответ на эти вопросы определяет содержание представляемых отдельными исследователями моделей, которые, несмотря на разнообразие трактовок отдельных фактов и аспектов чешско-германских отношений, могут быть редуцированы к весьма ограниченному набору вариантов.

Первый вариант можно обозначить как концепцию раннего и последовательного установления вассально-ленной зависимости чешских князей и включения Чехии в состав Империи, что оказало существенное влияние на политическое, социальное и культурное развитие славянского княжества. История Чехии рассматривается в контексте формирования Германской империи как своеобразного политического союза территориальных княжеств. В целом его можно обозначить как классическую версию историко-правовой и институциональной школы, сформированную немецкими историками XIX – начала XX в.<sup>67</sup> К числу ее сторонников с учетом особых суждений о внутренней автономии чешского княжества и его специфическом положении в ряду имперских герцогств, можно отнести и самого авторитетного чешского историка-позитивиста В. Новотного<sup>68</sup>.

Второй вариант, в свою очередь, предполагает параллельное развитие двух процессов: становление своеобразного с точки зрения внутреннего устройства и суверенного чешского государства, с одной стороны<sup>69</sup>, и интенсивное взаимодействие с правителями Империи и германской аристократией, партнерские по существу, однако нередко принимавшее формы неравного союза и правового подчинения, с другой стороны<sup>70</sup>. Сама концепция исторического развития Чехии выводится из парадигмы германского культуртрегерства на восточной периферии романо-германской Европы и объявляется самоценным и самодостаточным явлением<sup>71</sup>. В работах последних десятилетий, особенно в тех, которые появились в связи с двумя знаменательными событиями: празднованием миллениума и вступлением центрально-европейских государств в Европейский Союз – статус почти официальной исторической доктрины получила идея о том, что вхождение Чехии (а также Польши и Венгрии) в «семью христианских государств» (колыбель современной Европы) с самого начала было связано с признанием ее статуса суверенного и могущественного государства<sup>72</sup>. Не вдаваясь в обсуждение сравнительных преимуществ и недостатков двух, в равной степени идеологичных и литературных концепций «средневековых истоков» Европы – Христианская империя или «семья христианских государств», – отмечу, что современные ученые в той же степени подвержены влиянию «актуальных идей», как и их далекие предшественники<sup>73</sup>. Следует заметить, что свой вклад в похвальный пересмотр традиционных воззрений на роль Германии и характер ее взаимоотношений с соседями в начальный период исторического формирования региона внесли и немецкие ученые<sup>74</sup>.

Признание «самобытности» и «суверенности» чешского государственно-политического развития распространяется и на признание самостоятельности местных правителей в международных контактах, однако, за исключением крайних случаев, большинство чешских историков традиционно признает правовую зависимость чешских правителей от Империи. Проблема четкой характеристики правовых принципов чешско-германских отношений, вместе с тем, остается сложной риторической и логической проблемой. Зависимость чешских князей описывается преимущественно в терминах вассально-ленного права, однако само их содержание обставляется множеством оговорок. Применение ленного права отодвигается на возможно более поздний период, ранее которого можно говорить лишь о «некоем патронате» Империи или «неком признании зависимости» чешскими князьями<sup>75</sup>. Полноценное использование норм ленного права ставится под сомнение уточняющими замечаниями о «формальности» вассального подчинения, о

«чисто личных обязательствах» князей, не подразумевающих ленного статуса княжества<sup>76</sup>, о несовпадении притязаний императоров с чешским взглядом на собственные права и свободы. Наконец, решающее значение при оценке правовой природы тех или иных актов политического взаимодействия имеет апелляция к факторам «чисто политической» обусловленности или целесообразности<sup>77</sup>. Понятие правовой нормы становится двуликим Янусом, превращаясь (в соответствии с пожеланиями или убеждениями исследователя) то в четкое регламентирующее обязательство, то в инструмент разрешения конкретных проблем политической жизни. В чешских исследованиях вассально-ленная зависимость традиционно лишается смысла политико-правового подчинения империи, а ее семантика колеблется между функциями международного права или инструмента «господства-подчинения»<sup>78</sup>.

Германские историки, как правило, рассматривают историю чешско-германских отношений как процесс интеграции Чехии в состав Империи в качестве одного из имперских княжеств. Эта идея, сопряженная с представлением о федерализме как принципиальной особенности политического устройства и основной тенденции эволюции «германского ядра» средневековой Империи, не чужда и чешским исследователям, как правило, нейтральным в отношении актуальных сражений за национальное самосознание и делающим все необходимые оговорки об особом статусе Чехии по сравнению с другими имперскими княжествами<sup>79</sup>. Представления о древности, непрерывности и правовой определенности зависимости Чехии от Германской империи требуют какого-то точного хронологического начала. В этом качестве может восприниматься франкская эпоха. С большей уверенностью, однако, говорить об истоках ленной (или вассальной) зависимости чешских князей некоторые ученые предпочитают начиная с оттоновской эпохи и предполагая, что в X в. Чехия бесспорно воспринималась как часть Германской империи<sup>80</sup>. И в том и в другом случае существует полемика по вопросу о том, было ли это восприятие односторонним, т.е. отражающим исключительно политико-идеологические интенции имперских властей<sup>81</sup> и элит или речь идет о реальной институционально-правовой интеграции<sup>82</sup>.

Автор вышедшей в 1960 г. и по сей день последней обобщающей работы по истории «государственно-правовых» связей Чехии и Германской империи В. Вегенер<sup>83</sup> представляет историю чешско-германских отношений как процесс превращения Чехии из трибунтарной, полувассальной территории (Nebenland) в важнейшее из «имперских княжеств». В его изображении этот процесс обусловлен последовательным укоренением норм ленного права как ос-



нового механизма регулирования отношений чешских и германских правителей<sup>84</sup>. Относя истоки зависимости Чехии от Империи к эпохе Карла Великого, немецкий историк считает важнейшим поворотным моментом в истории чешско-германских отношений эпоху первых Людовингов: по его мнению, уже при первом правителе новой «германской» династии было восстановлено древнее каролингское право на чешский трибут, а чешский князь из династии Пржемысловцев принял присягу вассальной верности германскому королю<sup>85</sup>. Отвергая историко-правовую казуистику чешских историков, признававших вассальную зависимость чешских князей от «императора» как универсальной главы христианского мира и отвергавших их обязательства в отношении «германского правителя», В. Вегенер считает, что изначально речь шла именно о вассальной зависимости от германского правителя как «короля» Германии, а не императора<sup>86</sup>. При этом, однако, он опирается на мнение о том, что ни при Людовингах, ни позже «Германия» не представляла собой монолитного национального государства, но была своеобразным союзом отдельных германских племен, позже «территориальных княжеств», признававших авторитет и власть главы Империи. В этом контексте принадлежность к «Германской империи» как к политическому союзу не несла никакой угрозы внутренней этнической и политической самобытности «славянского княжества»<sup>87</sup>.

Большинство исследователей, в равной степени и чешских и немецких, однако, выражают сомнения, можно ли за формулами, используемыми средневековыми хронистами для характеристики правовых обязательств чешских князей X в.<sup>88</sup>, усматривать действительное установление отношений ленной зависимости и вассалитета. В работах последних десятилетий констатируется, что достоверные свидетельства о признании чешскими правителями вассальной зависимости от главы Империи относятся только к началу, а то и к середине XI в. Именно в этот период, и не ранее, принятие чешскими князьями обязательств «верности» германскому правителю сопровождалось передачей Чехии в «лен» (*beneficium*). Доминирующей позицией как чешских, так немецких работ является отрицание возможности использования вассально-ленного права в системе чешско-германских отношений X в., равно как и причисления Чехии к ряду имперских территорий<sup>89</sup>. Вместе с тем, нередко в исследованиях, посвященных проблемам организации власти Людовингов или их взаимоотношениям с «восточными» соседями, где чешская тема упоминается вскользь, чешские князья называются «вассалами» немецких правителей. Подобные дефиниции делаются во многом машинально, без каких-либо глубоких

историко-правовых интенций. Однако сама по себе инерция однозначного восприятия статуса чешских правителей как вассалов Империи в западной историографии, по определению связанной с немецкой традицией и почти незнакомой с «чешским взглядом» на проблему, показательна: точный термин, теряя обязательность и превращаясь в своеобразную научную метафору, тем не менее, тянет за собой шлейф давних и укорененных ассоциаций<sup>90</sup>.

В. Вегенер полагает, что превращение вассально-ленных обязательств чешских правителей из временной и неясной формы признания зависимости, обусловленной обстоятельствами политического характера<sup>91</sup>, в полноценный и безусловный правовой принцип произошло в 1041 г.<sup>92</sup> Именно с этой датой, отметившей подчинение чешского князя Бржетислава требованиям Генриха III, немецкий историк связывает превращение вассально-ленных обязательств чешских князей из временных и случайных в систематическое исполнение ими всех связанных с ленной зависимостью обязанностей: признание своего княжества леном империи, участие в военных экспедициях, поддержку императора в борьбе против врагов вовне и внутри Германии, участие в собраниях имперской аристократии. Вегенер<sup>93</sup> считает, что с последних десятилетий XI в. чешский правитель официально причисляется к числу князей империи, подчиняется «земскому праву» Империи и суду императора, причисляется к числу наиболее влиятельных герцогов империи (1114), которым с течением времени переходит право избрания императора. Все эти де-факто сложившиеся в XI-XII вв. нормы правового положения Чехии и ее правителей в рамках Империи получили окончательное легальное подтверждение в законодательных актах последующих столетий<sup>94</sup>.

Стадии развития политико-правового статуса Чехии в отношениях с Империей – трибутарно-вассальное подчинение, полноценный вассалитет, имперское княжество – мыслятся не только как последовательно сменяющиеся формы политико-правовых отношений, но и естественные фазы единой эволюционной цепи, содержанием которой является интеграция Чехии в германские политические структуры и ее развитие как одного из имперских территориальных княжеств. В целом, эта схема выстраивается по аналогии с разработанными в германской *Verfassungsgeschichte* моделями развития средневекового германского государства, характеризующими, помимо прочего, и своеобразие функций и эволюции германской ленной системы<sup>95</sup>. Расхождения историков в обозначении конкретных хронологических вех – это, в сущности, спор о степени достоверности использования тех или иных норм ленного права в тот или иной период<sup>96</sup>. Систематическое выполнение лен-

ных обязательств, признание статуса правителя Чехии в качестве князя империи, а его государства в качестве имперского лена могут фиксироваться с X<sup>97</sup>, XI или XII в.<sup>98</sup> – в сущности, не меняют общего содержания этой концепции, основанной на поиске точных институционально-правовых оснований процесса политической коммуникации<sup>99</sup>.

Телеологичность и древность государственно-правовой зависимости Чехии от Германской империи, представленные «немецким взглядом» на проблему, не могли вызвать симпатии чешских историков. Палацкий и его последователи нашли логическую возможность развести представления о вассальных обязательствах чешских правителей, с одной стороны, и государственной зависимости Чехии от Германии, с другой стороны. Он заключался в утверждении, что вассалитет чешских князей носил чисто личный характер, был обращен к Императорам как носителям универсального титула, а не правителям германского государства<sup>100</sup> и не затрагивал государственно-правового статуса Чехии<sup>101</sup>. Другое объяснение представлено тезисом, что вассалитет чешских князей, иными словами, чешская зависимость, означала принадлежность к универсальной христианской империи, а не подчинение Германии<sup>102</sup>. Другие исследователи, понимавшие неизбежную семантическую взаимосвязь между вассально-ленным правом и системой средневекового государственного управления, доказывают отсутствие таковых на протяжении возможно долгого периода средневековой истории, либо обвиняя своих оппонентов в германском реваншизме<sup>103</sup>, либо прибегая к спасительным формулам о «чисто формальном», особом, отличном от внутригерманских практик, характере чешского вассалитета и отсутствии прямой связи между ленной зависимостью и включением Чехии в ряд собственно германских княжеств.

Доводы против государственно-политического подчинения и «ленной зависимости» Чехии, и до сего времени воспроизводимые в чешских работах и учитываемые немецкими историками, были почти сорок лет назад сформулированы З. Фиалой, автором наиболее аргументированных и систематических, хотя и отмеченных неким излишним пафосом борьбы с немецким реваншизмом, исследований проблемы в современной чешской историографии<sup>104</sup>. В своей статье о политико-правовых отношениях Чехии и Германской империи с франкской эпохи до начала XIII в. он отмечает, что у историков нет никаких оснований предполагать прямую преемственность чешско-германских отношений X-XII вв. с предшествующей каролингской эпохой<sup>105</sup>. Главный его тезис можно редуцировать к утверждению, что ни для X, ни для XI-XII столетий

нет оснований говорить о вассально-ленной зависимости Чехии и чешских князей от Империи. Для X в. он отвергает всякую возможность правовой зависимости Пржемысловцев и допускает лишь существование т.н. «чешского трибута»<sup>106</sup>, дани выплачиваемой германским королям в знак признания поражения в войне и символического выкупа мира, не имеющей никакого отношения к вассалитету – ни в качестве специфической вассальной «службы», ни как особое право, предшествующее и генетически связанное с ленными обязательствами. В работах последнего времени мы, в целом, находим согласие с этим тезисом<sup>107</sup>.

На рубеже X-XI столетий, признает исследователь, отмечены первые бесспорные случаи вступления Пржемысловцев в вассальные отношения с германским правителем, однако он не видит в этих фактах далеко идущих последствий правового характера: речь идет лишь о реакции на конкретные обстоятельства внутри- и внешнеполитического характера. Он отвергает саму возможность увидеть в этих событиях рождение традиции правовой регламентации чешско-германских отношений в терминах вассально-ленного права и установление сколько-нибудь устойчивой практики политико-правового подчинения Чехии<sup>108</sup>. Сообщения о фактах признания чешскими князьями подчинения главе империи в течение XI в., их активное участие в военных акциях германских правителей и придворных собраниях знати трактуются им исключительно как элементы реальной политики и способ выражения прагматических интересов и возможностей сторон. Он отвергает возможность говорить о зависимости Чехии от Империи как о сколько-нибудь устойчивой правовой модели взаимных отношений. Тенденциозными и противоречащими исторической реальности видятся ему попытки немецкой историко-правовой традиции (к которой он причисляет и Новотного) провести прямые аналогии между политико-правым статусом чешских и германских князей, сопоставить положение Чехии с другими германскими территориями<sup>109</sup>.

Изменение правовой ситуации в отношениях чешских и германских правителей З. Фиала видит лишь в реалиях XII в. Он констатирует, что на протяжении этого столетия Пржемысловцы признают право императора утверждать нового правителя на Пражском престоле, что он считает главным индикатором реального использования норм вассально-ленного права<sup>110</sup>. Вместе с тем, исследователь максимально релятивизирует значение права как регулирующего механизма. Во-первых, по его мнению, за этой практикой по-прежнему стоят причины сугубо политического характера (многочисленность претендентов и ожесточенная борьба между

Пржемысловцами за Пражский престол, усиление роли чешской знати в решении династических споров), которые вынуждают наследников и претендентов искать внешней опоры даже путем правового подчинения союзнику. Во-вторых, prerogative императора утверждать чешского правителя рассматривается З.Фиалой как сугубо формальное, не имеющее смысла решающего правового аргумента: бесспорный приоритет принадлежать внутренним чешским практикам престолонаследования – закону сеньората и праву чешской знати выбирать нового князя. Примечательно, что чешские обоснования законных способов передачи власти, связанные с избранием правителя, без сомнения признаются Фиалой как релевантные понятию «права», в то время как имперская компетенция практически лишается этого статуса, низводясь до роли «чистой формальности»<sup>111</sup>. Между тем, и в одном и в другом случае речь идет о тесном и многообразном переплетении традиций, правовых обоснований и сугубо политических факторов.

Так или иначе, парадигма столкновения и противостояния сил и интересов, переставая быть чисто политической и приобретая элементы конфликта правовых компетенций, остается для Фиалы основой для интерпретации смысла чешско-германских отношений на протяжении XII в. Борьба двух тенденций – притязаний империи и защиты чехами собственных прав - приобретает особую остроту в период правления Фридриха Барбароссы, стремившегося превратить «формальную» зависимость Чехии в реальное подчинение власти императора, аналогичное политико-правовой зависимости других имперских ленов<sup>112</sup>. В качестве индикаторов правового подчинения, не отвечающих всей логике предшествующего развития и основанных на насильственном применении ленного права, он рассматривает королевскую коронацию Владислава II и его активное участие в походах Фридриха, а также учреждение императором Пражского епископства и Моравского маркграфства в качестве независимых имперских княжеств<sup>113</sup>. В конечном счете, эта правовая коллизия разрешается в ряде императорских постановлений, в которых точное определение имперских обязательств чешского правителя сочетается с признанием всей полноты его внутренних прав, именно так, как они сформировались всем предшествующим развитием чешского государства. В этом смысле он вполне скептически относится к «конституционному» смыслу императорских дипломов конца XII – начала XIII в., воспринимая их не столько как «основополагающий» закон грядущей истории Чешского королевства, сколько как простую констатацию имеющих долгую традицию принципов политического устройства, сопрово-

ждаемую официальным признанием ленного статуса Чехии в рамках Империи.

Позиция 3. Фиалы обладает всеми достоинствами и недостатками четко выстроенной и однозначной концепции. Смысл ее заключается в том, что правовые механизмы регулирования чешско-германских отношений – это поздний феномен, роль которого весьма незначительна в выстраивании реальной исторической традиции взаимодействия между двумя государствами в процессе их формирования и трансформации. Обвинения Фиалы в политическом детерминизме, низведении феномена права до роли чисто формального или исключительно конъюнктурного элемента в системе политической коммуникации, безусловно, справедливы. Однако его концепция является не более чем вполне рациональным и логически уравновешенным зеркальным отражением рассмотренной выше модели, сформированной историко-правовой традиции, в которой детерминантой чешско-германских отношений представляла система принципов и норм, сформированных и эволюционировавших в рамках вассально-ленного права.

Право как строгий и релевантный действительности регулирующий механизм или право как чистый интеллектуальный симулякр живой политической практики, развивающейся сообразно собственной логике; Чехия как часть Империи, государственно-правовой статус которой меняется в режиме трансформации общеимперских механизмов политического господства, или Чехия как имманентно своеобразный и обособленный политический субъект, находящийся в длительных и интенсивных взаимоотношениях с другим политическим субъектом - Германской империей; вассально-ленное право и государственно-правовое подчинение или отсутствие какой-либо правовой матрицы и независимость земли и ее правителей – таковы нехитрые антитезы, отражающие соотношение рассмотренных концепций. Ни изменение общих историографических концепций средневекового государства и суверинитета, ни более внимательное отношение к сведениям источников и скепсис к их статусу документа, адекватно отражающего реалии сознания и социальной практики, ни учет многозначности и изменчивости во времени отдельных понятий и формул средневековой письменной традиции не могут снять потенциальной поляризации конечных суждений исследователей относительно одних и тех же феноменов.

Следует признать, что все попытки согласовать концепцию вассально-ленного права как своего рода фундаментального закона средневековой государственности с многообразием реальных политических практик и принципов коммуникации в рамках пред-

ставлений о временной и локальной вариативности единой политико-правовой модели либо редуцируют действительность к умозрительной модели, чреватой натяжками и насилием над данными источников, либо провоцируют отрицание адекватности конкретного материала налагаемой на него схеме.

<sup>1</sup> Самые полные историографические обзоры, включая анализ чешских и немецких исследований XIX в., см.: *Fiala Z.* Vztah českého státu k německé říši do počátku 13. století // *Sborník historický* 6. 1959. S. 23-95; *Bartoš F.M.* Osvícenská rozprava o poměru Čech k německé říši // *ČČM. R.* 91. 1917. S. 200-203; *Hoffmann H.* Böhmen und das Deutsche Reich im hohen Mittelalter // *Jahrbuch für Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands* 18. 1969. S. 1-62; *Prinz Fr.* Die Stellung Böhmens im mittellalterlichen deutschen Reich // *Z f. Bayerische Landesgeschichte.* 28. 1965. 99-113; *idem.* Böhmen im mittelalterlichen Europa. Frühzeit, Hochmittelalter, Kolonisationsepoche. München, 1984; *Wihoda M.* Zlatá bula sicilská. Praha, 2005. Ценные библиографические сведения и историографические комментарии в обобщающих работах чешских историков, опубликованных в течение последнего десятилетия: *Třešník D.* Počátky Přemyslovců. Praha, 1998; *Žemlička J.* Čehy v době knížecí (1034-1198). Praha, 1997; *idem.* Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti. Praha, 2002; *idem.* Století posledních Přemyslovců. 2 vyd. Praha, 1998.

<sup>2</sup> Проблемам международной политики и коммуникации в средневековой Центральной Европе посвящено значительное число фундаментальных исследований немецких, польских и чешских исследователей, указывать которые в рамках данной статьи не имеет смысла.

<sup>3</sup> Как и многие «центральные проблемы» современной историографии, вопрос о важности политико-правовых отношений с Империей для понимания истоков и обоснования легитимности чешской государственности был поставлен в исторических и политико-публицистических сочинениях раннего нового времени. В частности, обращение к средневековой традиции правового обоснования чешского государственного суверенитета в рамках Империи характерно для трудов чешских диссидентов XVII в., написанных в условиях поражения чешских сословий в конфликте с Габсбургами.

<sup>4</sup> Речь идет о серии дипломов германских правителей, появившихся в штауфеновскую эпоху и имевших непосредственное отношение к борьбе за престол между наследниками Фридриха Барбароссы и Вельфами, самым известным из которых является т.н. Золотая сицилийская булла Фридриха II (1212), а также о «Саксонском зеркале».

<sup>5</sup> В последние годы появилось значительное число работ, ставящих под сомнение конвенциональные толкования важнейших правовых памятников в том виде, как они были сформированы классической традицией историко-правовых исследований. Критическому пересмотру подвергаются как интерпретации содержания (проблема аутентичности понимания и смысловой прозрачности отдельных положений), так и объяснение соци-

ально-политических функций этих документов и правовых сочинений (их реальное использование в качестве нормативных регуляторов в социально-политической практике; уровень их соответствия системе правовых представлений и поведенческих практик, связанных с правовой регламентацией повседневной жизни). В частности, критическому пересмотру подвергаются такие «священные коровы» правовой и конституционной истории, как *Magna Charta*, *Libri feodorum*, Саксонское зеркало. В сфере чешской истории подобный скептический подход обнаруживается в новейшем исследовании Золотой сицилийской буллы 1212 г., которая традиционно оценивалась как важнейший правовой документ, определявший основополагающие принципы государственного устройства Чешского королевств и характер его отношений с Германской империей: *Wihoda M.* Op.cit.

<sup>6</sup> В основной массе – это исторические сочинения немецкого, а с XII в. и чешского, происхождения и агиография. Исключение составляют немногочисленные и весьма темные в своем содержании упоминания Чехии и чешских правителей в королевских дипломах. См. подробнее: *Mikušek E.* Ideové pojetí vztahu českého státu k říši německé v dílech dějepisců 10. a 11. století // *Sborník Historický*. 26. Praha, 1979. S. 5-52; *Fiala Z.* Op.cit.; *Wegener W.* Zeugenriihen deutscher Königs- und Kaiserurkunden als Quellen für die Stellung der Herzöge und Könige von Böhmen im deutschen Königsreich des hohen Mittelalters // *Zeitschrift f. Ostforschung*. 6. 1957. S. 223-245.

<sup>7</sup> Позиции национальных историографий (каждая из которых отмечена широким спектром суждений, высказанных гипотез и многообразием нередко весьма искусно выстроенных схем) могут быть при предельном упрощении сведены к предложенной Ф. Принцем формуле – «правовое положение Чехии в Империи» или «правовые отношения Чехии с Империей». *Prinz Fr.* Die Stellung Böhmens.

<sup>8</sup> Полемика «национальных историографий» носит по преимуществу односторонний характер: реакция на высказывания немецких ученых, тщательный анализ и критическая оценка их работ представляются важным фактором артикуляции идей и суждений о характере чешско-германских отношений чешскими историками. В свою очередь, немецкие работы, как правило, игнорируют чешскую (и иные славянские) историографию, что по преимуществу объясняется элементарным незнанием языка (впрочем, работы основоположников и классиков чешской историографии, таких как Ф. Палацкий или Й. Пекарж, написанные на немецком, также принимают во внимание лишь изредка и весьма поверхностно). Такая ситуация более или менее неизменно сохраняется вплоть до настоящего времени.

<sup>9</sup> *Bachmann A.* Geschichte Böhmens. T.1: Bis 1400. Gotha, 1899; *Bretholz B.* Geschichte Böhmens und Mährens bis zum Aussterben der Přemysliden (1306). München-Leipzig, 1912; *Grawert-May G.* Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des Mittelalters. Anfang des 10. Jahrhunderts bis 1526. Aalen 1971; *Holtzmann R.* Böhmen und Polen im 10. Jahrhundert // *Zeitschrift für Geschichte Schlesiens* 52. 1918. S. 1-37; *Höffler C.* Die Epochen der slavischen Geschichte bis zum Jahre 1526 //



Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Classe. 97. 1881; *Mayer Th.* Böhmen und Europa // *Bohemia*/ 1. 1960. S. 9-21; *Prinz Fr.* Böhmen im mittelalterlichen Europa. Frühzeit, Hochmittelalter, Kolonisationsepoche. München. 1984 и другие работы, указанные ниже. Весьма примечательно в этом смысле краткое высказывание Г. Миттайса в его классическом труде по истории средневекового государства, посвященное Чехии. Он связывает формирование правовой зависимости чешских земель с эпохой Людовольфингов и Салиев и характеризует отношение чешских земель к Империи в период классического средневековья как вассально-ленную зависимость, не делая существенных различий между Чехией и другими германскими землями и определяя специфику Чехии как изначально соответствующего типу «территориального княжества» политического образования в рамках Империи. *Mitteis H.* Der Staat des Hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte. 8 Aufl. Weimar, 1974. S. 178ff. Общая характеристика немецкой историографии в Чехии XIX в. см.: *Neumüller M.* Zur deutschliberalen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts in Böhmen // *ZfO* 20. 1971. S. 441-465; *Seibt F.* Der Nationalitätenkampf im Spiegel der sudetendeutschen Geschichtsschreibung // *Stifter Jahrbuch* 6. 1959. S. 18-38.

<sup>10</sup> Характеризуя основные интерпретативные схемы, сложившиеся в историографии к началу XX в., Й. Вольф отмечает не только расхождение между немецкой и чешской традициями в целом, но и неоднородность суждений чешских историков. Главным отличием по национальному принципу он считает общее несогласие чешских историков с абсолютно доминирующей идеей немецкой науки о том, что история Чехии неотделима от истории германских земель, а ее политическое развитие – это лишь локальный вариант формирования германских «территориальных государств» в рамках средневековой Империи. Чешские историки, в свою очередь, выработали несколько моделей, объясняющих развитие чешского государства в связи с его взаимоотношениями с Германией. Можно, обобщая, говорить о трех версиях. (1) Полное отрицание какой-либо политико-правовой связи с Германией, равно как и германского влияния на становление чешской государственности. (2) Признание определенных правовых оснований неравноправности чешско-германских отношений и включенности Чехии в систему политической организации Империи при максимальной релятивизации политико-правовой составляющей и актуализации международно-правовой природы чешско-германских отношений. (3) Наконец, представители историко-правовой традиции признавали включенность Чехии в политическую систему Империи и находили для этого вполне определенные правовые основания – вассально-ленную зависимость, во многом аналогичную тем правовым инструментам, которые связывали германские территории и германских князей с главой Империи. Вместе с тем, они настаивали на принципиальных отличиях положения чешских земель в сравнении с другими германскими территориями и политическими образованиями, равно как и на внутреннем своеобразии и автономности развития чешской государственности (*Volf J.* Účast českých

panovníků při říšských výpravách // ČNM. R.71. 1907. S. 22-36, 376-398; R.72. 1908. S. 171-184).

<sup>11</sup> Можно назвать два периода, когда чешско-германская полемика по «чешскому вопросу» в эпоху Средневековья протекала на уровне систематической выкладки аргументов и взаимных опровержений сторон. Первый из них пришелся на 1910 – е гг., когда были созданы классические работы по чешской истории. Наибольший интерес, в частности, представляла заочная полемика таких серьезных историков как А. Бахманн и В. Новотный. Второй период – это 1950 – 1960-е гг., когда появились работы В. Вегенера и З. Фиалы.

<sup>12</sup> Подробный и остроумный очерк столкновения и смены исследовательских парадигм и оценочных суждений на примере изучения Золотой сицилийской буллы дает М. Вихода, который показывает как в конкретно исторических исследованиях ученые выражали разделяемые ими актуальные политико-идеологические установки. *Wihoda M.* Op. cit. S. 16ff., 188ff.

<sup>13</sup> *Havelka M.* (Ed.) *Spor o smysl českých dějin 1895-1938.* Praha, 1995; *idem.* *Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny «české otázky» 1895-1989.* Praha, 2001. Довольно любопытный пример трансляции на исторические процессы раннего Средневековья современной идеи Центральной (или Средней) Европы представляют работы Д. Тржештика последнего десятилетия, в которых вполне откровенна взаимосвязь между актуальными идеологемами и научным «конструированием прошлого». См., например: *Tržestík D.* *Von Svatopluk zu Boleslaw Chrobry. Die Entstehung Mitteleuropa aus der Kraft des Tatsächlichen und aus einer Idee* // *The Neighbours of Poland in the 10th Century.* Warsaw, 2000. S. 111-145.

<sup>14</sup> *Böckenförde E.W.* *Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. Jahrhundert. Zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder.* (1961) 2. Aufl. 1995. В этом смысле показательны отклики немецких ученых на работу С. Рейнолдс, в которых отстаивается правомочность основных категорий и моделей, сформированных в классических историко-правовых исследованиях. См. опубликованную в Интернет статью К. Крешелла: *Kroeschell K.* *Lehnrecht und Verfassung im deutschen Hochmittelalter* (1998).

<sup>15</sup> За всеми этими понятиями стоит многообразие смыслов, поведенческих моделей и механизмов взаимодействия, изменчивых во времени и пространстве, с трудом поддающихся точной идентификации на основе сохранившихся источников. В любом случае они едва ли имели точное терминологическое значение и не были в строгом смысле слова нормативно-правовыми категориями. О разнообразии и смысловой подвижности средневековых понятий, описывающих формы социального поведения, способности политического подчинения и управления, многообразии стоящих за ними конкретных коммуникативных практик см.: *Althoff G.* *Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter.* Darmstadt, 2003; *ibid.* *Amicitiae und pacta : Bündnis, Einung, Politik und Gebetsgedenken im beginnenden 10. Jahrhundert.* Hannover, 1992; *ibid.* *Verwandte, Freunde und Getreue: zum politischen Stellenwert der Gruppenbindungen im früheren Mittelalter.* Darmstadt, 1990; *ibid.* *Spielregeln der Politik im Mittelalter :*

Kommunikation in Frieden und Fehde. Darmstadt, 1997; *Epp V.* Amicitia : zur Geschichte personaler, sozialer, politischer und geistlicher Beziehungen im frühen Mittelalter. Stuttgart, 1999; *Rosenwein B.* To Be the Neighbor of Saint Peter: The Social Meaning of Cluny's Property, 909-1049. Ithaca, N.Y., 1989; *Cheyette F.* rec.: Reynolds S. Fiefs and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted. New York and Oxford, 1994 // *Speculum.* 71. 1996. P. 998-1006.

<sup>16</sup> Эта идея уходит корнями в одно из понятий немецкой историко-правовой традиции, а именно «гегемониального господства».

<sup>17</sup> Понятия «вассально-ленная зависимость», «ленная система» и «ленное право» разработаны в германской медиевистике и традиционно употребляются для характеристики чешско-германских отношений. В английской и французской традиции их эквивалентами являются понятия «феодализм», «вассально-феодальных отношений» и «феодального права». Подробное обсуждение этих терминов и их связь с отдельными национальными традициями изучения проблем феодализма см. в книге С. Рейнолдс и в многочисленных откликах на нее: *Reynolds S.* Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted. Oxford, 1994.

<sup>18</sup> Единственный известный мне пример исследования взаимоотношений центрально-европейских правителей с Империей, обходящийся без использования концепта вассально-ленного права для объяснения правовых принципов этих взаимоотношений, – это работа Й. Фрида о Гнезненском съезде: *Fried J.* Otto III und Boleslaw Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der «Akt von Gnesen» und das frühe polnische und ungarische Königtum. Stuttgart, 1989.

<sup>19</sup> Во всех классических работах о «феодальной (ленной) системе» она понимается как вполне устойчивый и единообразный правовой институт, выделившийся из многообразия социальных практик и правовых норм каролингского и посткаролингского общества и получивший в период с 750 по 1250 гг. универсальное распространение. В рамках классической *Verfassungsgeschichte* ленная система и ленное право понимались как отлаженный механизм, с помощью которого осуществлялись функции государственной власти и управления в период между распадом каролингской системы политического господства и формированием современного институционального и бюрократического государства. С различными оговорками и уточнениями феодальная модель правового и государственно-политического устройства средневекового общества сохраняется и в современных исследованиях. Подробную критику модели и объяснение причин ее устойчивости в историографической традиции см.: *Brown E.A.R.* The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe // *American Historical Review.* 79.1974. P. 1063-88; *Reynolds S.* Fiefs and Vassals (основные критические претензии к концепции феодализма были сформулированы ею уже в предшествующем масштабном исследовании: *Reynolds S.* Kingdoms and Communities in Western Europe 900-1300. Oxford, 1984); *Hyams P.* The End of Feudalism? // *Hyams P.* The End of Feudalism? // *Journal of Interdisciplinary History.* 28. 1997. 655-662.

<sup>20</sup> Речь идет о двух принципиальных проблемах. Во-первых, в какой степени «слова» и понятия, используемые средневековыми текстами для описания отношений господства-подчинения и предполагаемых ими прав и обязательств, могут восприниматься нами как устойчивые в своей семантике социально-правовые категории, в совокупности образующие целостную систему правосознания? Во-вторых, каковы были механизмы воздействия правового сознания на конкретные социальные практики и поведенческие модели, если отказаться от априорного признания их нормативности в духе современного нормативного права?

<sup>21</sup> Весьма характерно в этом смысле место исследований Флака, отрицавшего использование феодального права в системе взаимоотношений королей и знати в посткаролингской Франции вплоть до XII в. и вызвавшего резкую критику адептов «феодализма» в классический период формирования этой историографической традиции. См. критические замечания Г. Миттайса: *Mitteis H. Staatsrecht und Lehnsgewalt*. Weimar, 1958. S. 328 ff. Об исторических истоках и процессе формирования «мифа о феодализме» подробно пишет С. Рейнолдс.

<sup>22</sup> В этом единообразии и устойчивости практик и понятий можно усматривать процесс распространения и ассимиляции определенных каролингских поведенческих моделей и понятий, но не использование конкретного правового механизма.

<sup>23</sup> Многочисленные исследования средневековых понятий и терминов, ритуалов и поведенческих практик, осуществляемые, в том числе, и приверженцами концепций феодальной системы и феодального права, обнаруживают разнообразие подразумеваемых ими смыслов и функций. В частности, понятия, традиционно сводимые к инструментальным терминам «вассалитет», «феод», верность и оммаж, имеют в различных ситуациях совершенно разные значения и фиксируют совершенно разные принципы взаимоотношений. Примечательно, что присяга верности, ритуал подчинения и выполнение определенных обязательств (подразумеваемых понятием вассалитета) отнюдь не были устойчивыми в смысловом отношении звеньями единой цепи, объединяющей процедуры установления двустороннего правового соглашения между господином и вассалом. Они зачастую не только обособлены, но и приобретают совершенно разные ситуативно обусловленные смыслы и функции, во многих случаях не поддающиеся точной верификации современными исследователями. См.: *Althoff G. Spielregeln der Politik im Mittelalter*; *Becher M. Eid und Herrschaft. Untersuchungen zum Herrscherethos Karls des Großen* (Vorträge und Forschungen. Sonderband 39), 1993; *Ebe W. Über den Leihgedanken in der deutschen Rechtsgeschichte* // *Studien zum mittelalterlichen Lehnswesen* (Vorträge und Forschungen Bd. V, 1960) S. 11-36; *Goetz H.-W. «Dux» und «ducatus»*. Begriffs- und verfassungsgeschichtliche Untersuchungen zur Entstehung des sogenannten «jungeren» Stammesherzogtums an der Wende vom neunten zum zehnten Jahrhundert. Bochum, 1977; *idem*. Der Leihewang. Tübingen, 1962; *Heinemeyer K. König und Reichsfürsten in der späten Salier- und frühen Stauferzeit* // *Blätter für deutsche Landesgeschichte* 122. 1986. S. 1-

39; idem. «beneficium – non feudum, sed bonum factum» // Archiv für Diplomatik 15. 1969. S. 155-236; *Holenstein A.* Die Huldigung der Untertanen. Rechtskultur und Herrschaftsordnung 800-1800 (1991); *Krause H.G.* Der Sachsenspiegel und das Problem des sogenannten Leihzwangs // ZRG GA. 93. 1976. S. 21-99; *Rosenwein B.* To Be the Neighbor of Saint Peter. Анализ смысловой и функциональной полисемантичности «феодалных» ритуалов см.: *Hyams P.* Homage and Feudalism: a judicious separation // Die Gegenwart des Feudalismus. Hrsg. N.Fryde, P.Monnet, O.G.Oexle. Göttingen, 2002. P. 51-78; *Koziol G.* Begging Pardon and Favor: Ritual and Order in Early Medieval France. Ithaca, London, 1992; *Leyser K.* Ritual, ceremony and gesture: Ottonian Germany // idem. Communications and Power in Medieval Europe: the Carolingian and Ottonian Centuries. Ed. T.Reuter. London, Rio Grande, 1994. P. 189-213.

<sup>24</sup> Образцовую дихотомию аргументов и объяснений в этом смысле представляют работы В. Беренера и З. Фиалы: *Fiala Z.* Vztah českého státu; idem. Přemyslovské Čechy. 2 vyd. Praha, 1975; *Wegener W.* Böhmen-Mähren und das Reich im Hochmittelalter. Untersuchungen zur staatsrechtlichen Stellung Böhmens und Mährens im Deutschen Reich des Mittelalters. Köln, Graz, 1959.

<sup>25</sup> Единственная работа, специально посвященная анализу высказываний и представлений средневековых авторов о характере чешско-германских отношений, статья Э. Микушека: *Mikušek E.* Ideové pojetí.

<sup>26</sup> Анализ нарративных источников и официальных документов с отсылкой к предыдущей традиции интерпретации этих текстов см.: *Wihoda M.* Zlatá bula sicilská; *Žemlička J.* Čehy v době knížecí; idem. Počátky Čech královských; idem. Století posledních Přemyslovců.

<sup>27</sup> В исследовании чешско-германских отношений, в том числе и новейших, не актуализировано изучение иных категорий социального и политического дискурса средневековья, в частности, использование таких форм коммуникации правящих элит как «дружба», «conjuration», *familiaritas*. Кроме того, недостаточно изучены механизмы воздействия тех или иных идеологических концептов, описывавших статус германских императоров (*honor imperii*, использование в качестве атрибутов империи понятий «сакральная» и «Римская»), на содержание используемых ими во взаимоотношениях с Пржемысловцами правовых моделей. Примером тщательной реконструкции механизмов взаимодействия между идеальными идеологическими конструктами, политическим поведением и правовой семантикой событий представляется работа Й. Фрида о Гнезненском съезде. В ней проанализирована взаимосвязь между заимствованной из Византийского имперского обихода идеей христианской семьи королей во главе с императором, совокупностью привычных для германской политики коммуникативных практик и правовым смыслом конкретных актов взаимодействия с восточными соседями. *Fried J.* Otto III. und Boleslaw Chrobry.

<sup>28</sup> Специальных исследований о франкском периоде чешско-германских отношений нет, однако этот вопрос неизменно затрагивается в работах о начальном этапе становления чешской государственности или о «славян-

ской политике» Каролингов. Краткие замечания по этому поводу см. в указанных выше работах З. Фиалы и В. Вегенера.

<sup>29</sup> Информация об этом периоде взаимоотношений чешских и франкских (позже, восточно-франкских) правителей носит более чем фрагментарный характер и ограничивается краткими сведениями из исторических сочинений и каролингских документов. Самый полный обзор источников по чешской средневековой истории см.: *Novotný V. České dějiny*. D. I.1. Praha, 1912.

<sup>30</sup> О чешско-баварской традиции культурных, церковных и политических контактов: *Bosl K. Eintritt Böhmens und Mährens in den westlichen Kulturkreis im Lichte der Missionsgeschichte // Böhmen und Bayern. Vorträge der Arbeitstagung des Collegium Carolinum in Cham. München 1958, S. 43-64; idem. Politikal Relations Between East and West // Eastern and Western Europe in Middle Ages. L., 1970. P. 45-85; Graus F. Böhmen zwischen Bayern und Sachsen. Zu Böhmens Kirchengeschichte des 10. Jahrhunderts // Historica 17. 1969. S. 5-42; Prinz Fr. Die Stellung Böhmens im mittellalterlichen deutschen Reich // Zeitschrift f. Bayerische Landesgeschichte. 28. 1965. 99-113; idem. Böhmen im mittelalterlichen Europa. Frühzeit, Hochmittelalter, Kolonisationsepöche. München. 1984.*

<sup>31</sup> Вопрос о характере субъектов политической коммуникации как фундаментальный для оценки природы этой коммуникации – ее смысла, форм, методов и эволюции – остро поставлен в новейшей историографии. В классической традиции политических и историко-правовых исследований он не столько игнорировался, сколько отодвигался на второй план понятиями государства и права, имевшими устойчивое и неколебимое никакими оговорками институциональное истолкование. В этом смысле примечательно перемещение центра внимания с характеристики институционально-правовых к коммуникативным аспектам, определявшим специфику внутреннего устройства «народов» и «государств» при изучении их взаимоотношений. Это кардинально меняет само понятие «субъекта» международных отношений при описании международных отношений эпохи средневековья, прежде всего, в ранний ее период, связанный с отсутствием четких институциональных и формально-правовых структур государственной интеграции. Применительно к ранней истории чешско-германских отношений можно указать на актуализацию в новейших исследованиях вопросов (зачастую не имеющих однозначных и ясных ответов) о том, кого конкретно следует понимать под чешской стороной в этих взаимоотношениях. Кто именно были «чехи» и «чешские князья», признававшие верховенство франкских и баварских правителей: единое государственно-политическое целое, как думал Палацкий; отдельные племена во главе с местными князьями; единое в политическом и этническом отношении сообщество чехов, возглавляемое многими князьями, все или часть которых признавала зависимость от германских правителей? Кто выступал с немецкой стороны: глава Империи или его представители в Баварии; «народ» Баварии и местные правители, ощущавшие себя в первые десятилетия X в. прямыми наследниками каролингской власти в регионе; Людоль-

финги, получившие от баварского герцога права на власть над соседними народами как часть каролингского наследия и в качестве признанных приемников франкских императоров? Влияла ли смена субъектов коммуникации как с одной, так и с другой стороны на политико-правовой смысл их взаимоотношений?

<sup>32</sup> *Bachmann A.* Geschichte Böhmens. T.1: Bis 1400. Gotha, 1899; *Bretholz B.* Geschichte Böhmens und Mährens; idem. *Bretholz B.* Geschichte Böhmens und Mährens. T.1. Das Vorwalten des Deutschtums. Bis 1419. Reichenberg, 1921; *Fiala Z.* Přemyslovské Čechy; idem. *Vztáh; idem.* Revanšistská kniha o poměru českého státu k středověké říši // ČSCH. 8. 1960. S. 176-185; *Bosl K.* Eintritt Boehmens und Maehrens; *Fritze W.* Frühzeit zwischn Ostsee und Donau. Berlin, 1982; *Graus F.* Böhmen zwischen Bayern und Sachsen; *Höffler K.* Die Epochen der slavischen Geschichte bis zum Jahre 1526 // Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Classe. 97. 1881; *Kalousek J.* České státní právo. 2 vyd. Praha, 1892; *Kapras J.* Přehled právních dějin zemí české koruny. D. 1-2: Pravní prameny a dějiny státního zřízení do roku 1848. 4 vyd. Praha, 1930; *Liermann H.* Franken und Böhmen. Erlangen, 1939; *Novotný V.* České dějiny. D. I.1; *Novotný V.* Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens // ČCH. 9. 1903. S. 26-46, 164-178, 262-300; *Prinz Fr.* Die Stellung Böhmens; *Richter K.* Die böhmische Länder im Früh- und Hochmittelalter // Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder. T. 1: Die böhmische Länder von der archaischen Zeit bis zum Ausgang der hussitischen Revolution. Hrsg. K. Bosl. Stuttgart 1967; *Schlesinger L.* Geschichte Böhmens. Prag-Leipzig, 1869; *Vavřínek Fr.* O státoprávním poměru zemí českých ku staré říši německé // Sborník věd právních a státních 4. 1904. S. 87-106.

<sup>33</sup> Апелляция к каролингскому периоду характерна как для немецких, так и для чешских работ двух последних столетий, использующих аргумент «истоков» для исторического обоснования различных политико-идеологических концепций: изначального включения Чехии в германскую политическую систему; формирования самостоятельного чешского государства в условиях и/или вопреки политико-правовой зависимости от Германии; неизменного противостояния Чехии политическим притязаниям со стороны германского империализма в его широком историческом понимании.

<sup>34</sup> В качестве примера можно упомянуть фундаментальную «Чешскую историю» В. Новотного, которая до сих пор воспринимается как эталонный образец национальной историографии. Здесь не только последовательно излагаются исторические факты и анализируются источники, но выстраивается общая картина преемственности и эволюции правовых принципов взаимоотношений Чехии и Германской империи, в основе которой лежит Каролингская эпоха.

<sup>35</sup> Это в целом соответствует доминирующей исторической концепции европейского развития, в которой «каролингское наследие» мыслится как основополагающий и объясняющий многие черты последующего развития элемент.

<sup>36</sup> Это связано с лапидарностью и фрагментарностью источников, а также с невозможностью поместить их сведения в сколько-нибудь достоверный исторический контекст развития региона в целом и чешских племен, в частности.

<sup>37</sup> В. Вегенер видит корни государственно-правового подчинения Чехии Немецкому государству в трибуне Карла Великого; чешские князья, подчиненные Карлом, не просто покорились Империи, но признали личные обязательства «господства-подчинения» в отношении франкского короля, подтверждение чему немецкий историк видит в заимствовании славянскими племенами имени Карла для обозначения понятия «король». *Wegener W. Böhmen-Mähren. S. 33ff.* (Против таких обобщений *Prinz Fr. Die Stellung Böhmens. S. 103; Třeštík D. Počátky Přemyslovců.*) Ф. Принц (вслед и наряду с другими исследователями) считает трибун примитивной формой зависимости, которая в последующем могла трансформироваться в иные формы зависимости, в том числе и в вассально-ленную. Подтверждение этого процесса усиления зависимости, хотя и не получившей точной юридической вербализации в письменной традиции, он видит в сообщении Фульдских анналов о крещении чешских князей. «Политическая религиозность» и миссионерская деятельность рассматриваются им как «церковная сторона» общего процесса упрочения притязаний на господство и подчинение. От этого события прямой путь ведет к событиям 895 г. – прибытию в Регенсбург всех чешских князей и принесению ими присяги верности и подчинения. Также как и З. Фиала (*Fiala Z. Vzťah. S. 45 ff.*), Принц сомневается в том, что трибун выплачивался регулярно и без перебоев сначала франкским, а затем и германским королям, и считает реальное соотношение сил важным фактором действительности и устойчивости определенных правовых норм. Он сравнивает эту ситуацию с положением Баварии в составе франкского государства, когда значительный упадок эффективности центральной власти автоматически приводил к возрастанию власти и самостоятельности правителей отдельных германских земель. Он считает, что нельзя точно определить, какого рода соотношение сил стоит за формулами, используемыми для обозначения герцога Баварии в качестве «герцога богемцев» (903) и «*dux Baiuvariorum et etiam adiacentum nationum*» (908).

<sup>38</sup> См.: *Wegener W. Böhmen-Mähren und das Reich im Hochmittelalter. S. 12ff.*; анализ предшествующей историографической традиции: *Fiala Z. Vzťah. S. 32 ff.*; критика утверждений В. Вегенера, включая указание на их связь с предшествующей историографической традицией, см.: *Prinz Fr. Die Stellung Böhmens. S. 103-104* и *Fiala Z. Revanšistská kniha o poměru českého státu k středověké říši. S. 176-185* (здесь прямые обвинения Вегенера в реваншизме).

<sup>39</sup> Интерпретация отдельных свидетельств франкского периода в духе установления вассалитета чешских князей и формирования устойчивой зависимости чешских племен от Империи возможна только при ретроспективном переносе на этот период реалий последующего развития.



<sup>40</sup> Примечательно, что в оценках специфики и меры втягивания чешских земель в политическую систему восточно-франкского государства весьма силен «региональный» акцент. В частности, баварские историки всячески подчеркивают важность баварского влияния и тяготения чехов в религиозном и политическом отношении к Баварии. *Bosl K. Eintritt; idem. Das Kloster San Alessio auf dem Aventin zu Rom. Griechisch–Lateinisch–Slavische Kontakte in römischen Klöstern vom 6/7. bis zum Ende des 10. Jhs. // Beiträge zur Südosteuropa–Forschungen. München, 1970. S.15–28; idem. Probleme der Missionierung des böhmisch-mährischen Herrschaftsraumes. Cyrillo-Methodiana. Köln-Graz, 1964. S. 1–38; Richter K. Die böhmische Länder; Prinz Fr. Die Stellung Böhmens. S. 103ff.*

<sup>41</sup> К. Босль и Ф. Принц, например, сравнивают начальный период включения чешских племен в состав каролингской империи с процессом постепенного втягивания Баварии в сферу франкского политического господства. Используется и другое сопоставление, уподобляющее практически самостоятельное Баварское герцогство в период кризиса Восточно-франкского государства (первая четверть X в.) статусу Пржемысловской Чехии в составе Германской империи Людовингов и их преемников. В высшей степени шаблонным является уподобление положения Чехии в составе Германской империи X–XII вв. статусу германских «территориальных княжеств» в том виде, как он начал определяться с конца указанной эпохи.

<sup>42</sup> Начиная с Ф. Палацкого и В. Томека, несмотря на критический пересмотр их взглядов в качестве романтических отголосков гердеровских идей о народном духе, в исследованиях чешских историков так или иначе воспроизводятся идеи о формальной зависимости чешских племен от франкских императоров, об ограниченности реальных обязательств, об укорененности притязаний Каролингов в идеологии универсальной империи, распространяющей свою власть на многие народы и «*regna*», равно как и об отсутствии прямого влияния франкских правителей на внутреннее развитие Чехии. *Palacky F. Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Dle původních pramenův. D.1: Od prvověkosti až do roku 1253. Praha, 1968. S.408ff.; Tomek W.W. O právním poměru Čech k někdejší říši německé // ČČM 30. 1856. S. 357ff.; Fiala Zd. Vztah. S. 37ff.; Třeštík D. Počátky Přemyslovců. S. 337ff.* Более прагматичный и рациональный взгляд на чешскую историю у представителей т.н. «школы Я. Голла», развернутый со всей отчетливостью в сочинениях В. Новотного, описывавшего чешско-германские связи в категориях подчинения и вассально-ленной зависимости, видевшего в них важный элемент чешской истории и в целом расценивавший их как положительный фактор внутреннего развития Чехии. Вместе с тем, в его дискурсе, как и у современных историков, сохраняются отголоски романтической концепции Ф. Палацкого о чешско-германском противостоянии как неизменной составляющей чешской истории, которые выражаются в акцентировании идей об автономности внутреннего развития Чехии, об отсутствии у германских императоров рычагов прямого вмешательства в управление княжеством и особом по-

ложении чешских князей, наконец, в актуализации постоянной борьбы чешских правителей за свои права и свободы в противовес притязаниям германских императоров расширить свою власть над Чехией в рамках существующей правовой модели вассально-ленного подчинения. *Novotný V. České dějiny. D. I.1*; см. критическую оценку идей «школы Гола» и В. Новотного в работах Й. Пекаржа и (специально в связи с проблемой правовых оснований чешско-германских отношений) З. Фиалы (*Pekář J. Dějiny československé. Praha, 1991 (1921); idem. O smysl českých dějin. O nový názor na české dějiny // Spor o smysl českých dějin 1895-1938. Ed. M. Havelka. Praha, 1995. S. 499-560; Fiala Z. Vztah. S. 27ff.*)

<sup>43</sup> Этот подход сохраняет связь с идеями Ф. Палацкого и В. Томека, не считая наиболее радикальных работ, написанных в предвоенный и послевоенный период, наиболее отчетливо представлен в сочинениях З. Фиалы. В целом колебание между условными концептами «политико-правовой зависимости» и «международных отношений» характерно для большинства современных исследователей.

<sup>44</sup> Образ Великой Моравии как первого опыта создания «славянской империи», в культурном и политическом отношении независимой от франкского влияния, глубоко укоренен в историографической традиции, чешская историография традиционно (с большей или меньшей радикальностью) связывает с этой «державой» истоки автономного политического и социально-культурного развития Чехии. В настоящее время наиболее оригинальным и открытым апологетом этой парадигмы чешской истории является Д. Тржештик. Скепсис по поводу историографической концепции великой «славянской державы» см.: *Eggers M. Das «Grossmährische Reich»: Realität oder Fiction? Eine Neuinterpretation der Quellen zur Geschichte des mittleren Donauraumes im 9. Jahrhundert. Stuttgart, 1995.*

<sup>45</sup> Фиала ссылается на описанный Козьмой эпизод борьбы чешского князя Бржетислава I и императора Генриха III после похода первого в Польшу, где чехи, в ответ на чрезмерные претензии императора, ссылаются на готовность следовать древнему обычаю, установленному сыном Карла Великого – Пепином. (*Cosmas. II, 8*).

<sup>46</sup> Более того, выплата трибута рассматривается им как индикатор независимости плательщика от «победителя». Отвергая наличие в системе чешско-германских отношений франкского периода и долгое время спустя каких-либо устойчивых юридических оснований политического господства-подчинения, в качестве каковых и немецкая и чешская историко-правовая традиция определяла вассально-ленное право.

<sup>47</sup> Так, в частности, он оценивает принесение чешскими князьями в 895 г. присяги верности и подчинения императору Арнульфу, последнему из Каролингов, реально правивших в Восточно-франкской империи. Этот акт рассматривается немецкими историками (см. указанные выше работы В. Вегенера и Ф. Принца) как типичный пример подчинения (*commendatio*), устанавливающего вассальную зависимость.

<sup>48</sup> *Fiala Z. Vztah. S. 47ff.*

<sup>49</sup> С точки зрения преемственности форм подчинения З.Фиала отмечает признание чешской политической мыслью X – начала XII вв. справедливости выплаты чехами трибута в отдельных политически обусловленных случаях как практики, введенной еще при Карле Великом.

<sup>50</sup> *Třeštilík D. Počátky Přemyslovců*. Эта монография содержит основные идеи и представления автора о специфике этносоциального, политического и культурного развития Чехии до конца X в., многие из которых были высказаны им в многочисленных публикациях предшествующих лет. Ознакомиться с современными взглядами автора на проблему исторических истоков Центральной Европы как особого политического и культурного региона и участие Чехии в ее формировании можно на его сайте: [www.sendme.cz/trestik](http://www.sendme.cz/trestik)

<sup>51</sup> Методологически и идеологически сходную позицию отражает и упомянутая монография М. Виходы: *Wihoda M. Zlatá bula sicilská*. Praha, 2005.

<sup>52</sup> Первоначально, некоей правящей группы, репрезентировавшей издавна единое чешское племя на «международной арене», а затем Пржемысловцев – Пражских князей, сосредоточивших в течение первой половины X в. в своих руках власть в большей части чешских земель,

<sup>53</sup> *Třeštilík D. Počátky Přemyslovců*. S. 377ff. Концепция преимущественно баварской ориентации чешско-германских отношений, содержание которых определяли процессы политического и церковно-миссионерского проникновения на территорию (будущего) чешского государства, укоренена в историографической традиции. (См. указанные выше работы К. Босля, Ф. Принца и Ф. Грауса). Хронологически «баварский» период чешско-германских отношений охватывает время с середины IX в., достигая своей максимальной интенсивности на рубеже IX-X вв., и во второй трети X в. постепенно вытесняется иной моделью чешско-германских отношений, в которой доминирующими становятся связи с правителями из саксонской династии Людольфингов. Использование модели региональной коммуникации для характеристики чешско-германских отношений в восточно-франкского периода позволяет конкретизировать, выявить реальное «предметное» содержание традиционной формально-правовой и институциональной дефиниции чешско-франкских (имперских) взаимоотношений. Вместе с тем, сама природа и конкретное содержание системы чешско-баварской коммуникации могут быть восстановлены лишь с большой мерой условности. Некоторые обобщающие построения, такие как неразрывная взаимосвязь политических и церковных притязаний на господство в чешских землях, отношений к Чехии как к сфере миссионерской деятельности и церковно-организационного подчинения баварской церкви, включение чешских племен в сферу политической власти баварских герцогов, основываются на косвенных и фрагментарных свидетельствах и не могут быть представлены в конкретных характеристиках масштабов, глубины и устойчивости баварского влияния в чешских землях.

<sup>54</sup> Источники, на которые опирается Д. Тржештик, включают стандартный набор франкских летописных свидетельств и дипломов императоров и баварских князей.

<sup>55</sup> В немецкой историографии существует представление о фактической самостоятельности Баварии в начале X в., правители которой, якобы, делили надежду создания под своей властью обширного королевства, включающего наряду с собственно Баварией и Северную Италию. См. *Mitteis H. Der Staat. S. 112ff.* (здесь историографические отсылки). Об идее «Баварского королевства» и политике герцога Арнульфа: *Reindel K. Die bayerischen Luitpoldinger 893-989. Sammlung und Erläuterung der Quellen. München, 1953; idem. Herzog Arnulf und das Regnum Bavariae // Die Entstehung des deutschen Reiches um 900. Hrsg. H. Kämpf. Darmstadt, 1956. S. 234-242.*

<sup>56</sup> Отношения Чехии с Баварией - важный аспект всего комплекса чешско-германских связей эпохи Средневековья. Особый интерес вызывает мера баварского влияния в Чехии в эпоху перехода от Восточно-франкской империи к Германской империи Людовингов, т.е. в период с конца IX – до середины X в.

К. Босль (*Bosl K. Eintritt Böhmens und Mährens; idem. Probleme der Missionierung. S. 1-38*) считает церковно-миссионерскую и политическую деятельность, направленную со стороны Баварии, основным инструментом втягивания чешских земель в культурный и политический круг развития франкской и постфранкской Европы, которую он практически отождествляет с системой западного европейского мира. Он полагает, что реализация этого проекта баварского присутствия в Чехии (своего рода, программа культурной и политической колонизации) охватывает период с 845 по 973/976 г., определяя границы двумя историческими событиями: сообщением Фульдских анналов о крещении 14 чешских князей в Регенсбурге, относящимся к первой дате, и основанием Пражского епископства, состоявшимся ок. 973/976 г. По мнению баварского историка, событие, описанное фульдским анналистом, отмечает начало двуединой церковно-миссионерской и политической деятельности в чешском регионе, которая приводит, с одной стороны, к установлению баварского влияния, с другой стороны, к включению Чехии в Баварский политический союз, предполагающий возникновение традиции не только региональной, но и общеперской интеграции формирующегося славянского княжества.

Фрагментарность аутентичных свидетельств о развитии чешских земель в этот период позволяет говорить о сложном переплетении различных факторов внутреннего и внешнего характера, в совокупности которых присутствуют лишь отдельные элементы баварского политического и церковного влияния. Они могут оцениваться и как долгосрочный исторический феномен (*Graus F. Böhmen zwischen Bayern und Sachsen, который во многом воспроизводит аргументацию К. Босля*), соединяющий традиции политического взаимодействия и церковно-организационной деятельности баварского духовенства в моравско-панонском и чешском регионе; и как фикция средневекового сознания и искусственный научный конструкт (*Fiala Z. Přemyslovské Čechy; idem. Vzťah*); и как краткосрочный чешско-баварский союз (конец IX – начало X в.), отмеченный зависимостью Чехии от баварских светских князей и церковных институций и заполни-

ший своего рода цезуру между существованием относительно интегрированных империй восточно-франкских Каролингов и саксонских Людольфингов. (*Trěštík D. Počátky Přemyslovců; Novotný V. České dějiny. D. I.1. S.445ff.*). В любом случае, однако, выделение периода 845-973/76 гг. в качестве первой и очевидной в своем своеобразии эпохи включения Чехии в германский политический универсум (*Prinz Fr. Böhmen im mittelalterlichen Europa; idem. Die Stellung Böhmens. S. 101-102*) кажется слишком прямолинейным. В принципе речь идет об оправданности или излишней смелости чрезмерно обобщенных характеристик. Может ли существование в германской литературной традиции IX-X в. устойчивых тенденций причислять Чехию к сфере политического и церковного влияния, подкрепленное немногими фактами из области исторической реальности (каждый из которых может быть истолкован многозначно), служить основанием для аналитической научной характеристики содержания и смысла реального процесса чешско-германской политической коммуникации в этот период? Не происходит ли в данном случае всего лишь перекодировка средневековой литературно-идеологической схемы на язык современного рационального знания?

<sup>57</sup> Аналогичным образом, он использует старую (и отвергнутую в академической историографии) концепцию Палацкого о древнем государственно-политическом единстве чешского народа, трансформируя ее в собственную модель чешского этногенеза и становления государства.

<sup>58</sup> Тезис о формировании во франкской исторической и политической мысли традиции восприятия Чехии как одного из «королевств», входящих в сферу власти франкской империи и ее наследников, ученый дополняет утверждением о том, что «чешский взгляд» на проблему мог быть иным. В частности, позицию чешских князей он трактует как неравный союз с более сильным участником политической жизни в регионе, на которого можно было опираться при решении конкретных проблем в отношениях с соседями (мораванами в конце IX в., саксонскими герцогами на рубеже IX-X в.). В отличие от Фиалы, Тржешттик признает правовые последствия этого союза для чехов, воспринимавших свой статус как свободную и необременительную зависимость, и считает ее основной формой практику выплаты трибута. Ни сам союз чешских и германских правителей, ни связанные с ним правовые отношения не были некоей непрерывной реальностью, однако как элемент политического и исторического сознания служили инструментом преемственности в выстраивании взаимных отношений. Исследователь, таким образом, не отвергает немецкий тезис о государственно-правовом подчинении Чехии и ее включении в состав Империи уже во франкскую эпоху как идеологически вредный, но подвергает сомнению его методологические основания. Прежде всего, прочтение средневековых источников как совокупности документально достоверных сведений, адекватно отражающих описываемую социальную и правовую реальность. Указанное им расхождение в средневековой «франкской» и чешской интерпретации характера взаимных отношений носит во многом гипотетический характер, в том числе и по причине отсутствия каких-

либо достоверных свидетельств с чешской стороны, а также неочевидности предполагаемого им смысла сохранившихся источников. Тем не менее, оно ставит вопрос о транспарентности для всех участников исторического процесса принципов, сформулированных авторами правовых и исторических документов.

<sup>59</sup> Автор исходит из того, что франкские и германские аристократические семьи, прежде всего те, влияние которых усиливалось в тот или иной период, были самостоятельными субъектами политической деятельности, которая лишь отчасти контролировалась или направлялась из единого центра. Признание этого факта во многом выводит проблему чешско-германских отношений из анахронистичной парадигмы межгосударственной политики, поскольку требует конкретной идентификации партнеров «чехов» в тот или иной период взаимодействия: «Империя» в лице императора и его агентов, либо отдельные, самостоятельные в своих действиях и притязаниях германские правители и «народы». В частности, в Фульдских анналах именно «народ баварцев» обладает властью над славянскими племенами, представленными в числе прочих и чешскими князьями. *Annales Fuldenses*. (895), S.125.

<sup>60</sup> Тржештик говорит не только о баварских и саксонских герцогах, представлявших две доминирующие политические силы на востоке империи в конце каролингской эпохи и долго спустя после прихода к власти Людовингов, но и о «германских аристократических династиях» вообще. Последнее утверждение, несмотря на свою гипотетическую вероятность, абсолютно не верифицируется источниками.

<sup>61</sup> Не менее важной, конечно, является и идентификация того, кто именно выступает под содержащимися в источниках обозначениями «чехи» и «чешские князья». Тржештик, вопреки доминирующему в современной историографии мнению, настаивает на том, что уже к концу IX в. Чехия представляла собой интегрированную в этническом, политическом и территориальном отношении общность. Завершение процесса этно-политической интеграции он относит к первой трети X в., в отличие от разделяемого большинством ученых предположения о последней трети — конце X в.

<sup>62</sup> В отличие от Фиалы Тржештик считает трибутарные обязательства определенным типом правовых отношений, предполагающих состояние политической зависимости трибутария. Он критикует трактовку своего предшественника как чрезвычайно узкую, не учитывающую специфику средневекового социального и политического сознания.

<sup>63</sup> Его позиция, в частности, опирается на такие принципиальные идеи современной историографии, как отказ от понятия государственно-политической зависимости как неадекватного для политического сообщества, в котором институализированное государство отсутствовало в принципе и любые отношения господства-подчинения могли иметь только личный характер; констатация того, что в средневековом политическом сознании границы представлений о суверенитете и зависимости проходили совсем не там, где их видит современный человек; признание важности

идей универсальной христианской власти, сопряженных с имперским титулом, для выстраивания отношений франко-германских правителей с соседями; наконец, восприятие самой сферы политического в средневековом обществе как синкретичного явления, предполагающего тесное переплетение светского и церковного, права и религии, идеологии и социальных обычаев.

<sup>64</sup> Наконец, третий мотив — это характеристика развития чешско-германских отношений франкского и раннего оттоновского периода как процесса постепенного включения Чехии в политический и культурный мир, возникший как наследие Карла Великого, хотя «сознательный выбор» своего пути развития в качестве члена этого нового сообщества христианских и цивилизованных народов Тржештик относит ко времени правления Вацлава (+935 г.). Использование популярного историографического топоса «вступление в семью христианских правителей» и «выбор исторического развития» в кругу наследников франкской Империи позволяет Тржештику снять противоречия, соединяя два противостоящих тезиса: утверждение Палацкого о том, что Чехия никогда не принадлежала франкским правителям, с одной стороны, и идею о длительной, хотя и прерывистой, традиции включения чешского политического сообщества в отношения неравного союза с Империей и подчинения ей, с другой стороны. Снятие противоречия между концептами «суверенитета» Чехии или ее зависимости от Империи, латентно подразумеваемых каждым из этих тезисов, требует, однако, не только общенаучных риторических или концептуальных подтверждений, каковые приводит или подразумевает чешский ученый. Все это позволяет вывести проблему чешско-германских отношений из плоскости формально-правовой полемики, однако не снимает вопроса об особенностях правосознания и функций права в политической коммуникации.

<sup>65</sup> В историографии даются разные дефиниции чешского трибута, их можно свести к трем смыслам: правовая норма, устанавливающая отношения зависимости (Вегенер, Томек, Тржештик, Хофманн); не имеющее правового смысла вынужденное обязательство (Калоусек, Фиала); ступень, предшествовавшая ленной зависимости чешских князей от Империи (Бахманн, Новотный, Вегенер). Хронология выплаты чешского трибута также определяется весьма разнообразно.

<sup>66</sup> В связи с празднованием миллениума появилось значительное число работ, посвященных изучению европейской истории X в. и особенно 1000 г. Многие из них, конечно же, в полной степени воспользовались юбилейным настроением, для того чтобы обыграть символическое значение этой даты. В полной мере это относится к ученым Центральной Европы и специалистам по истории региона. Конец X в. и специально 1000 г. и без того традиционно привлекали внимание, поскольку были связаны с появлением в регионе фигур исторического масштаба (Болеслав Храбрый, Стефан I, епископ Адальберт) и как специально пришедшей на эту дату Гнезненской встречи Оттона III и Болеслава. Празднование конца тысячелетия стало прекрасным поводом для центральноевропейских истори-

ков, для того чтобы прославить эту эпоху как время реального конституирования суверенных государств в регионе в качестве равноправных членов нарождающейся средневековой Европы. В событиях 1000 г. увидели прообраз возвращения «на круги своя» исторического развития и символическую префигурацию их вхождения в Евросоюз. Несмотря на существенную пользу этих коммеморативных актов для рефлексии по поводу реального исторического процесса, некоторый избыточный пафос и символическая актуализация далекого прошлого для нужд современности оставляют неприятный осадок.

<sup>67</sup> *Bachmann A.* Geschichte Böhmens. T.1: Bis 1400; *Bretholz B.* Geschichte Böhmens und Mährens; *idem.* Geschichte Böhmens und Mährens. T.1. Das Vorwalten des Deutschtums. Bis 1419; *Grawert-May G.* Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des Mittelalters. Anfang des 10. Jahrhunderts bis 1526. Aalen 1971; *Höffler C.* Die Epochen der slavischen Geschichte bis zum Jahre 1526; *Holtzmann R.* Böhmen und Polen im 10. Jahrhundert // *Zeitschrift für Geschichte Schlesiens* 52. 1918. S. 1-37; *Mayer Th.* Böhmen und Europa // *Bohemia*/ 1. 1960. S. 9-21; *Prinz Fr.* Die Stellung Böhmens im mittellalterlichen deutschen Reich; *Schlesinger L.* Geschichte Böhmens. Prag-Leipzig, 1869; *Scheiding-Wulkopf I.* Lehnsherrlichen Beziehungen der fränkischen-deutschen Könige zu anderen Staaten vom 9. bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Marburg 1948; *Zatschek H.* Geschichte und Stellung Böhmens in der Staatenwelt des Mittelalters // *Das Sudetendeutschtum*, Hrsg. G. Pirchan, W. Weizsaecker, H. Zatschek. Brunn-Wien, 1957. S. 39-84. Наиболее последовательно и четко эта концепция представлена в работах А. Кестера и В. Вегенера, став результатом обобщения и систематического изложения аргументации, разработанной в рамках историко-правовых исследований: *Wegener W.* W. Böhmen-Mähren und das Reich im Hochmittelalter; *idem.* Zeugenreihen deutscher Königs- und Kaiserurkunden; *Köster A.* Die staatsrechtlichen Beziehungen der böhmischen Herzöge und Könige zu den deutschen Kaisern von Otto dem Grossen bis Ottokar II. Breslau, 1912.

<sup>68</sup> *Novotný V.* České dějiny. D. I.1-4. Praha, 1912-1937; *idem.* Adolfa Bachmanna Geschichte Böhmens.

<sup>69</sup> Главный тезис чешской историографии о том, что формирование чешской государственности в X-XII вв. было самобытным и внутренне обусловленным процессом, не связанным с германским влиянием и интеграцией в политические структуры Империи, отчетливо противостоит тезису классической *Verfassungsgeschichte*, считавшей регион, лежащий на восточных границах Германии, своего рода «колониальной» зоной – пространством, развитие которого было обусловлено экспортом социальных и культурных моделей из франко-германского мира. В более мягкой форме этот тезис трансформируется в упоминание неких германских влияний на процесс становления политических, культурных и организационных структур в чешских землях. Чешские историки в солидарном согласии с представителями других национальных школ, напротив, развивают концепцию типологически особого устройства центрально-европейских госу-



дарств. Т.н. модель «центрально-европейского государства» рассматривается как общая для Чехии, Польши и Венгрии, а ее генезис и особенности функционирования не связаны с заимствованием франкских или германских институциональных форм. В качестве возможного источника генетического и типологического единообразия центрально-европейских государств рассматривается т.н. «великоморавская» модель, пережившая крах этого государства и темный период политического генезиса, пришедшийся на X в., и во всем своем блеске и полноте воплотившаяся в устройстве трех государств на рубеже первого тысячелетия. Своего рода итог и манифест этой историографической концепции см.: *Třešník D. Von Svatoopluk zu Bolesław Chrobry. Entstehung Mitteleuropas aus der Kraft des Tatsächlichen und aus einer Idee // The Neighbours of Poland in the 10<sup>th</sup> Century. Ed. P. Urbańczyk. Warszawa, 2000, pp. 111-143.*

<sup>70</sup> Немецкая историография конца XIX - начала XX в. исходила из того, что Чехия с самого начала своего существования как определенной территориальной и политической общности была имперским леном, а ее положение не отличалось или почти не отличалось от собственно германских территорий. Это мнение в целом достаточно точно воспроизвел В. Новотный, считавший суждения предшествующих поколений чешских историков о государственно-правовой независимости княжества не более чем проявлением национализма *Fiala Z. Vztah, S. 29.*

<sup>71</sup> Здесь, конечно, обнаруживала себя реакция национальной чешской историографии на доминирующую в европейской академической науке XIX в. идею об исключительной роли романских и германских народов в создании средневековой Европы как политической и культурной общности. Не случайно, в работах чешских филологов и историков XIX-XX вв. столь важное место занимало изучение вопросов о т.н. моравских (зачастую в узком понимании – славянских) истоках государственной, культурной и церковной традиций средневековой чешской истории. Кроме того, можно отметить, что в работах историков права развивались идеи об автохтонном происхождении чешского средневекового права.

<sup>72</sup> Наиболее прямолинеен и категоричен в своих высказываниях Д. Тржештик, который создает впечатляющий по своей завершенности и размаху образ альтернативного каролингско-имперской модели политического развития центрально-европейских государств, первым воплощением которого стала Великая Моравия, а затем ее наследники в лице Чешского, Польского и Венгерского государств. Суть этой региональной альтернативы заключается в отказе от признания «имперской» парадигмы, т.е. подчинения франкской, а затем германской империи, целенаправленное создание могущественных и легитимных суверенных государств и вхождение в средневековую христианскую Европу в роли равноправных участников сообщества христианских народов. Эта концепция, однако, в отличие от традиционной имперской и культуртрегерской, излишне злоупотребляет апелляцией к стройным и рациональным геополитическим доктринам и соображениям, создание и применение которых скорее под силу совре-

менному интеллектуалу и идеологу, а не раннесредневековому правителю-варвару.

<sup>73</sup> Можно упомянуть, например, отрицательную реакцию Ф. Палацкого на высказывание Эрнста Морица Арндта о тысячелетней связи Чехии с Германской империей, прозвучавшее на Франкфуртском национальном собрании 1848 г. Равно как и его идеи об исходной противоположности «народных» основ германской и чешской жизни, вызывавших постоянное противодействие чехов германскому влиянию. В том же ряду можно назвать редукцию чешско-германских отношений к ситуации перманентного сопротивления экспансии и насилию со стороны Германии в работах предвоенного и послевоенного времени.

<sup>74</sup> Речь идет, в первую очередь, о работах И. Фрида, который пересматривает в своих работах традиционный взгляд на восточную политику оттоновской Германии. Он, в частности, оценивает Оттона III не как беспочвенного мечтателя о возрождении Римской империи, но как творца концепции равноправного партнерства Империи с соседними христианскими государствами.

<sup>75</sup> Отказ от использования терминов вассально-ленного права как аутентичных для правоотношений того или иного периода неизбежно приводит к подобной лексической игре с категориями «подчинения» и «господства» в равной степени и у чешских и у немецких историков.

<sup>76</sup> Чрезвычайно популярная характеристика средневековых чешско-германских отношений, введенная Ф. Палацким и В. Томеком, отвергнутая (ввиду ее бессмысленности в системе категорий классической теории ленного права) В. Новотным, однако постоянно всплывающая в исторических сочинениях.

<sup>77</sup> Что, по меткому замечанию Г. Миттайса, не имеет прямого отношения к пониманию проблемы эволюции и содержания правовых норм как таковой.

<sup>78</sup> В этой связи примечательно различие оценок первого легального документа, фиксирующего обязательства чешских правителей, Золотой сиклийской буллы (1212 г.). Исследователи, признающие более или менее длительную традицию использования вассально-ленного права в чешско-германских отношениях, считают этот документ «конституционным» актом, подтверждающим «суверенитет» Чехии и минимальный объем ее имперских обязательств. Те же, кто отрицает саму возможность говорить о правовой обусловленности чешско-германских отношений, напротив, рассматривают его либо как первый очевидный случай использования норм вассально-ленного права либо вообще как незаконное навязывание Чехии обязательств имперского лена. См. подробнее: *Wihoda M. Zlatá bula sicilská*, где автор дает в высшей степени скептическую оценку всем наиболее распространенным суждениям о правовом смысле этого документа.

<sup>79</sup> См., например, работы В.Новотного и Й.Жемлички: *Novotný V. České dějiny; Žemlička J. Čechy v době knížecí; idem. Počátky Cech královských 1198-1253.*

<sup>80</sup> На этом настаивает большинство немецких историков старшего поколения (см. выше). Концентрированное выражение и обзор их суждений: *Köster A.* Die staatsrechtlichen Beziehungen; *Wegener W.* Böhmen-Mähren. Критический анализ источников и историографии: *Fiala Z.* Revanšistská kniha; *idem.* Vztah; *Hoffmann H.* Böhmen und das Deutsche Reich; *Mikušek E.* Idejvé pojetí vztahu českého státu k říši německé v dílech dějepisců 10. a 11. století // *Sborník Historický.* 26. 1979. S. 5-59.

<sup>81</sup> К этому склоняются преимущественно чешские историки: *Fiala.* Vztah; *Mikušek E.* Idejvé pojetí. 7ff.; *Třeštík D.* Počátky Přemyslovců. S.337ff, 415ff.

<sup>82</sup> В этом смысле характерно высказывание К. Босля, который считал, что Чехия представляла собой наиболее ранний и успешный пример формирования территориальной государственности в ряду других имперских княжеств. *Bosl K.* Probleme der Missionierung des böhmisch-mährischen Herrschaftsraumes. Cyrillo-Methodiana. Köln-Graz. 1964. S. 1-38.

<sup>83</sup> *Wegener W.* Böhmen-Mähren.

<sup>84</sup> Во многом аналогичную картину представляет в более раннем исследовании проблемы А. Кестер: *Köster A.* Die staatsrechtlichen Beziehungen. Характеристика взглядов В. Вегенера в связи с общей эволюцией немецкой историографии проблемы чешско-германских отношений эпохи Средневековья см.: *Prinz F.* Die Stellung, S. 104; *Fiala Z.* Vztah. S. 27ff.

<sup>85</sup> Сообщения саксонских хронистов, Видукинда Корвейского и Титмара Мерзебургского о характере зависимости «Пражского короля» Вацлава, установленной в результате его поражения от Генриха I в 929 г., которая после длительного сопротивления была признана и его братом и преемником Болеславом, Вегенер считает первым достоверным свидетельством вассальной зависимости чешских князей от германских правителей. *Wegener W.* S. 56.

<sup>86</sup> *Wegener W.* S. 33.

<sup>87</sup> Близкие к этим оценкам суждения см.: *Prinz Fr.* Die Stellung Böhmens. S. 110ff.

<sup>88</sup> Титмар, например, говорит о «верности королю и Богу» (*Thietmar.* II,2), а Видукинд, на которого он опирается, - о «верности и полезности» королю, характеризуя положение Вацлава в отношениях с Генрихом I.

<sup>89</sup> С мнением о том, что именно конец первого тысячелетия можно считать переломным с точки зрения «допущения» вассально-ленного права в контекст чешско-германских отношений, согласны и чешские ученые.

<sup>90</sup> Подобное подведение под нормы ленного права всех известных примеров участия чешских князей в разнообразных совместных с германскими правителями акциях, редких для X - начала XI вв., однако весьма многочисленных на протяжении последующих полутора столетий, вызывает законные возражения. Более того, само предположение об установлении вассально-ленного подчинения чешских князей позволяло ученым «дополнять» сведения историков, предполагая что уже в X в. Пржемысловцы несли все основные вассальные обязанности: посещали придворные собрания, оказывали военную помощь, подчинялись судебным решениям. В частности эти, основанные на формально-правовой трактовке вассаль-

но-ленных отношений как устойчивой нормативной модели, допущения делает В. Новотный, в иных случаях отличающейся чрезвычайным педантизмом и строгостью в использовании сведений источников. Сомнения о возможности связывать эти действия с выполнением безусловных обязательств кажутся более чем оправданными (Фиала, Жемличка, Принц, Людат, Хоффманн). Анализ конкретных свидетельств показывает, что в подавляющем числе случаев добровольного или вынужденного взаимодействия чешских и германских правителей можно предполагать или прямо видеть мотивы иные, нежели законопослушность: подчинение силе, личный интерес в осуществлении конкретных военных акций, поиск в лице германского короля союзника в борьбе за чешское наследие или в соперничестве с соседними правящими династиями и т.д. Попытка дать какие-то правовые дефиниции, отличные от понятий вассалитета и вассально-ленного права, приводит к появлению либо чрезвычайно аморфных и количественных характеристик зависимости («определенная зависимость», «необременительное подчинение», «некий патронат и контроль со стороны Империи» и т.д.), либо к введению альтернативных моделей социального взаимодействия, типа «союза», «дружбы», «семьи христианских народов». Сама возможность осуществления в парадигме подчинения более сильному партнеру иных форм взаимодействия, таких как союз, дружба, неравное сотрудничество и т.д. не вызывает сомнения, однако затруднения возникают тогда, когда необходимо провести сколько-нибудь четкую границу между собственно вассальными «службами» и иными формами обязательств.

<sup>91</sup> Подобное использование ленного права он относит и к событиям X в. и к фактам подчинения чешских князей в начале следующего столетия.

<sup>92</sup> Полемика с В. Вегенером о том, что использование вассально-ленного права во взаимоотношениях Пржемысловцев и правителей Империи можно зафиксировать не ранее XI в., отражена в работах и чешских и немецких ученых: *Prinz Fr. Die Stellung Böhmens; Hoffmann H. Op.cit.; Fiala Z. Vzťah; Mikušek E. Idejvé pojetí; Žemlička J. Čehy v době knížecí (1034-1198)*. S. 31, 115, 253ff. В указанных работах практика описания чешско-германских отношений в терминах вассально-ленного права связана с началом XI в. Речь идет о кризисе власти в Чехии, ее захвате польским князем Болеславом Храбрым и последующих неурядицах в семье Пржемысловцев, что заставляло чешских претендентов на престол обращаться к авторитету и военной помощи Генриха II

<sup>93</sup> *Wegener W. Böhmen-Mähren*. S. 154ff.

<sup>94</sup> К числу «конституционных актов», подтверждающих статус Чехии как имперского княжества и определяющих обязательства и права ее правителей, относят такие документы, как Привилегии Филиппа Швабского (1198), Золотую сицилийскую буллу Фридриха II (1212), *Statutum in favorem principum* (1232), Золотая Булла Карла IV (1356). См. суждения Ф. Принца, в целом согласного с логикой рассуждения В. Вегенера. *Prinz F. Die Stellung*, S. 107.

<sup>95</sup> Классическая схема, предложенная Г. Миттайсом, равно как и его система аргументов в пользу государственно-правовых функций ленного права, специфики его использования и развития в средневековой Германской империи, во многом подверглась критике и пересмотру в исследованиях последнего времени. Помимо прочего, пересмотрена и роль формально-правовых механизмов в их влиянии на становление системы имперского управления и институтов, взаимоотношений королевской власти с аристократией, развитие устойчивых территориально-политических образований. Право в его институционально-нормативном понимании, видимо, имело мало отношения к эволюции поведенческих моделей и практик, формированию представлений о взаимных правах и обязательствах и выработке приемлемых для всех сторон правил общения.

<sup>96</sup> В целом спор идет о том, можно ли за сведениями нарративных источников усматривать отсылки к формализованной и семантически точной системе правовых норм, и конкретно, с какого именно времени эти сведения можно интерпретировать именно в таком легалистском смысле.

<sup>97</sup> Для X-XI вв. отсутствие представлений о включении Чехии в состав собственно германского королевства констатируют Э. Микушек и Й. Жемличка – первый на основе представлений немецких хронистов, другой – собственно политических практик. На основании анализа чешских источников неустойчивость и вариативность представлений о «чешской зависимости» констатирует М. Благова. (*Bláhová M. Die Beziehung Böhmens zum Reich in der Zeit der Salier und Frühen Staufer im Spiegel der zeitgenössischen böhmischen Geschichtsschreibung // AfK. 74. 1992. S. 23-48; Mikušek E. Idejvé pojetí. S. 5-59; Žemlička J. Čehy v době knížecí. S. 115*)

<sup>98</sup> Со штауфеновской эпохой связывает полноценное использование норм ленного права З. Фиала, подчеркивая, что в основе этого лежит скорее совокупность конкретно-политических причин, чем опора на предшествующую практику правоприменения. *Fiala Z. Vzťah.; idem. Die Urkunde Friedrichs I. für den böhmischen Fürsten Vladislav II. vom 18.I.1158 und das Privilegium minus für Österreich // MIOG. 78. 1970. S. 167-192.*

<sup>99</sup> Полемизируя с традиционным негативным отношением чешской историографии к подобной перспективе эволюции чешской государственности в контексте истории политических структур средневековой Германской империи, Ф. Принц утверждает, что вассально-ленное подчинение не несло в себе ничего дурного с точки зрения политической самобытности Чехии. Исполнение ленных обязанностей не было средством правового и политического принуждения чешских правителей со стороны Империи, а, напротив, инструментом, позволявшим Пржемысловцам решать важнейшие проблемы консолидации и упрочения своей власти в соревновании с иными, противостоящими им силами внутри Чехии. Ф. Принц по сути повторяет тезисы историко-правовой школы, которые очевидны не только в работе Б. Бретгольца, на которого он ссылается, но и в сочинениях других историков, в частности, В. Новотного.

<sup>100</sup> *Palacky F. Dějiny národu českého; Tomek W.W. O právním poměru Čech*

<sup>101</sup> Представители чешской историко-правовой школы («школы Голла»), прежде всего В. Новотный, считали подобное различие обязательств к Империи от вассально-ленной зависимости от Германии неуместным и противоречащим конвенциям критической историографии. Известная степень жонглирования терминами Германская империя, Универсальная христианская империя и «германское ядро» средневековой Империи характерна и для современной историографии, однако, в целом, очевидно признание в качестве контрагента чешских правителей средневекового германского государства, имеющего вполне ясные институциональные, политические и этнические характеристики. См., например, описание чешско-германских отношений XI-XII в терминах историко-правовой традиции у Й. Жемлички: *Žemlička J. Čechy v době knížecí*. S. 115-116.

<sup>102</sup> Золотая булла Карла IV (1356 г.), по существу закреплявшая статус Чешского королевства как политического образования, наделенного всей полнотой политико-правового суверенитета, рассматривалась в чешской историко-правовой традиции как некий конечный «конституционный акт», исходя из которого можно объяснить и всю предыдущую логику чешско-германских отношений (Калоусек, Я. Голл, Фиала, 26-27)

<sup>103</sup> Fiala Z. Этот тезис развивается и в ряде работ, имеющих исключительную идеологическую и риторическую ценность. См., например, Vanecka V.

<sup>104</sup> См. указанные выше работы. Более подробный перечень его работ, посвященных разным историко-правовым аспектам чешско-германских отношений см.: *Žemlička J. Čechy v době knížecí*. S. 557-558.

<sup>105</sup> Его критика кажется чрезмерной, поскольку он отрицает преемственность не только правовой практики, но и идеи правопреимства, за исключением отдельных элементов исторической памяти, как аргумента тех или иных правовых притязаний.

<sup>106</sup> Fiala Z. Vztah. S. 54 ff.

<sup>107</sup> Чешский трибут характеризуется в качестве весьма специфической, нерегулярной и ситуативной формы признания Пржемысловцами своего подчинения от германских королей, которая периодически возникала на протяжении вполне конкретного периода времени (до сер. XI в.) и не переплеталась с вассалитетом не генетически (как предшествующая форма взаимоотношений), ни как адаптированный вассально-ленным правом элемент обязательств по отношению к сеньору. Hoffmann H. Böhmen und das Deutsche Reich; Prinz Fr. Die Stellung Böhmens; *Žemlička J. Čechy v době knížecí*.

<sup>108</sup> Fiala Z. Vztah. S. 60ff. Основные тезисы этой статьи в несколько менее радикальной форме были воспроизведены в его более поздней монографии: *Fiala Z. Přemyslovské Čechy*. S. 144 ff.

<sup>109</sup> Fiala Z. Vztah. S. 74ff.

<sup>110</sup> Fiala Z. Vztah. S. 77ff.

<sup>111</sup> Интерпретация практики вмешательства императора в споры чешских претендентов на престол, носившая регулярный характер на протяжении XII в., особенно в период правления Фридриха Барбароссы, достаточно тяжело поддается строгой интерпретации в категориях ленного права. Ни

нарративные источники, ни анализ поведенческих моделей не позволяет установить какой-либо устойчивой и последовательной системы обоснования императорских предпочтений при утверждении или смещении тех или иных кандидатов. Кроме того, многое определялось реальным соотношением сил в чешском лагере. Это хорошо видно и в конкретно-исторических и в историко-правовых исследованиях

<sup>112</sup> *Fiala Z. Vztah; idem. Dia Urkunde.* Во многом близкую интерпретацию действий Фридриха I, стремившегося использовать институты ленного права для усиления контроля и зависимости Чехии, дает и Й. Жемличка: *Žemlička J. Čechy v době knížecí; idem. Počátky Cech královských.* В целом подобная оценка характерна для чешской историографии.

<sup>113</sup> См. критику традиционных представлений о намерениях Фридриха Барбароссы «расчленить» Чехию, создав наряду с Чешским княжеством два связанных непосредственно с императором территориально-политических образования: *Wihoda M. Zlatá bula sicilská.* Если смысл и реальное содержание этих действий подвергаются моравским историком пересмотру, то королевская коронация Владислава (1158) однозначно оценивается им в согласии с традиционным пониманием этого акта как выражения подчинения чешского правителя императору.

## **ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФЕОДАЛИЗМА И «ВОСТОЧНЫЙ ФЕОДАЛИЗМ»**

Как известно, с 30-х гг. прошлого века советские востоковеды стали называть общественный строй средневековых обществ Востока «восточным феодализмом».

Когда дискуссии по этому и другим вопросам стали возможными (с 1950-х гг. и далее), возникла (или возродилась) иная точка зрения. Ее сторонники исходят из того, что феодализмом следует называть тот строй, который существовал в Западной Европе в Средние века, что все западноевропейское средневековое – это эталонно феодальное. Понятно, что при таком подходе все остальные общества Средневековья оказываются «не совсем феодальными» или совсем не феодальными. Как в этом случае характеризовать восточные общества, остается неясным. Термины «восточное общество» или «азиатский способ производства» остаются бессодержательными.

Сторонники иной точки зрения исходят из представления о едином историческом процессе, о наличии стадий в этом процессе, о принципиальном отличии капитализма от предшествующего ему строя и пытаются определить характерные черты этого докапиталистического строя. Им представляется, что развитые общества средневекового Востока (мусульманский мир, Индия, Китай) находились на предкапиталистической стадии, и с этой точки зрения заметны определенные сходства докапиталистических обществ Европы и доколониальных обществ Азии. Они сохраняют традиционное представление о том, что капитализму предшествует феодализм и, соответственно, пользуются терминологией: «западный феодализм» и «восточный феодализм».

Дискуссия между сторонниками этих двух точек зрения бесперспективна, поскольку спорщики говорят на разных языках.

Проблема заключена, конечно, не в слове «феодализм». Названия для этапов развития человечества весьма условны во всех схемах всемирной истории. Условен и термин «капитализм». Почему бы не называть его «системой товарно-денежных отношений» или «системой наемного труда»? Предшествующий ему строй называют также «традиционным обществом», или «обществом, основанным на статусе», или «крестьянским обществом»<sup>1</sup>. Я сейчас совсем не хочу входить в полемику, какой термин более удачен. Важно лишь то, что в истории существовал



строй, отличный от капитализма, отличающийся иной ментальностью людей.

Развитые страны Азии в Средние века не отставали от Западной Европы по уровню экономического развития (ВВП на душу населения). Другие показатели также вполне сопоставимы<sup>2</sup>. Заметно сходство некоторых институтов. Возникает необходимость определить само понятие феодализма, разработать модель докапиталистического этапа человеческой истории.

Представление о всеобщих этапах развития человечества, во всяком случае – среди отечественных обществоведов, идет от марксистского учения о формациях. Поэтому логично было бы попытаться установить, как представлял себе феодализм сам основатель теории формаций. Такая попытка была предпринята мной лет 25 тому назад<sup>3</sup>. Сейчас подобный метод решения теоретических вопросов может показаться одиозным и даже бессмысленным. Но мне кажется, что К. Маркс находился на уровне науки своего времени и в его взглядах отразилось именно то понимание феодализма, которое сложилось в начале Нового времени. Кроме того, в соответствии со своей методологией он должен был уделить внимание именно **отличиям** феодализма от капитализма.

Рискну познакомить аудиторию с результатами того анализа. Я собрал в свое время все цитаты Маркса, относящиеся к «феодализму», «крепостничеству» и европейским Средним векам. Составил текст практически из одних цитат Маркса. Действовал по известному афоризму советского времени: «Мысль автора – это кратчайшее расстояние между двумя цитатами основоположников». И представил это произведение на суд общественности. Перипетии этой истории сейчас уже не интересны.

Остановлюсь лишь на одном эпизоде. Меня попросили дать статью в сборник, который составлялся сектором экономической истории Института всеобщей истории, предложив, правда, ее сократить. Я, скрепя сердце, сократил текст до двух листов. Пришлось выкинуть многие цитаты, весьма красноречивые. Состоялось обсуждение под председательством М.А. Барга, статья подверглась критике, но была официально принята. Характерно направление критики: критиковалась «модель Алаева», а не модель Маркса, хотя, как я сказал, **моего** в этой статье почти ничего не было. Основные аргументы критиков сводились к тому, что модель не соответствует реалиям Западной Европы. На самом деле она не соответствовала устоявшимся взглядам на феодализм,

которые, как вытекало из статьи, не соответствовали взглядам Маркса.

Ада Анатольевна Сванидзе, которая ко мне хорошо относилась, после заседания подошла ко мне и сказала: «Леня, не печатайте эту статью. Вас же уничтожат!» Я ответил: «Каким способом? Раскритикуют в печати? Так я только этого и хочу»<sup>4</sup>.

Я снова перепечатал статью и сдал ее в установленный срок. Через несколько месяцев получил по почте анонимный отзыв из Института всеобщей истории, где говорилось, что статья не представляет интереса, поскольку все то, что в ней правильно, давно известно, а все, что новое, – неправильно.

Это крайне интересно с точки зрения изучения советского исторического сообщества: медиевисты, считавшие себя марксистами и бывшие таковыми, столкнувшись с Марксом лицом к лицу, его не узнали!

Я еще раз сократил статью (понятно, что она еще потеряла в убедительности) и опубликовал ее в журнале «Народы Азии и Африки». По ней была объявлена дискуссия, которая продолжалась полтора года. Но дискуссия в среде востоковедов не привела к выяснению того вопроса, ради которого она была написана: что же такое феодализм, что следует понимать под этим термином.

Я нашел у Маркса следующие черты того общества, которое он называл «феодализмом» (порядок перечисления, конечно, мой):

- Натуральность производства и всех иных социальных отношений.

- Господство конкретного труда, привязанность человека к определенному виду труда, постоянство труда и его вознаграждения.

- Потребление, поддержание существования как цель производства.

- «Всеобщая связанность», взаимозависимость, устанавливаемая системой взаимных дарений и служб. (В этом пункте я позволил себе дополнить Маркса, используя намек в параграфе «Товарный фетишизм и его тайна» в «Капитале». Маркс не мог знать, конечно, о теории обмена дарами М. Мосса, но понимал, что при феодализме экономика держится не на товарообороте, а на «круговороте... натуральных служб и натуральных повинностей»<sup>5</sup>. Я предположил, что на институте дара базируется и весь социальный строй.)

- «Общность» в смысле непрерывной ткани общества; наличие практически бесконечного количества статусов, в совокупности образующих лестницу от бесправных низов до всемогущих верхов.

– «Общность» также в смысле нерасчлененности управленческих, военных и эксплуататорских функций.

– Господство отношений земельной собственности, т.е. рентных отношений, характеризующихся господством-подчинением, патриархальностью, личностным оформлением, стабильностью, «взаимностью» прав. Это очень важное наблюдение: при «идеальном» феодализме стабильность, **сохранение традиции важнее** возможной наживы от эксплуатации.

Среди этих признаков не упоминаются некоторые хорошо известные Марксу реалии, имевшие место в средневековой Европе и считавшиеся признаками феодального строя:

- частносеньориальная эксплуатация,
- иерархическая структура землевладения,
- господство военного сословия,
- цеховая организация ремесла,
- город-коммуна.

Таким образом, в формулировках Маркса отражено то в средневековой Европе, что принципиально противостояло появившемуся там позже капитализму, и довольно тщательно убрано все то, что капитализму не противостояло, а некоторые из перечисленных институтов были им в дальнейшем в той или иной степени использованы.

Обращаю внимание также на то, что Маркс не уделяет в своих формулировках «должного» внимания классовой борьбе и эксплуатации. Его интересовали в данном случае не азбучные для него вопросы, а **специфика** средневекового общества. Модель феодального общества, представленная в моей статье, критиковалась главным образом за то, что я «идеализирую» феодализм, «оправдываю» феодальную эксплуатацию.

Если это кому-то интересно, берусь доказать эти положения **полной** подборкой соответствующих цитат.

**Общественный строй на Востоке** в Средние века не имел в себе тех несистемных с точки зрения модели феодализма институтов и черт, которые привели к разложению феодальных отношений в Западной Европе.

Восточный вариант феодализма был ближе к идеальной **Марксовой** модели феодализма, чем западный. Основным элементом сходства являлось крестьянское хозяйство – база всех традиционных обществ.

Натуральность хозяйства была, конечно, более глубокой.

Кастово-организованное ремесло, делающее вид труда качеством индивида, конечно, типично феодальный институт.

Потребление, поддержание существования на уровне, соответствующем статусу, для Востока крайне характерно.

«Всеобщая связанность» выражалась на Востоке несколько в иных формах, чем на Западе, а именно – во всеобщей службе государству. Это достаточно хорошо известно, но следует подчеркнуть, что «служил государству» и даже «народу» сам государь. В мусульманских странах он получал «жалование» за охрану населения, в Китае в случае плохого управления – терял «Мандат Неба». Кроме того, вертикальные связи, на которые склонны обращать внимание востоковеды, обязательно дополнялись горизонтальными – племенными, этническими, конфессиональными, общинными, земляческими. И без этих связей деспотическое государство не могло существовать. Это относится и к Китаю, где бюрократический способ организации общества был наиболее развит.

Все другие черты феодальной модели можно также проиллюстрировать. Главное, что восточное общество отличалось высокой системностью. Несистемные элементы были слабы и успешно подавлялись.

Восточный вариант феодализма был неблагоприятен для его преодоления.

Особенности восточного феодализма:

- **расщепление собственности** на землю на два этажа: 1) верховную собственность, т.е. собственность на землю как территорию с подвластным населением, «власть-собственность», и 2) податную собственность, т.е. собственность на землю как объект хозяйства;

- **специфическое государство**, «восточная деспотия», или «опекунское государство» (на терминах не настаиваю), ситуация отчуждения государства и общества, отсутствия правовых гарантий личных и имущественных прав индивида; экономическая политика была направлена на регулирование цен в интересах потребителя, а не производителя;

- специфическая идеологическая система, перекладывание на государство всех усилий по улучшению жизни, как и ответственности за все бедствия;

- крайне неравномерное распределение материальных и духовных богатств. В Могольской, Османской и Сефевидской империях 0,1–0,3% населения присваивали 15–24% национального дохода; в Китае при династиях Мин и Цин – «только» 8–10%. В Англии при Елизавете I те же 0,3% населения присваивали 6–8%. Военные и культовые расходы составляли в странах Востока 17–25% национального продукта, в средневековой Европе – 5–10%.

Страны Востока в течение Средних веков втягивались в «тупик феодальности», подобно тому как другие народы попали в тупик первобытности и остановились в своем развитии. Могли ли наиболее развитые восточные общества сами преодолеть «тупик феодальности»? По этому поводу существуют различные предположения, но это другая тема.

Предложенный метод рассмотрения теоретического вопроса, несомненно, довольно архаичен. То, как понимал эту проблему К. Маркс, никого сейчас не может убедить. Все же любопытно в свете наших последних дискуссий уяснить, что уже в его время в умах некоторых исследователей понятия «западноевропейское Средневековье» и «феодализм» не совпадали.

---

<sup>1</sup> Кстати, последний термин использован американским индологом Б. Стайном применительно к средневековой Индии. См.: *Stein B. Peasant State and Society in Medieval South India*. Delhi, 1980.

<sup>2</sup> Мельянцева В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996.

<sup>3</sup> Алаев Л.Б. Формационные черты феодализма и Восток // Народы Азии и Африки. 1987. № 3. С. 78-90. Основные положения статьи были использованы в главе «Восток в мировой типологии феодализма. Восточный феодализм» (История Востока. М., 1995. Т. II. Восток в средние века. С. 600-626). Я позволил себе включить ту статью в сборник моих работ: Алаев Л.Б. Община в его жизни. История нескольких научных идей в документах и материалах. М., 2000. С. 523-539.

<sup>4</sup> Стоит напомнить, что шли уже не 30-е и не 40-е годы, а 70-е, я принадлежал уже к первому «непоротому» поколению и не понимал, что слово «уничтожить» может иметь прямой смысл.

<sup>5</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 87.

## ФЕОДАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ

До начала нашего заседания слышались прогнозы, что оно превратится в «похороны феодализма», однако общий настрой выступавших оказался совсем иным: если и ожидали «за упокой», то получилось определенно «во здравие», и особых сомнений в необходимости этого понятия я не услышал. Но не думаю, что в своем вступительном слове я был излишне пессимистичен, обрисовывая «историографический нигилизм» в отношении работы над понятием «феодализм» или в отношении поисков иных форм генерализации в описании средневекового общества. В том, что голоса «нигилистов» не получили сегодня должного представительства, нет ничего удивительного – зачем же тратить время на то, чему не придаешь никакого значения? Хотя выслушать другую сторону было бы полезно: надо обязательно просчитывать не только выгоды, но и издержки феодального ракурса рассмотрения средневекового общества.

Вернемся к текстам, представленным в качестве отправной точки для обсуждения. К сожалению, основные тезисы Сьюзан Рейнольдс не были сегодня проанализированы должным образом. Впрочем – этой сенсации идет уже второй десяток лет и большинство ее положений сейчас мало кому кажутся излишне дерзостными. Да, различного рода *Libri feodorum* (переведенные одним почтенным издательством как «Книга Феодора»)¹ не отражают реальность, но скорее конструируют ее в соответствии с некоей целью; да, в еще большей степени этой сконструированной картине было придано подобие упорядоченной системы в трудах юристов раннего Нового времени; да, историки XIX–XX вв. рады были не только воспринять эту фикцию, но и ретроспективно распространить ее вглубь и вширь – на более ранние века и на иные регионы, выпячивая одни черты и игнорируя другие. А то, что их концепции несли очевидную идеологическую нагрузку, – вещь и вовсе тривиальная для всех тех, кто читал учебники О.Л. Вайнштейна или Е.В. Гутновой по историографии. Неоспоримым достоинством этой книги Сьюзан Рейнольдс было привлечение внимания к вопросам источниковедения и особенностей правовой мысли, а также призыв к углубленному изучению истории понятий. При этом она ломает ряд застарелых стереотипов медиевистики. Но трудно не заметить, что критике подвергаются постулаты концепции «феодализма в узком смысле слова», памятной нам по анафемам,

провозглашаемым этой концепции на страницах всех советских учебников по истории Средних веков. Тем самым С. Рейнольдс, может быть, не осознавая этого, усиливает конкурирующую теорию «феодализма в широком смысле слова». Последняя же изначально рассматривала феодализм как универсальную категорию. И действительно, если публично-правовой аспект никогда не исчезал из системы организации власти, и если одним и тем же термином могли обозначаться очень непохожие друг на друга отношения между людьми, то западноевропейский вариант развития не представляется столь уж несхожим с другими регионами, в частности – с русскими землями. Об этом, где прямо, где косвенно, свидетельствуется в выступлениях наших специалистов по истории России<sup>2</sup>. Но тогда добываемый ими материал может иметь в глазах западных коллег не только экзотическую ценность. Так, например, «еретический» взгляд на средневековый город, предлагаемый Жаком Эерсом<sup>3</sup>, рисует картину, весьма схожую с той, что давно уже разрабатывается отечественными историками, изучающими Новгород и Псков с их городскими боярскими усадьбами.

В поисках новых, менее схематичных, характеристик средневекового общества надо учитывать достижения исторической антропологии – этот призыв А. Я. Гуревича встретил единодушную поддержку, равно как и указания на то, что средневековое общество не исчерпывалось его феодальной составляющей. Об этом писал Марк Блок: «Может быть, важнее всего сказать, что феодализм затронул те страны, в которых мы можем его наблюдать, в разной степени и существовал в них в разное время, ни одна из стран не была феодализирована полностью... Конечно, несовершенство воплощения – удел любого человеческого начинания. В европейской экономике начала XX века, безусловно, развивающейся под знаком капитализма, тем не менее, остаются институты, остающиеся вне этой схемы»<sup>4</sup>.

Точно также все согласилось с необходимостью более пристального внимания к «крестьянской цивилизации», «крестьянскому лику» Средневековья. Крестьяне чаще присутствовали в трудах медиевистов не как субъекты, а как объекты истории, образуя молчаливый фон для тех процессов, которые находились в центре внимания медиевистов. Как показывает материал северных и некоторых других регионов Европы, крестьяне не только «тоже чувствовать уметь», но обладали своей собственной системой мировосприятия, представлений о чести, о социальном порядке и правосудии, и порой отодвигали мир сеньоров за околицу своих повседневных забот. Об этом можно судить и по материалам саг, и по «крестьянину Гельмбрехту», видя в этих и других памятниках

не только отражение крестьянских ценностей, но и способ их утверждения. Однако трудно оспорить то, что в регионах, которые принято считать «классическими» для Западного Средневековья, голос крестьян доходит до историка настолько приглушенным, что неразличим без специальных исследовательских методик. И причины (но также – цели и результаты) того, почему о крестьянах Франции чаще всего говорилось в тоне, свойственном «Поэме о версонских вилланах» или рассуждениям о природе «Хамова проклятья», нуждаются в самостоятельном осмыслении.

Крестьянский мир присутствовал в Средневековой Европе не только как фон процессов феодализации, но и как своеобразный альтернативный вариант развития. Марк Блок, в уже цитированной главе «Феодалного общества» говорил об этом: «На карте западной цивилизации в эпоху феодализма мы видим несколько белых пятен: скандинавский полуостров, Фризия, Ирландия»<sup>5</sup> – сегодня и у нас шла речь об этих зонах крестьянской свободы, к которым, как отмечалось, можно отнести и Византию. Такое же «белое пятно» представляли собой и многочисленные горные общества<sup>6</sup>, обладающие между собой зримым сходством, порожденным, по-видимому, сходством экосистемы. Пожалуй, наиболее интересным с точки зрения социальной истории является формирование в этих областях местной крестьянской элиты, не стремящейся к аноблированию. Кстати, упоминавшаяся сегодня деревня Монтаяю (расположенная столь высоко, что ее жители не знали употребления колеса), демонстрирует не «отсутствие феодализма», а в первую очередь – характерные черты именно такого сообщества европейских горцев. В этих районах крепость большой семьи, архаизм отношений между людьми сочетались с удивительным социальным динамизмом: тысячи младших сыновей выплескивались из этих мест – то как профессиональные воины, то как корабельники и купцы, то как мастера отгонного скотоводства, по следам чьих отар распространялись и еретические учения.

Закономерности функционирования крестьянского хозяйства возвращаются сегодня в поле зрения западных ученых. По их признанию, большую роль в этом сыграло знакомство с работами А.В. Чаянова. Почему-то отечественные медиевисты не оценили его вновь открытого наследия, которое в свое время повлияло на известного медиевиста М. Поста́на, ознакомившегося с трудами Чаянова еще в довоенные времена.

Но как же все-таки быть с главным нашим сюжетом – понятием феодализма?

На мой взгляд, удачной была попытка Л.В. Пименовой проследить момент зарождения этого понятия во Франции XVIII в.



Феодализм далеко не в первый раз оказывается перед судом – уже с самых первых лет своего существования этот термин носил оценочный, пейоративный характер. Правда и то, что тогда же его считали как сугубо местным, западноевропейским явлением (Монтескье), так и явлением универсальным, присущим множеству народов (Вольтер). Но главное заключалось в том, что он призван был зафиксировать отличие старого общества от нового: общества, отвергаемого Европой, от общества формирующегося. Это происходило в тот впервые наступивший исторический момент, когда, по словам Р. Козелека, горизонт опыта перестал совпадать с горизонтом ожиданий. И от этого «родимого пятна» термину «феодализм» так и не удалось избавиться, несмотря на многочисленные зигзаги на его историографическом пути и новые смыслы, привносимые в него каждой новой историографической эпохой.

Вероятно, заранее предлагаемые к обсуждению тексты стоило бы дополнить статьей Алена Герро, опубликованной еще в 1990 г.<sup>7</sup> В ту пору, несмотря на пристальное внимание отечественных медиевистов ко всему, что публикуется в «Анналах», на эту статью не обратили внимания. Возможно, потому, что в ней Герро слишком уж оптимистически оценивал достижения медиевистики социалистических стран, что, если учесть год публикации, могло производить шокирующее впечатление. Но вот то, что никакого отклика не нашла у нас его последняя монография<sup>8</sup> – это действительно странно и обидно. В Европе ее много хвалили и еще больше ругали (слишком авторитарным казался ее тон, слишком эдко он критиковал современное положение дел, слишком рьяно защищал необходимость абстрагирования от сугубо эмпирических исследований), но она никого не оставила равнодушным.

Надеясь, что статья Алена Герро будет в скором времени опубликована по-русски<sup>9</sup>, я не стану ее пересказывать. Главный же посыл и статьи, и книги заключается в том, что европейское общество ко второй половине XVIII в. пережило разрыв, в результате которого было утрачено понимание двух ключевых слов Средневековья, ставшего отныне чуждой эпохой. Такими ключевыми понятиями, с точки зрения А. Герро (не претендующего на роль новатора и опирающегося на богатую историографическую традицию), были *dominium* и *ecclesia*. Если наш разговор о термине «феодализм» вызван потребностью найти некие обобщающие характеристики Средневековья, то предложения Герро заслуживают внимания. Остановлюсь подробнее на его книге.

Словом *dominium* он обозначает такую связь господства и подчинения между людьми, при которой господствующие осуществляли одновременно как власть над людьми, так и власть над зем-

лей. Важно, что эти две стороны господства были неразрывно связаны друг с другом на локальном уровне, а не только на уровне страны. При этом автор делает все необходимые оговорки: о многообразии форм этой власти (от крайних форм серважа до полной личной свободы крестьян); о том, что сущностное единство господства над людьми и господства над землей не означало, что оно осуществлялось одним человеком над одними и теми же людьми и землями (разнообразие статусов было одной из форм гарантии функционирования всей системы); о том, что бывали случаи «свободного» распоряжения<sup>10</sup> землей теми, кто к господствующим группам не относился; о том, что связь людей с землей, бывшая ключом к функционированию системы организации общества, реализовывалась лишь как тенденция, и формы ее реализации были самыми разными.

Но как бы то ни было, власть и извлечение прибавочного продукта были взаимосвязаны. И только изменения, произошедшие к XVIII веку в передовых регионах Западной Европы, начали превращать аристократов в собственников, изымающих прибавочный продукт при помощи рыночных механизмов экономического приращения.

Вторым ключевым понятием Средневековья была *ecclesia*. То, что Церковь распространяла свой контроль на все стороны жизни общества и выступала гарантом всех социальных норм, является азбучной истиной. Эта истина именно в силу тривиальности выносятся за скобки медиевистами, которые, следуя логике научной специализации, разносят изучаемые предметы по все большему числу разных рубрик: религиозная история, история философии, история искусства, экономическая история, социальная история, а затем и еще более подробно: история канонического права, догматика, литургика, эклессиология и т. д. Специализация приносит свои плоды, но затмевает главное – то, что Церковь была стержнем хребта европейского Средневековья. И не только потому, что она выступала хранительницей знания, нормативных принципов и значительной части материальных богатств, но еще и потому, что она освобождала средневекового человека от необходимости задаваться вопросом о природе своей принадлежности к обществу. Он обладал определенной свободой выбора, мог изменить свой статус, но любая его социальная роль была прежде всего ролью в Церкви<sup>11</sup>. Эта система дала глубокую трещину в эпоху Реформации, но лишь к XVIII веку в среде просвещенной европейской элиты утверждаются представления о свободе совести и о свободе выбора религиозных убеждений, являющихся внутренним делом верующего.

В результате подобных изменений в эпоху Просвещения появляются новые понятия, точнее – принципиально новые смыслы старых слов: «собственность» и «религия». Как следствие – выделяются принципиально новые сферы человеческой жизни, ранее немыслимые по отдельности: политика, религия, экономика.<sup>12</sup>

Этот переворот имел громадные последствия, чреватые прогрессом и революциями. И одновременно европейцы перестали понимать средневековое общество, забыв смысл его ключевых слов. Однако отчета в этом они себе не отдавали, смело описывая Средневековье при помощи своих новых понятий. А когда к средневековому обществу применяют термины «политика», «религия», «экономика», «прогресс», «свобода совести», «права человека», «наука» и другие, вплоть до «государства», то оно неизменно представляется застойным, обскурантистским, деспотичным, лишенным внутренней согласованности и неизбежно – «недоразвитым», «примитивным».

Ален Герро завершает свою книгу двенадцатью тезисами, представляющими не то чтобы исследовательскую программу, но скорее меморандум о необходимости перестройки медиевистики в новом столетии. Одно из важнейших требований заключается в необходимости осознать, что Средневековье обладало особой системой присвоения смыслов, и это делает невозможным «прямое прочтение» средневековых источников с позиций обыденного здравого смысла современного человека. Значит, необходима масштабная работа над исторической семантикой.

Герро ратует за системный подход к истории Средневековья и за то, чтобы историки всерьез задумались о механизме динамики феодального общества. Средневековая Западная Европа демонстрировала явную способность к достаточно быстрому развитию, но в силу обстоятельств, сопровождавших рождение термина «феодализм», динамика этого общества редко становилась объектом осмысления. Главное же, к чему призывает Герро, – покончить с самоубийственным процессом дробления исследовательского поля медиевистики, с выделением все новых специализаций, со своего рода «научным аутизмом», т. е. неспособностью обеспечить научную коммуникацию и страхом перед любого рода обобщениями.

Положение отечественных медиевистов сильно отличается от положения медиевистов французских. И все же очевидно, что многие упреки Герро справедливы и для нас, о чем говорилось и в сегодняшних выступлениях. Конечно, наша ситуация имеет несколько более возвышенные объяснения, чем французская, но симптомы весьма схожие. Лозунг: «Пусть расцветают сто цветов!» привел к пышному разнотравью медиевальных семинаров, ежегодников и

научных направлений. Кандидатские диссертации становятся все толще, темы все изощреннее, а уровень порой не только не уступает европейскому, но и превосходит его. Но на вопрос: «А что же это дает нам для понимания средневекового общества?» ответить становится все сложнее. «Новые подходы», «новые парадигмы» и «неожиданные ракурсы» – абсолютно необходимы, но недостаточны сами по себе.

Еще недавно можно было сказать, что, например, пресловутые прекарные отношения можно рассматривать по-разному. То, что традент дарит свою землю монастырю, а в ответ получает ее в пользование, можно трактовать как процесс феодализации: разорение аллодистов и форму концентрации недвижимости в руках сеньоров (в данном случае – церковных), старательно подсчитывая площади передаваемой земли в бонуариях или моргенах. А можно видеть в этом же процессе стремление средневекового человека обеспечить себе защиту со стороны небесного патрона, чьи мощи хранились в данном монастыре и изучать особенности восприятия святости или психологические последствия фобий. И между этими двумя подходами существует своеобразный «пакт о ненападении», незримая внутридисциплинарная межа – в одном секторе, в одном университете или в одном семинаре занимаются первой стороной этого процесса, а в другом секторе (семинаре, университете) – второй, причем конвенции, истины и авторитеты одних не признаются таковыми у других и наоборот. Такое положение (конечно, обрисованное не без риторического преувеличения) дает свои положительные результаты, как и вообще всякая специализация, к тому же позволяет избежать лобовых столкновений коллег. Но, как представляется, гораздо более плодотворными выглядят попытки соединения этих подходов.

В качестве примера можно сослаться на достаточно известные у нас работы Барбары Розенвайн (одна из которых носит говорящее название – «Быть соседом святого Петра») <sup>13</sup> или Доминика Иона-Пра <sup>14</sup>, основанные на изучении клюнийских грамот и комбинирующие социально-экономические, аксиологические и иные ракурсы исследования. Я же позволю себе остановиться на исследованиях, относящихся к более раннему периоду, результаты которых были недавно изложены в докладе Режи́н Ле Жан, выступавшей в прошлом году на уже упоминавшемся семинаре в МГУ.

Ключевым понятием для определения статуса свободного человека в раннесредневековом обществе был *patrimonium* – родовое владения (в первую очередь земли <sup>15</sup>). Им обладали все свободные: собственно, обладание им определяло статус и достоинство индивида, а вернее – семейной группы сонаследников, в которую этот

индивид входил.. Простые люди владели достаточно компактным патримонием, но чем знатнее был род, тем обширнее была территория, на которой он был разбросан, – вплоть до сформировавшейся на рубеже VIII-IX вв. имперской знати, владевший землями, рассредоточенными по всей державе Каролингов. Сохранить родовые земли – значило не только обеспечить источник материального существования, но и сохранить идентичность рода, а следовательно – его память, престиж, могущество. Сделать это было трудно в силу войн, междоусобиц, слабости материальной базы, но главное – в силу действия неумолимых демографических процессов. Исследователи, комбинируя нарративный и актовый материал с археологическими данными, воссоздают три повторяющиеся фазы существования патримония. (Понятно, что источники позволяют это сделать лишь для благородных семей, но, может быть, именно потому эти семьи и слыли благородными, что им удалось удачно решить проблему сохранения патримония?) Первая фаза: родовые земли находятся в совместном владении сонаследников; вторая – выделяются земли женатым сыновьям и приданое дочерям; третья – члены рода пытаются восстановить единство патримония. На этой фазе семья была готова на все: бывшие родовые земли выкупаются за любые деньги, ведутся судебные тяжбы (способствующие укреплению права родового выкупа), выстраиваются сложные матримониальные комбинации, а когда надо – родичи и их «верные» берутся и за оружие. Но все чаще последствия разделов патримония исправлялись дарениями бывших родовых, а ныне поделенных земель монастырю или церкви в обмен на сохранение права пользования (например, в форме узуфрукта). Речь шла вовсе не о замене светского землевладения церковным и не о процессах классообразования – ведь дарения свершались в пользу тех монастырей или церквей, которые семья считала «своими». Выходцы из этой семьи были монахами или даже аббатами данного монастыря, священниками данной церкви, в крайнем случае – ими становились угодные семье люди. Церкви и монастыри служили гарантом сохранения памяти рода – здесь были захоронены их предки, здесь возносились молитвы во спасение их душ и за процветание их потомков. Семьи не скупились на драгоценную церковную утварь и иные вклады. Таким образом, патримоний восстанавливался под защитой могущественного небесного покровителя, при этом для членов данного рода или зависимых от него людей сохранялась возможность пользования землей. Процесс этот отнюдь не был прямолинейным – кого-то не устраивала такая перспектива, кто-то отказывался от родства, одни семейства стремились поглотить другие и т.д. Сложные отношения складывались и между аббатст-

вами – в игру включались и церковные иерархи, и королевская власть. Чаще всего установление соподчиненности между семьями сопровождалось аналогичным процессом, связывающим различные церковные институты. Одни монастыри могли быть «подарены» другим, более могучим и более прославленным, но при этом они на определенных условиях вновь возвращались тем семьям, которые изначально их опекали. Складывающуюся систему соподчинения венчали «королевские» монастыри: так аристократические кланы, не утрачивая окончательно свои социальные позиции, оказывались под дополнительным контролем королей.

Оставим в стороне вопрос о степени обоснованности подобного объяснения важных социальных процессов, относящихся к существенным чертам средневекового общества (к тому же изложенного мной в непростительно упрощенном виде) и отметим любопытный способ соединения «горного и дольного» в одной интерпретационной модели, без того, чтобы что-то считалось «базисом», а что-то «надстройкой». Во всяком случае, такая модель, как представляется, не состоит в кричащем противоречии с умонастроением людей раннего Средневековья.

Нечто подобное происходит и в более известной мне историографии французской Реформации и Религиозных войн. Долгое время историки были озабочены плодотворными поисками социальных, социально-экономических и политических обоснований этих явлений. Затем, в 1990-ые годы, в противовес таким поискам возобладали тенденция, концентрирующая внимание на индивидуальном религиозном опыте – *le vécu religieux*. Реформация и Контрреформация объяснялись психологическими процессами, фантазмами и страхами, императивами, порожденными логикой развития культуры и т. д. Но сейчас все громче раздаются голоса, что внешне логичный призыв «объяснять религиозное религиозным» является таким же анахронизмом, как объяснять религиозное социальным или политическим. В сознании человека XVI в. отделить религиозное от социального было еще невозможно<sup>16</sup>.

Подобных примеров можно приводить множество. Так, трудно разобраться в механизме социального функционирования средневекового города без осознания роли святых патронов городского сообщества в целом или особенностей спиритуальности средневековых горожан<sup>17</sup>. Так, сельская община, начиная с эпохи Высокого Средневековья, немыслима без своего прихода, а следовательно – без церковной десятины. Приход заключал договор со священником (русская «руга рядная»), контролировал использование десятины. Десятина мыслилась изначально (и до самого конца Средневековья) как «патримоний бедных», а уплата ее – как деяние, необ-

ходимое для спасения души. Та ее часть, которая оставалась в распоряжении приходской общины, могла служить «страховым фондом» на случай недорода или иных бедствий, но также призвана была удерживать на месте «своих» бедных, столь необходимых в качестве дополнительной наемной рабочей силы в крепком крестьянском хозяйстве в страдную пору. Разумеется, подход к сельскому приходу или к церковной десятине только с функционально-экономической точки зрения столь же ущербен, как и подход к ней только с точки зрения «историко-религиозной».

Вернемся теперь к трем возможным направлениям работы над понятием «феодализм», которые были названы в начале нашей дискуссии:

1. Выступления участников показали, что мало кто из нас пока готов отказаться от поиска обобщающих характеристик и генерализирующих понятий; большинство по старинке продолжает мыслить крупными историческими эпохами и цивилизациями. И похоже даже, что эта склонность имеет тенденцию возрождаться в новых формах. Но в этом случае, как учат нас современные работы по эпистемологии исторического знания, – необходима когнитивная точка, «держущая» понятие «Средневековье» или его ментальный образ.

2. Название такой точки можно придумать иное – не обязательно «феодализм». Можно придумать иной маркер – «общество Х» либо еще какое-нибудь новое слово. Примером может служить знаменитый и весьма плодотворный термин «encellulement»<sup>18</sup>, придуманный Робером Фоссье для обозначения существенного изменения средневекового общества около Тысячного года. Этот термин, равно чуждый средневековым людям и нам, позволяет избежать нежелательных коннотаций, вроде тех, которые вызывает термин «феодальная революция». Можно поступить не столь радикально, взяв более знакомый термин: «сеньориальное общество». Но эти слова пока не приживаются, а «феодализм» остается прочно укорененным в общественном сознании и, наверное, долгое время таким останется, даже если мы все, сидящие в этом зале, объявим ему бойкот.

3. Поэтому работы с понятием «феодализм» не избежать. Но его нельзя достать из сундука как старый салоп и бездумно накинуть на изучаемое общество. Нужен тщательный анализ истории понятия, нужна работа по его приспособлению к современному уровню науки с использованием всех достижений современной медиевистики. А достижений этих немало.

– От деклараций о полезности *Begriffsgeschichte* перешли к изучению истории понятий, и не только понятий, но и риторических систем, их порождающих, а также их визуальных образов и метафор. Изучается образ феодального Средневековья и те смысловые оттенки, которые он обретал в разные эпохи, а также обстоятельства его рождения, и, что очень важно, – строительный материал, из которого это понятие было сложено.

– В изучении того, как выстраивались базовые понятия, особенно важны работы по истории права. В последние годы наметился настоящий ренессанс в изучении средневековой юриспруденции. И теперь уже мало кого шокируют слова о том, что феодализм «изобрели» те или иные глоссаторы, постглоссаторы или февдисты. Мы уже поняли, что продукция, выходящая из под пера интеллектуалов, не только (а может, и не столько) отражала окружающий мир, но и конструировала его. Тем более широкие перспективы открываются перед теми, кто изучает формы творчества, особенности мышления и социальные условия деятельности интеллектуалов Средневековья. Не абстрактные «Церковь», «Папство», «Государство» или «Город» формулировали нормы права, изобретали новые системы налогообложения или кредита, рисовали образы власти или описывали формы общественной иерархии, а вполне конкретные, пусть даже оставшиеся для нас анонимными, интеллектуалы, образующие специфическую социальную среду.

– Для всех стала очевидной важность работы над дешифровкой культурных кодов Средневековья, и слова о том, что Владимир Мономах, призывая не зарывать деньги в землю, боролся против тезаврации экономики, вызывают лишь улыбку соболезнования. Восстановление образной системы средневековой культуры, того, как средневековый человек конструировал образ «другого», а, следовательно, и идеализированный образ себя, того, как функционировала система средневековой эмблематики, того, как при помощи зрительных образов власть являла себя подданным – все это осознается теперь необходимым. И все это служит не только исправлению историографических нелепиц, но – в перспективе – восприятию средневекового общества как целостности.

– Все чаще задумываются над тем, что институты, почитаемые привычными для средневекового человека, не существовали постоянно: постоянным декорациям, а возникали, распространялись и трансформировались, обеспечивая средневековому обществу ту самую удивительную динамику, о которой говорит Герро. Кто и когда изобрел церковную десятину, почитание мощей святых, систему военных бенефициев, городскую коммуну, аркбутаны готического собора или университетскую корпорацию? Каким образом



подобные нововведения укоренялись, распространялись и трансформировались? На эти вопросы если и не начали искать ответа всерьез, то, по крайней мере, осознали такую необходимость.

– Вклад «прагматического поворота» в нашу науку позволяет сконцентрировать внимание на том, каким образом средневековый человек каждый раз оказывался не столько пассивным «винтиком» в процессе воспроизводства социальных отношений, сколько активным его соучастником. Существующая система связей между людьми постоянно воссоздавалась заново, причем люди могли с большей или меньшей степенью осознанности «играть своей идентичностью», с большим или меньшим успехом добиваясь от окружающих признания своих прав на ту или иную социальную роль. С этой точки зрения нации, этносы, социальные группы и даже сословия существовали лишь в той мере, в которой находились люди, соглашавшиеся, под воздействием объективных и субъективных обстоятельств, играть по заданным правилам.

– Переиначивая известное высказывание Жоржа Дюби о том, что феодализм – это средневековое умонастроение, мы сейчас вполне можем сказать, что феодализм – это историческая память (или, может быть – «мемория»). Роль памяти в функционировании общества в особенной мере очевидна для Средневековья. Даже если вернуться к поэтике «способа производства» и «производственных отношений», трудно не признать определяющую роль обычая, бывшего душой и жизнью феодального держания, а сила обычая лежала в его незапамятности. Поэтому растущий интерес медиевистов к изучению феномена памяти вполне объясним.

– Когда Бродель, в конце 1950-х г., участвовал в заседаниях национальной аттестационной комиссии, он часто произносил фразу: «Ваша диссертация недостаточно пахнет навозом, месье!», и не было для соискателя упрека страшнее. Не то, чтобы аромат представляемых к защите диссертаций удовлетворил бы сегодня Броделя, однако его упрек сейчас не показался бы уже таким анахронизмом, как лет десять назад. И если возрождение аграрной истории еще только намечается, то различного рода таблицы, графики и подсчеты вновь возвращаются на страницы монографий. Изучение одних только ментальных процессов без их материальной составляющей и без определения их внешних рамок – «порога возможностей» Средневековья – выглядит уже не столь привлекательным, как раньше.

– Возобновился интерес к компаративным исследованиям, которые служат необходимой формой продолжения диалога медиевистов, изучающих разные регионы. Вот и сегодня, мы убедились в плодотворности такого диалога – чего стоит одно только пред-

ложение Л.Б. Алаева видеть в Западной Европе своеобразное слабое звено в системе феодализма!

Можно предвидеть вопрос: а где же, в какой стране действуют все эти столь проницательные медиевисты, способные обеспечить поистине стереоскопический взгляд на Средневековье? На него легко ответить: это медиевисты и историки раннего Нового времени, живущие в России. Львиная их доля сосредоточена в Москве, а из москвичей большая часть работает в ИВИ РАН. Все те тезисы, которые были сейчас перечислены, взяты мной из того, что за самые последние годы высказывалось на многочисленных медиевальных семинарах, публиковалось в ежегодниках, сборниках, монографиях или диссертациях. И я еще далеко не все обозначил<sup>19</sup>...

Многие из сегодняшних докладчиков говорили о необходимости системного подхода к изучению Средневековья, к чему призывает и Ален Герро. Я также готов присоединиться к этому требованию. Но надо отдавать себе отчет в том, что репутация самих понятий «система» и «структура» оказалась скомпрометирована в глазах многих представителей сообщества гуманитариев. Они считают эти понятия порождением функционализма, и по природе своей редуccionистскими, вспоминая иногда слова Ницше о том, что система – прибежище для людей робкого ума.

Поэтому выражусь осторожнее. Оставим открытым вопрос о том, образовывало ли средневековое общество единую когерентную систему, и о том, распространялась ли эта система на все стороны жизни людей средневековой Европы или даже на жителей других регионов Старого света. Можно сказать еще обтекаемее: открытым остается вопрос о том, насколько нам выгодно и насколько уместно рассматривать Западную Европу и иные регионы в ракурсе феодализма как системы?

Но вне зависимости от ответа на эти вопросы, представляется абсолютно необходимым, чтобы мы сами образовывали систему. И опять я выбираю очень осторожную формулировку, не призывая ни к созданию единой структуры или проблемной группы, ни к методологическому синтезу (последний термин изрядно затаскан многочисленными конференциями, а что он означает, так и осталось для меня загадкой). Речь идет всего-навсего о том, чтобы наладить или восстановить нормальную научную коммуникацию между всеми без исключения представителями нашего профессионального сообщества.

Раз уж нам нужно заняться формулированием таких истин, которые могли бы стать общепринятыми (а именно этих истин в отношении Средневековья от нас требует социальный заказ), то надо помнить, что у нас нет иного критерия их верификации, кроме ап-

робирования их научным сообществом – национальным и интернациональным. Медиевист, как и любой другой исследователь, может приходить к ценным выводам, и может даже делиться ими с кругом своих единомышленников, но этого недостаточно, чтобы придать полученным выводам научное значение. Процедура неумолима: эти выводы надо еще публично высказать в форме, доступной пониманию других медиевистов, не являющихся ни узкими специалистами в данной области, ни адептами именно этой методологии. А затем надлежит ответить на высказанные замечания. Но уже после этого коллеги не имеют морального права эти выводы игнорировать.

Солдаты Понтия Пилата не решились при дележе добычи разрезать на куски доставшийся им бесшовный хитон. Нам тоже не стоит окончательно раздирать на фрагменты цельное средневековое общество. Для этого всего-то и нужно, чтобы читать работы друг друга и высказывать по их поводу мнения (пусть даже и нелицеприятные). В силу ряда причин задача эта вовсе не так проста, как может показаться со стороны, но ее решение все же необходимо. И тогда работа над понятием «феодализм» или над каким-нибудь иным понятием, призванным обозначить сущностные черты Средневековья, будет продолжена в XXI веке.

<sup>1</sup> Блок М. Феодальное общество. М., 2003. С. 174.

<sup>2</sup> Даже когда П.С. Стефанович в своем сегодняшнем выступлении показывает контрпродуктивность изучения отношения князя и дружины на Руси с применением «феодального клише», речь идет именно о том узком понимании феодализма, против которого направлено острие критики С. Рейнольдс.

<sup>3</sup> Heers J. La ville au Moyen Age en Occident: Paysages, pouvoirs et conflits. P., 1990.

<sup>4</sup> Блок М. Указ. соч. С. 433-434.

<sup>5</sup> Там же. С. 433. В оригинале, конечно, речь шла не о феодализме, а о феодальной эпохе.

<sup>6</sup> Лекция «Горные общества Западной Европы в Средние века в свете новейших исследований» была прочитана проф. Тулузского университета Бенуа Кюрсентом (Benoît Cursent) 17 мая 2005 г. в МГУ в рамках Международного семинара медиевистов.

<sup>7</sup> Guerreau A. Fief, féodalité, féodalisme. Enjeux sociaux et réflexion historique. Annales ESC. P., 1990. N 1. P. 137-166.

<sup>8</sup> Guerreau A. L'avenir d'un passé incertain. Quelle histoire du Moyen Age au XXI siècle? P., 2001. («Будущее неопределенного прошлого. Какой быть истории Средних веков в XXI в.?»).

<sup>9</sup> Статья опубликована в сборнике «Одиссей» за 2006 г. (Герро А. Фьеф, феодальность, феодализм. Социальный заказ и историческое мышление / Одиссей. Человек в истории. М., 2006)

<sup>10</sup> Характерно, что, отмечая неправомерность использования термина «собственность», автор ссылается на статью А.Я. Гуревича: *Gourevitch A. Représentation et attitudes à l'égard de la propriété pendant le haut Moyen Age* // *Annales ESC*, N 27. P., 1972. P. 523-547.

<sup>11</sup> Во избежание недоразумений надо уточнить, что речь идет не о формальной церковной иерархии, а о Церкви в ином смысле слова – мистическом единстве всех верующих, образующих «единое тело», но одновременно и политическое единство – своего рода священное царство, которое (да простят меня специалисты по исламу!) можно уподобить «умме». В понятие *ecclesia* должны быть включены не только клирики и монахи, но вся паства, приходы, святые патроны, религиозные братства, клятвенные союзы и многое-многое другое.

<sup>12</sup> От себя добавлю, что следствием Реформации явилось и рождение социального – как области абстрактных представлений об общественном устройстве.

<sup>13</sup> *Rosenwein B.H. To be the Neighbor of Saint Peter. The Social Meaning of Cluny's Property, 909-1049. Ithaca; L., 1989; Eadem. Negotiating Space. Power, Restraint and Privileges of Immunity in Early Modern Europe. N.Y., 1999.*

<sup>14</sup> *Iogna-Prat D. Cluny comme "système ecclesial"* // *Die Cluniazenser in ihrem politish-sozialen Umfeld* / Hrsg. G. Constable, G. Melville, J. Oberste. Münster, 1998. Подробнее см. *Решин А.И. Дар и некоторые аспекты становления феодализма* // *Средние века*. М., 2004. Вып. 65. С. 3-45; 2005. Вып. 66. С. 75-115.

<sup>15</sup> Но также и *honores* (почести/должности), драгоценности, рабы – мандипии.

<sup>16</sup> Подробнее см.: *Уваров П.Ю. Что стояло за религиозными войнами XVI в.? От социальной истории религии к «le vécu religieux» и обратно* // *Французский Ежегодник*. М., 2004. С. 2-38.

<sup>17</sup> *Город в средневековой цивилизации Западной Европы.* / Под ред. А.А. Сванидзе. М., 1999-2000. Т. 1-4., особенно Т. 3. «Человек внутри городских стен. Формы общественных связей». М., 2000.

<sup>18</sup> Букв. «объяснение». Р. Фоссье обозначает этим термином появление устойчивых территориальных образований – сеньорий и замков, общин и приходов, городских корпораций и проч.

<sup>19</sup> Я бы сказал еще о гендерной проблематике, об успехах средневековой археологии, о принципиально новом уровне, достигнутом в источниковедении...

POST SCRIPTUM:  
**PEASANT SOCIETY И ПРОФЕССОР  
КРИС УИКХЕМ\***

В опыте историка, который на протяжении многих лет работает по какой-то существенной для него проблеме, наверняка случаются эпизоды, подобные следующему. Вполне неожиданно обнаруживается, что вопросы, его тревожащие, почти в то же самое время занимают и других исследователей. Самое общее объяснение такого рода феноменов состоит, по-видимому, в том, что в научной «атмосфере» рассеяны некие смысловые единицы («эпистемы»), сближающие между собой историков даже при отсутствии контактов между ними. Вполне правдоподобно, что эти историки не столь уж решительно отрезаны друг от друга, и кристаллизация одной и той же проблемы происходит в момент, когда они набредают на общие понятия, на такой концепт, углубление в который с неизбежностью и даже принудительностью побуждает их к одинаковому или близкому ходу мысли.

Это присказка. Сказка же такова. Весной 2005 г. я подготовил текст, который был призван сыграть роль провокации для новой постановки вопроса о феодализме. Этот текст был размножен и распространен среди коллег, а затем доложен мною в их собрании и обсужден. Но, как только все эти процедуры закончились, мне стало известно, что в Оксфорде подготовлена к публикации и, кажется, уже печатается монография известного английского историка Криса Уикхема «Очерчивая раннее Средневековье». Благодаря исключительной любезности лично не знакомого мне автора и некоторых московских коллег, я получил доступ к этой обширной монографии, имеющей подзаголовок «Европа и Средиземноморье в 400-800 гг.»<sup>1</sup>. Я уже раньше был наслышан о некоторых трудах этого медиевиста, и в моем упомянутом выше докладе о феодализме ссылаюсь на статью Уикхема, уловив в ней понятийное содержание и методические подходы, которые и мне представляются близкими и плодотворными.

Ознакомившись с центральными главами нового произведения Криса Уикхема, я убедился в том, что было бы ошибочным и нелепым обойти его молчанием. Расходясь во многом и существен-

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ грант № 05-01-01502а.

ном, мы, вместе с тем, вольно или невольно разрабатываем одну и ту же проблему – проблему «крестьянской цивилизации» или «аграрного общества» (все эти дефиниции не лишены искусственности и условности). Будучи марксистом, профессор Уикхем даже предпочитает более сильные выражения: «крестьянский способ производства», каковому он находит историческое место между рабовладельческим и родо-племенным обществами, с одной стороны, и «феодальным способом производства», с другой. По мысли Уикхема, наличие «крестьянского способа производства» является логически необходимой чертой раннесредневековой экономики, хотя в чистом виде этот способ производства, по признанию автора, нигде на Западе не обнаруживается.

Такая система понятий и дефиниций, боюсь, может ослабить интерес читателя этого обширного труда. В самом деле, если характеристику феодального способа производства оксфордский коллега, завершивший свой титанический труд на рубеже нового тысячелетия, без оговорок и уточнений (не говоря уже о ревизии или новом подходе) целиком и полностью заимствует из «Капитала», то я, при всем безграничном уважении к Марксу, обескуражено умолкаю. Ибо чтение книги «Очерчивая раннее Средневековье» вновь ставит меня перед все тем же глубочайшим недоумением: каким образом философско-социологические и общеисторические генерализации, сформулированные в середине XIX в., могут мирно уживаться с колоссальным материалом накопленных с тех пор конкретных наблюдений?

Однако, наверное, несправедливо начинать знакомить читателя с этим трудом, критикуя автора со столь общих позиций. Вообще, то, что я хотел бы выразить в этой моей реплике, продиктовано, в первую очередь, стремлением по возможности выявить общность позиций. Мы оба, Уикхем и я, пытаемся прояснить смысл понятия «крестьянская цивилизация». В какой мере оправдано оперирование подобным концептом применительно к средневековому европейскому миру и какие новые ракурсы изучения этого феномена историк был бы способен при этом получить?

Первое, что не могло не привлечь моего внимания, было следующее: оба мы работаем – каждый по-своему – с набором «case studies». Как я это сделал, читателю нетрудно убедиться, возвратившись к предыдущим страницам. Что касается оксфордского коллеги, то его cases обладают совершенно иным удельным весом. Поприще, на котором он работает, – это вся римская и послеримская Европа, равно как и Средиземноморье, включая Малую Азию и Египет. Обширные провинции империи сгруппированы Уикхемом в семь регионов. Иначе говоря, если я копошусь с теми или

иными «казусами» на сугубом микроуровне, то приборы, посредством коих работает Уикхем, – это скорее телескопы. Как явствует из «Введения» в его монографию, вдохновлявшими его научными образцами были те грандиозные попытки синтеза, которые еще в начале истекшего столетия были предприняты Альфонсом Допшом и Анри Пиренном. Уикхем вновь, но с новыми вопросами обращается к обзору целостной европейской панорамы, которая, как уже было упомянуто, охватывает и весь средиземноморский мир.

В центре внимания исследователя – способы хозяйствования и организации производства и эксплуатации рабочей силы. Все эти регионы – окрестности г. Лука, средний Рейн, Иль-де-Франс, Анатолия, Сирия и Палестина, Египет и англо-датский регион – в меньшей или большей мере различаются между собой, но в конечном итоге автор приходит к утверждению, что к концу позднеримского периода рабовладельческий способ производства уже изживал себя, и на смену ему приходили новые формы собственности на средства производства и, соответственно, изменялось положение трудящихся – колонов, арендаторов, рабов. Об этом, если не ошибаюсь, мы уже слышали, и не раз. Однако, профессор Уикхем подчеркивает другое обстоятельство – изживание позднеримских социально-экономических условий сделало более ясно видимой фигуру крестьянина. Это понятие, «крестьянин», если в него более пристально всмотреться и не следовать бездумно расхожему стереотипу, отнюдь не столь очевидно – и в общеисторическом, и в социально-экономическом, и в культурно-психологическом ключе.

Признаться, я ожидал от автора более развернутого и углубленного анализа этого понятия. Но, во всяком случае, крестьянин, так или иначе, хотя бы в обобщенном виде фигурирует в каждом из обрисованных автором регионов. Повсюду над крестьянами высятся сильные мира сего – владельцы римских «вилл» и «фундусов», чиновники, сборщики налогов, военачальники и, пожалуй, более всего заметные в сохранившихся источниках епископы и другие церковные владыки. Смена власти и усиление влияния христианской церкви привели, помимо всего прочего, к тому, что архивы, хранящие свидетельства о движении земельной собственности и ее закреплении за новыми обладателями, о формах и размерах ренты, взимаемой с крестьян и арендаторов, – суть, почти полностью, архивы церковные. А потому феодализм, вырисовывающийся при анализе этих архивов, есть феодализм церковный. При всей опасности *аргументации ex silentio* мы все-таки никак не можем отвергнуть подозрение, что обладатели многих, весьма мно-

гих земельных владений, не подчиненных церковной юрисдикции, оставались на своих участках.

Case в том смысле и объеме, в каком он употребляется в книге Уикхема, едва ли вполне удовлетворяет требованиям микроанализа, ибо включает в свой состав слишком многих и слишком многое. Поэтому вполне логичным кажется то, что автор, оперируя понятиями собственности, ренты, держания, хозяйственной и правовой зависимости и т.п., совершенно обходит стороной человеческого индивида. Кажется допустимым, что он, отвечая на подобный упрек, мог бы сослаться на отсутствие текстов, в которые каким-либо образом могло бы пробиться отдельное человеческое существо, не принадлежавшее ни к духовной, ни к правящей элите.

Но, многотимый коллега, подобные источники, пусть редко, все же имеются. Частично они собраны мною в вышеприведенной статье. Число их, к нашей досаде, крайне невелико и едва ли существенно возрастет при дальнейших изысканиях, но весь вопрос – не в количестве обнаруженных экземпляров, а, я бы сказал, в их качестве. Соответствующие тексты, прозаические и поэтические, позволяют узнать человеческого индивида начала Средневековья «изнутри», в его высказываниях и суждениях, в его мироощущении. И тогда обнаруживается, что простой человек, вынужденный признать над собой власть более могущественного, переживает внутреннюю драму, а земельный собственник для того, чтобы отстоять свои права, мобилизует всю историческую (и мифологическую) память, в результате чего оказывается участником борьбы своих бесчисленных предков, легендарных героев и языческих богов против сил зла – судебная тяжба перерастает в его воображении и в поэтическом сознании эпохи в мировую драму, исход которой решается на судебном собрании.

Что касается экзотичности приведенных в моей статье примеров, их концентрации на скандинавском Севере, то я хотел бы вновь со всей определенностью подчеркнуть: дело вовсе не в том, под какими широтами и в какой сезон был записан текст, в котором определенным поэтическим или любым иным образом нашли выражение внутреннее состояние культуры, верования и убеждения людей, их религиозность и менталитет. То, что авторы исландских саг, скальдических песней и поэм «Старшей Эдды» выразили, всякий раз по своему, свои умунастроения и картину мира, убеждает меня в том, что духовная жизнь людей той эпохи, независимо от того, к какому региону они относились, была неотъемлемой существеннейшей стороной их социальной жизни. В конце концов, не столь важно – в том плане, в каком я хотел бы рассмотреть эту проблему, – где и когда возник памятник, исследование содержа-



ния которого проливает свет на тогдашние верования и умонастроения, на картину мира людей, коим посчастливилось довести до нашего сведения фрагменты своей культуры. Куда существеннее вывод о том, что историку невозможно уклониться от задачи воспринять идущие из этой культуры импульсы и сигналы и попытаться хотя бы частично реконструировать внутренний мир тех, кто, казалось бы, был начисто его лишен. Констатация того факта, что в большинстве случаев историки не имеют доступа к подобного рода феноменам, ни в коей мере не может избавить их от понимания наипростейшей истины: верования, мысли, представления и духовные ценности были органически присущи тем, кого наш научный анализ заключил в тот или иной обездушенный и обезжизненный *case*.

Так, по крайней мере, дело представляется автору настоящих строк. Что касается профессора Уикхема, то в его концепции эта сторона дела напрочь отсутствует. Источников нет попросту потому, что их существование не предполагается. Еще раз повторю: текстов изучаемой эпохи, в которых могли бы найти свое выражение те или иные черты мировиденья простолюдина, до обиды немного, но и тех, которые имеются, вполне достаточно для доказательства того, что простолюдин этот обладал, не мог не обладать своим культурно обусловленным сознанием. А потому исключить из картины социальной действительности наличие этого сознания и его воздействие на нее невозможно и в тех 90 или даже 99 случаях из 100, когда прямо и непосредственно источники ничего нам не сообщают. Отвлекаясь от подобной мысли, историк «крестьянского способа производства» рискует обречь себя на упрощенное и обезчеловеченное понимание самого этого способа производства.

Профессор Уикхем вынужден признать, что многие его утверждения или предположения относительно внутреннего устройства «крестьянского общества» сугубо гадательны, ибо – мы вновь слышим все ту же ламентацию – нет источников. Я задаюсь вопросом: не сменились ли бы чисто умозрительные рассуждения о внутренней структуре «крестьянского общества» чем-то более впечатляющим, если бы мы внимательно прислушались к голосам, доносящимся из глубины столетий? Конечно, трудно представить себе воочию отношения между древнесаксонскими эделингами, фрилингами, лацци и рабами, которых покорил Карл Великий и которые подняли восстание *Stellinga* полстолетия спустя. Фразеология «Саксонской правды» и хрониста Нитхарда не слишком-то проливает свет на внутреннюю ситуацию в Саксонии и еще меньше – на умонастроения представителей упомянутых социальных градаций. Не упустим из виду, помимо всего прочего, и того нема-

ловажного обстоятельства, что рисующие саксонский case правовые и нарративные источники написаны на латыни, а не на народном языке.

«Песнь о Риге», записанная намного позднее и не там, а в Исландии, могла бы, тем не менее, по моему убеждению, послужить лабораторией для постижения поэтической и «социологической» мысли людей, испытывавших потребность взглянуть на самих себя, на свой социум не через холодные окуляры оксфордского профессора, а изнутри, в контексте культуры и верований тех, кто принадлежал к «аграрной цивилизации». Да извинит меня читатель за то, что я вновь возвращаюсь на собственные следы. Но «Карфаген должен быть разрушен», – имею в виду марксистско-позитивистскую методологию, пробравшуюся к нам из XIX в. в 2005 год.

Профессор Уикхем может возразить, что сюжет, избранный им для исследования, охватывает строго очерченный период между 400 и 800 годами, тогда как те примеры, на которые я позволил себе вновь сослаться, содержатся в рукописях XIII-XIV вв. Он полагает, что время Каролингов ознаменовалось упадком и размыванием «крестьянского общества» (см. об этом ниже). Но почему я должен следовать подобной логике, явно противоречащей содержанию и смыслу исторических источников? Многие существенные аспекты крестьянской цивилизации с наибольшей наглядностью продемонстрировали себя вовсе не до 800 г., а столетиями позднее. О чем это говорит? Отваживаюсь на гипотезу: «крестьянское общество» не представляло собой какого-то относительно краткого этапа в социальном развитии Европы; оно при всех пертурбациях обнаруживало поразительную устойчивость и в определенном смысле сохранялось вплоть до Нового времени. Едва ли правомерно представлять себе это аграрное общество в виде не слишком протяженного временного периода, следующего за Античностью и предшествующего феодализму. Даты, столь решительно поставленные нашим автором, – 400 и 800 гг., – кажутся мне чрезвычайно произвольными и, во всяком случае, никак не проистекающими из существа анализа. Откуда взялись эти хронологические рамки, не только подозрительные в силу своей закругленности, но – и это главное – навязываемые профессором Уикхемом всем регионам и странам западного и восточного Средиземноморья, равно как и центральной, и северной Европы? Уважаемый коллега, разумеется, сознает условность подобного рода дат. Но, подчинившись собственному созданию, он отказался, весьма произвольно, от использования в своем построении принципа *longue durée*.

Мне кажется уместным напомнить здесь о том, что понятие *peasant society* остается чрезвычайно малопривычным даже для наших медиевистов. Ведь оно сложилось сравнительно недавно, преимущественно в 60-е гг. XX в., в кругу западных антропологов, занимавшихся Латинской Америкой и Евразией. Ныне все более выясняется, что это понятие – разумеется, со всеми необходимыми и существенными поправками и уточнениями, – может быть продуктивным применительно и к Старому Свету (подобно тому, как несколько раньше понятие *mentalité*, обсуждавшееся Леви-Брюлем в контексте анализа «первобытного мышления», было после необходимой критической проработки и переосмысления внедрено Февром, Блоком и их последователями в инструментарий медиевистики). Почти с самого начала своего существования понятие *peasant society* получало различные интерпретации, что вполне естественно, если принять во внимание его связь с традиционным «формационным подходом». Поэтому я нахожу уместным прежде, чем продолжить знакомить читателя с концепцией профессора Уикхема, вкратце охарактеризовать иной подход к этому понятию.

Эта иная точка зрения выражена, в частности, в книге Вернера Рёзенера «Крестьяне в европейской истории»<sup>2</sup>. Работа эта была предназначена для издаваемой Жаком Ле Гоффом серии «Строить Европу», и интересующая нас проблема лишь сравнительно бегло в ней рассмотрена. Тем не менее, главное выражено с полной определенностью.

*Peasant society* представляет собой, по Рёзенеру, комплекс общественных и экономических отношений, распространенных и даже доминировавших среди деревенского населения Европы на протяжении целого тысячелетия. Следовательно, речь должна идти не о каком-то более или менее скоропреходящем феномене, но о чрезвычайно длительной исторической эпохе – от образования системы барских дворов (сеньориального домена) во Франции до освобождения крестьян в конце XVIII и в XIX в. Соответственно, здесь историку приходится оперировать особыми категориями времени, равно как и вновь вдуматься в соотношение понятий «динамизма» и «статики».

Эта социальная и экономическая организация оставалась, собственно, вне поля зрения историков, поскольку в центре их внимания традиционно находились – и до сих пор находятся – «вертикальные» связи между сеньорами и крестьянами, которые играют в ученом построении медиевистов преимущественно или исключительно несамостоятельную, подчиненную роль «эксплуатируемых трудящихся масс». Приходится констатировать, что многие совре-

менные историки унаследовали от средневековых аристократов высокомерно-пренебрежительный взгляд на непосредственных производителей той эпохи. Если европейскому крестьянству в действительной истории удалось, пусть сравнительно недавно, добиться освобождения, то в исследованиях профессоров оно этой эмансипации далеко еще не достигло.

Давая беглую характеристику европейского «крестьянского общества», Рёзенер вычленяет такие его единые, общие черты: сеньориальная зависимость, трехполье, семейные промыслы, относительная самостоятельность внутридеревенских отношений и устойчивость системы крестьянских ценностей. К сожалению, кажется мне, этот автор не нашел необходимым в должной мере углубиться во внутреннюю социальную стратификацию сельского населения, которое на всем протяжении своей истории не оставалось однородным, а подчас было глубоко дифференцированным, так что межкрестьянские отношения могли иметь не меньшее значение в жизни деревни, нежели ее отношения с крупным землевладельцем.

Для крестьянства ряда стран Запада, подчеркивает Рёзенер, огромное значение имело так называемое «гуфовое устройство». Гуфа (Hufe) представляла собой наследственный земельный надел, которым обладала крестьянская семья. Естественно, гуфа неизменно оставалась центром приложения сил семьи. Особенно существенно было то, что обладание гуфой создавало основу для известной крестьянской самостоятельности, экономической и социальной.

Для того, чтобы несколько яснее представить себе *peasant society*, мне кажется полезным напомнить о социологической дихотомии *Gemeinschaft — Gesellschaft*, в свое время обоснованной Ф. Тённисом. Хотя в настоящее время кое-кто из социологов ставит под сомнение убедительность этого построения, я позволю себе его придерживаться. Ибо такие черты *Gemeinschaft*, как наличие прямых контактов между членами сравнительно немногочисленного, а потому и не анонимного сообщества, как отсутствие в нем строгой и все определяющей жесткой социальной структуры, суть неотъемлемые характеристики «крестьянского общества». В немалой мере напоминая *Gesellschaft* с присущими последнему напряженностями и конфликтами и включая в свой организм многие ростки тех противоречий, которые в полной мере могли бы развиться в более дифференцированном обществе, *peasant society* носит в себе «бациллы» подобного развития.

Введение концепта *peasant society* оказалось возможным в результате радикального изменения взгляда на общественные поряд-

ки и аграрный строй средневековой Европы. Барскому домену, рыцарскому замку и всему аристократическому образу жизни пришлось несколько потесниться для того, чтобы дать место крестьянской семье, сельской гуфе и деревенской сходке. Никто не намеревается посягать на значимость сеньориально-вассальных связей и всех отношений, ими предполагаемых. Но кажется обособленным желание увидеть наряду с «парадной» стороной средневекового общества и его более грубую, но в высшей степени существенную изнанку – крестьян в европейской истории.

\* \* \*

Говоря о проблеме «крестьянского общества», я решаюсь утверждать, что понятия прогресса, развития, исторической динамики здесь приходится существенно модифицировать. В работах разных лет мне неоднократно доводилось затрагивать эту сторону вопроса. Ни в коей мере не намереваясь превращать *peasant society* в некую недвижимую окаменелость, я вместе с тем хотел бы подчеркнуть: совершенно естественным образом историки смотрят на свой предмет сквозь категории изменения, неустойчивости и динамизма. Однако после того, как мы всерьез восприняли идею множественности временных ритмов, в спектре которых существует исследуемое нами общество, нам приходится все более пристально всматриваться в особенности протекания времени, присущие тем или иным уровням действительности. В частности, невозможно отрицать различия во временных ритмах, каковым подчинялась жизнь горожан, крестьян, монахов, духовенства, мелкого рыцарства и высокородной аристократии. Крестьянство более глубоко, нежели иные слои средневекового общества, подчинялось природным ритмам и едва ли вплоть до конца эпохи (а может быть, и еще позднее) было способно вырваться из тисков мифа о вечном возвращении. Ни освоение новых территорий под пашню, ни постепенное распространение более продуктивных методов обработки земли, ни относительное укрепление торговых связей деревни с городом, ни возрастающее давление на крестьян со стороны господ и королевской власти, побуждавшее их интенсифицировать свой труд, – все эти изменения, подчас драматичные, не могли радикальным образом расшатать и тем более разрушить той основы, на какой воспроизводило себя «*peasant society*».

Я легко допускаю, что это общество более или менее заметно изменялось – может быть, под воздействием высившихся над ним социальных и политических сил скорее, нежели вследствие внутреннего развития, – но при всем при том оно оставалось консервативным в самой своей основе и, осмелюсь утверждать, сохраняло

свои характерные черты вплоть до времени падения феодализма. Его вклад в развитие идей и ценностей был иным, нежели вклад бюргеров и духовного сословия, ученых и гуманистов. Но все эти особенности, включая консерватизм и преобладание статики над динамикой, никак не дают оснований для его игнорирования или недооценки. И здесь я солидарен с профессором Уикхемом, который, демонстрируя различия в природных, этнических, политических и хозяйственных условиях жизни того или иного региона, неизменно выявляет такие черты крестьянского общества, как относительная малоизменчивость, способность ко внутренней самоорганизации и сравнительная экономическая и социальная автономия мелких собственников. В одних регионах у них оказывается достаточно сил для того, чтобы противостоять нажиму, в других эта способность с трудом обнаруживается, и Уикхем старается объяснить причину этих различий. Нетрудно видеть, что он разделяет определенный взгляд на природу тех социальных и экономических отношений, которые он квалифицирует как феодальные. Вряд ли читатель его книги чрезмерно удивится тому, что легче всего под это определение «феодального» нашему историку оказалось подвести те отношения, которые он обнаружил преимущественно в Иль-де-Франсе. Что и требовалось доказать...

Существенно то, что Уикхем придает немалое значение внутрикрестьянским отношениям, на которые его предшественники, как мне кажется, не обращали должного внимания. Прежде всего это радикальная противоположность личной свободы и рабства. Крестьянин-держатель, при большей или меньшей ограниченности своих личных и имущественных прав, тем не менее, противопоставит бесправному рабу. И эта противоположность, в одних регионах со временем несколько смягчавшаяся, в других оставалась основополагающей до конца Средневековья.

Крестьянство, в глазах историков противостоящее господам как нечто целое, в своей действительной повседневной жизни отнюдь не отличалось гомогенностью. Вообще говоря, мы едва ли найдем в истории такие общественные объединения, которые строились бы на принципах всеобщего равенства и свободы. Любой социум, сколь ни примитивен он был, с неизбежностью переживал внутреннюю дифференциацию. Это вполне относится и к «*peasant society*». Оно было расслоено на ряд имущественных и социально-правовых групп, и между ними складывались многообразные и противоречивые отношения. Находясь под властью крупного землевладельца (или подчиняясь одновременно нескольким господам), крестьянин вместе с тем вполне мог быть патроном или притеснителем других держателей, рабов и наемных работников. Ме-

диевисту, обладающему способом проникновения в недра средневековой деревни, нужно быть готовым к тому, чтобы найти в ней многосложную социально-правовую и экономическую неоднородность. Эта неоднородность не исключала даже возможности перехода отдельных возвысившихся крестьян в низший слой благородных, хотя, конечно, память о сервильном происхождении подобного рода выскочек-«нобилей» неизбежно сопровождала их на протяжении нескольких поколений.

Однако, подчеркивает Уикхем, хотя крестьянское сообщество и не было *абсолютно* эгалитарным, т.е. существовали разные виды неравенства как внутри домохозяйств, так и между ними, оно было *относительно* эгалитарным в том смысле, что социальные ранги были неустойчивы и отсутствовали институциональные гарантии сохранения власти и богатства за теми или иными индивидами или семьями. В условиях отсутствия экономического накопления в крестьянской среде имущественный и социальный ранг зависел от соблюдения ритуалов взаимности.

Короче говоря, констатация того, что перед нами крестьянин, в действительности говорит о немногом. Куда важнее было бы увидеть его в той пестрой, многоликой и текучей социальной среде, которая жила сообразно присущим ей закономерностям и обычаям и подчас имела мало общего с привычным для историков противостоянием «феодал–крестьянин». Если феодальная система строится на производстве, извлечении и распределении прибавочного продукта, то отношения внутри «крестьянского общества» обладали существенно иными характеристиками. Именно поэтому я в вышеприведенном тексте старался подчеркнуть значение межкрестьянских объединений, которые выражались во взаимной помощи, эквивалентном обмене, празднествах и пирах, равно как и в регулярно созывавшихся местных и региональных сходках, одновременно выполнявших судебные функции и роль центров обмена и распространения информации. Если здесь налицо и антагонизмы, то было бы неверно рассматривать их в отрыве от механизмов взаимодействия и сотрудничества.

По мнению Уикхема, об оппозиции «феодал–крестьянин» вообще не приходится говорить как о доминирующей черте социальной структуры Западной Европы в раннее Средневековье. В начале средневекового периода, в связи с сокращением аристократического землевладения после крушения Римской империи, многие территории стали независимы от власти знати, так что зоны, где господствовала аристократия, перемежались с зонами преимущественно крестьянского землевладения, «подобно пятнам на леопардовой шкуре». До конца каролингского периода даже там, где

власть короны и аристократии была сильнее всего (например, в Иль-де-Франсе), она не была и не стремилась быть настолько всеохватной, чтобы поглотить и подорвать автономные экономические системы всех деревень, населенных крестьянами-собственниками. Лишь приблизительно с рубежа IX столетия, пишет Уикхем, крестьянское общество начинает уступать место феодальным отношениям. К 1000 (на Севере к 1300) году, как утверждает автор, от крестьянского способа производства в Европе остались лишь следы.

\* \* \*

Пожалуй, одна из наиболее интересных черт «крестьянского общества», но, вместе с тем, и такая его черта, которая в высшей степени затрудняет его систематическую характеристику, заключается в текучести и трудноуловимости его облика. Я позволю себе в чрезвычайно сжатом, конспективном виде продемонстрировать эту сложность опять-таки на исландском материале.

Колонисты – выходцы из Норвегии и других скандинавских стран – в IX-X вв. заселили прибрежную кромку острова, в общем и целом воспроизводя здесь привычные для них хозяйственные и социальные порядки. Земледельцы, скотоводы и рыболовы основывали собственные хутора, в которых, под эгидой домохозяина, жили семья, более дальние родичи, а также наемные работники, прибывшие к хозяину бедняки и, в довольно большом числе, рабы и вольноотпущенники. Подобный микромир отличался автаркией и в хозяйственном, и в правовом отношении. В этой семье или семейной общине равенство отсутствовало, и все её члены пребывали под строгим контролем бонда-хозяина, единовластно возглавлявшего это сообщество.

На хозяине лежали обязательства обеспечить возможно более благоприятный уровень материального существования (по тогдашним европейским континентальным «нормам» весьма низкий), и, что было не менее существенно, безопасность и соблюдение человеческого достоинства. Естественно, между отдельными хуторами не существовало ни имущественного, ни социального и нравственного равенства, и уровень, на котором находилась та или иная семья, прежде всего определялся общественным статусом и личным авторитетом бонда. «Саги об исландцах» содержат богатейший материал, характеризующий неустанные и непрестанные заботы хуторян о поддержании и упрочении своего статуса, т.е. уважения, которым бонд и его люди пользовались среди окружающих хозяев. Стратегия поведения, которой бонд не мог не придерживаться, заключалась в том, что ему постоянно приходи-



лось устанавливать или поддерживать дружеские связи с влиятельными людьми. В этом отношении особую важность приобретали взаимные посещения и обмен подарками. Последние могли быть очень скромными – важна была та коммуникативная функция, какую они выполняли, ибо получение дара воспринималось в этом обществе как установление почти нерушимых связей между теми, кто дарами обменивался. Авторитет бонда определялся и его материальным достатком, и наличием у него друзей, а также работающих и боеспособных людей в его доме, готовых поддержать своего бонда в конфликте с другими лицами.

Но одновременно и, пожалуй, в еще большей степени общественный вес свободного и полноправного человека зависел от его личных качеств, ума и физических способностей. Эти «самостоятельные люди» (выражение Халлдора Лакснаса) в социальной жизни отнюдь не были так уж самостоятельны. Силы социального сцепления действовали как по горизонтали, так и по вертикали. Для того, чтобы обеспечить устойчивость своего микромира, бонд, как мы видели, должен был поддерживать определенные отношения с другими хозяевами, населявшими отдаленные один от другого хутора. Вместе с тем, ему, как правило, приходилось искать себе покровителя. В каждой округе были владения наиболее могущественных собственников, которых их соседи именовали «большими людьми», или «хёвдингами» (главарями, предводителями). Хёвдингом мог быть преуспевший бонд, но среди этих влиятельных хозяев были и потомки людей, родословные которых восходили еще ко временам до начала колонизации Исландии. Хёвдинг – человек, сумевший укрепить своё общественное влияние и добившийся того, что другие бонды видели в нем своего предводителя. Некоторые из хёвдингов именовались *годи* (*godi*), что указывало на жреческие функции, которые годи выполнял в своем коллективе (Исландия приняла христианство в 1000 г.). Но было бы неточным видеть в годи прежде всего языческого жреца. Он был предводителем бондов, а они образовывали его *годорд* (*godorp*). К отношениям между годи и бондами, входившими в его *годорд*, едва ли безоговорочно применимы понятия господства и подчинения. Бонд мог примкнуть к тому или другому годи на основе частного договора между ними, но он был волен покинуть этого покровителя и найти себе другого. В Исландии уже действовало неписаное, но всем известное право, нормам которого все должны были повиноваться, но отношения между бондами и годи не регулировались какими бы то ни было правовыми нормами. Уважение и авторитет, которыми пользовался тот или иной годи, его способность воздействовать на примкнувших к нему бондов, мера его

влияния на решения возглавляемого им тинга – судебного собрания, – все это в конечном итоге зависело от соотношения сил и влияний отдельных лиц, но отнюдь не от какой-то системы устоявшихся и законодательно закрепленных юридических статусов.

Как видим, тенденции равенства и уважения полноправия каждого из хуторян причудливо и неразрывно переплетались с тенденциями противоположного свойства – с тенденциями покровительства, зависимости, служения и повиновения. Среди основных социальных ценностей, на которых строилось это *peasant society* и которые оно всемерно защищало и утверждало, мне хотелось бы вновь подчеркнуть человеческое достоинство, самосознание индивида. Более, чем о своем материальном достатке и внешнем благополучии, свободные бонды пеклись о незапятнанности собственной репутации; как сказано в «Речах Высокого», одной из поэм «Старшей Эдды», ни скот и иное имущество, ни сама жизнь не представляют собой такой безусловной ценности, как суждение об индивиде, сложившееся у его окружения. Эта бросающаяся в глаза забота о личной чести, о достоинстве свободного человека побуждает меня квалифицировать эти его коренные установки как своего рода индивидуализм. Разумеется, индивидуализм свободного хуторянина, участника судебной сходки-тинга, человека, который обнаруживает влечение к познанию жизни себе подобных (отсюда неистощимый интерес к семейным сагам), бесконечно далек от индивидуализма носителей идей Возрождения. Назовем его, этот индивидуализм, архаическим.

Религиозность, приверженность ритуалам и магическим практикам, своеобразные представления об устройстве «большого» и «малого» миров – все это неотъемлемые компоненты существования «крестьянского общества». Скованность жестким форматом статьи не позволяет мне хотя бы вкратце остановиться на описании тех черт культуры этого общества, сведения о которых сохранились в источниках, несмотря на упорную работу церкви по искоренению и замалчиванию народных *superstitiones*. Проблему «народной культуры», в которой неразрывно и причудливо переплетались элементы христианства («приходского католицизма») с языческими верованиями и практиками, надлежало бы изучать в общем контексте *peasant society*.

Как мне кажется, знакомство с устройством общества, широко обрисованного в «сагах об исландцах», могло бы помочь нам понять, до какой степени «крестьянское общество» было внутренне дифференцированным, не раскалываясь, вместе с тем, на антагонистические группы или зародыши социальных классов. Исландия в XII–XIII вв. пережила ожесточенные внутренние усобицы, вы-

званные прежде всего соперничеством между могущественными хёвдингами; она даже утратила свою независимость, подпав под власть норвежских королей. При этом влияние наиболее богатых и властолюбивых исландских предводителей роковым образом расшатывало то общественное устройство, основные контуры которого мы наблюдали выше. И тем не менее, я решаюсь высказать предположение, что *peasant society*, историко-социологический тип которого встречается в case studies профессора Уикхема, просуществовало на этом острове на протяжении всего Средневековья. Известная датская исследовательница С. Хаструп назвала Исландию *island of anthropology*. Именно здесь перед умственным взором историка-антрополога открывается возможность ближе понять внутреннее устройство этого социологического феномена. Возможность эта воистину уникальна. В определенном смысле это — исключение, но — «нормальное исключение», побуждающее нас заново осмыслить такой исторический тип социальной организации, который продолжает ускользать от взора медиевистов.

\* \* \*

Уважаемый читатель предлагаемого мною текста, несомненно, с малых лет был приучен к мысли, что крестьянин чуть ли не на протяжении всей своей истории был «общинником». Согласно общепринятой догме, родоплеменная община на протяжении тысячелетий оставалась той формой, в которой кристаллизовался каждый ее член, и переход на заре Средневековья к «земледельческой»<sup>3</sup>, а затем и к соседской общине не высвобождал его личности.

Куда более убедительными представляются мне утверждения профессора Уикхема о том, что на протяжении длительного времени поселения деревнями, относительно крупными объединениями домохозяев, были сравнительно редки, уступая преобладающему типу разрозненных и обособленных усадеб либо небольших групп хозяйств, состоявших всего лишь из нескольких дворов. Эти утверждения солидно обоснованы археологическими находками последних десятилетий. Например, ютландское селение *Vorbasse*, как пишет Уикхем, существовало на протяжении как минимум 2000 лет с I в. до н.э., причем если на ранних этапах своей истории оно неоднократно меняло местоположение (в радиусе километра), то около 1200 г. оно приобрело большую территориальную стабильность. Численность домов, следы коих восстановлены, в этой и подобных ей деревнях обычно не превышает десяти — максимум двадцати. Южнее, в Италии, среди раннесредневековых крестьянских поселений, следы которых изучены, преобладают изолированные усадьбы.

В поселках вышеописанного типа, несомненно, занимались ремеслом, что давало основу для локального товарообмена. У Уикхема нет сомнений в том, что в подобных поселениях немалую роль играло рабство. Что касается высшей прослойки деревенского населения, то остается не вполне ясной степень ее устойчивости и привилегированности.

Внутренняя колонизация, расчистки и освоение новых земель, потребность в которых нарастала по мере увеличения численности населения, — эти явления сделали существенными факторами социальной жизни, собственно, лишь на рубеже тысячелетий. Соответственно, как полагают Шапло и Фосье, Тейлор и Дайер, «деревня» в привычном, общепринятом ныне смысле этого слова возникает лишь между IX и XII вв. Только в период высокого Средневековья, с возникновением замков, сельская община с ее аграрными порядками (система открытых полей, трехполье, принудительный севооборот и выпас по жнивью), с церковно-приходской жизнью (организованной вокруг сделавшихся многочисленными каменных церквей) и с возросшими заботами о внутренней самоорганизации приобретает те черты, которые историки-медиевисты, социологи и философы слишком долго принимали за исконные и неизменные основы крестьянской жизни.

Итак, в свете данных, накопленных наукой к настоящему времени, община обретает исторический облик, и в том виде, в каком она известна нам в период высокого и позднего Средневековья, она возникает и развивается вместе с крестьянством. Иными словами, в период перехода от Античности к Средневековью можно констатировать смену римского поместья (*fundus*) небольшой рыхло организованной деревней, что было, по-видимому, связано с крушением имперской системы налогообложения, утратой римской аристократией ее былого могущества и возрастанием автономии и социального веса мелких собственников.

\* \* \*

Книга Уикхема охватывает и ряд других сторон социально-экономической жизни Европы в начале Средневековья, но центральной и наиболее интересной из них представляется мне именно проблема «*peasant society*». Ибо как раз в ходе обсуждения указанной проблемы с особой наглядностью выступают сильные и слабые стороны его концепции. Понятие «*peasant society*», занесенное логикой развития гуманитарных наук из соседних дисциплин, оказывается тем оселком, на котором испытывается методология автора. Как я полагаю, даже помимо намерений профессора

Уикхема перед читателем монографии обнажается заложенная в нее методология.

Боюсь, что не впаду в преувеличение, если скажу: новую для исторической науки капитальную проблему, проблему *peasant society*, автор пытается решать, исходя из традиционно понимаемой марксистской доктрины. В поле его зрения неизменно остаются одни только аспекты экономической и материальной жизни — распределение земельной собственности и оформление прав на нее, эксплуатация сельского населения, ренты, структура сельских поселений и иные подобные же элементы социально-экономического анализа, которые в свое время исследовались многими медиевистами. Трудность заключается не в возвращении ко вполне почетным аспектам исторического исследования. Трудность — в другом. Подведенный логикой собственного анализа к новой большой проблеме «крестьянского общества», профессор Уикхем пытается вскрыть тайны этого историко-социологического явления при помощи явно устаревших приемов. Он не расположен принять в расчет, — притом в расчет не формальный, но такой, который требует от историка радикальной прочистки применяемых им понятий, — того, что «крестьянское общество» — это общество живых людей, которые вели себя осознанным образом и руководствовались культурными ценностями в своей практической жизни, в том числе и производственной.

Неужели мы все еще не дожили до признания того, что в истории, в том числе и экономической, действуют не абстрактные категории, но живые субъекты, и что поэтому к ним и необходимо соответствующим образом обращаться? То есть, в общем виде никто вроде бы и не склонен отрицать эту очевидность, — трудности начинаются там, где ее, эту очевидность, нужно претворить в предмет исследовательского анализа и теоретического осмысления. Именно в этот момент историк оказывается лицом к лицу с дилеммой: либо по-прежнему следовать по стопам позитивизма любого толка, в том числе и марксистского, либо перейти на позиции исторической антропологии. Я свой выбор сделал и смею заверить читателя, что легкой жизни он не сулит.

Непредвиденная встреча с капитальным трудом профессора Уикхема побудила меня вновь попытаться прочистить те понятия и методы, кои ныне предлагает нам гуманитарное знание, и уже за эту представившуюся мне возможность я глубоко признателен оксфордскому коллеге.

---

<sup>1</sup> Wickham C. Framing the Early Middle Ages. Europe and Mediterranean 400-800. Oxford, 2005.

<sup>2</sup> Rösener W. Die Bauern in der europäischen Geschichte. München, 1993.

<sup>3</sup> Термин «земледельческая община», заимствованный в рукописях Маркса, был применен А.И. Неусыхиним в качестве характеристики переходного типа общины от доминирования коллективизма к частичному высвобождению аллода из-под общинной собственности на пахотные земли. Период подобных трансформаций охарактеризован А.И. Неусыхиним как «дофеодальный период». Не вдаваясь в детальное рассмотрение концепции А.И. Неусыхина, который, насколько я мог его понять, склонялся к тому, чтобы осмыслить «дофеодальный период» в теоретическом ранге чуть ли не особой общественной формации, приходится признать, что, по А.И. Неусыхину, это социально-экономическое образование завершило свою историю в конвульсиях каролингского периода. См. *Неусыхин А.И.* Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к раннефеодальному (на материале истории Западной Европы раннего средневековья) // Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1968. Кн. 1; *Он же* Эволюция общественного строя варваров от ранних форм общины к возникновению индивидуального хозяйства // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 1: Формирование феодально-зависимого крестьянства. М., 1985. С. 137-176. Призрак *peasant society*, возникший было на страницах указанных работ А.И. Неусыхина, тут же бесследно и исчезает.

Научное издание

Утверждено к печати  
Институтом всеобщей истории РАН

**Феодализм: понятия и реалии**

Материалы круглого стола  
Москва, 25 апреля 2005 г.

Подписано в печать 05.03.2008  
Печать офсетная. Гарнитура Таймс  
Объем – 17,3 усл. печ. л. Тираж – 200 экз.

***ИВИ РАН Ленинский пр. 32А***

